Цена 1 руб. 50 коп.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки
— НА —
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал
„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) **Ленин и ленинизм.**
2) **Актуальные проблемы философии диалектического материализма.**
3) **Исторический материализм.**
4) **История материализма.**
5) **Новое в естествознании.**
6) **Статьи по вопросам теоретической экономии.**
7) **История социализма.**
8) **Вопросы литературы, искусства в материалистическом освещении.**
9) **Трибуна.**
10) **Отдел переписки с читателями.**
11) **Библиография.**

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48 ТЕЛ. **1-21-16.** Кремлевский **390.**

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен нем бы то ни было ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский, 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

Ленинград, Проспект 25 Октября, 82. — Харьков, площадь Тевелева, 17.

Артемовск—Площадь Свободы, 15. **Баку**—Улица Зевина, 11. **Воронеж**—Проспект Революции, 31. **Екатеринослав** — Проспект Карла Маркса, уг. Московской. **Киев** — Улица Ленина, 26. **Краснодар** — Красная, 31. **Коломна**—Ул. Ленина. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Н.-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Одесса**—Улица Ленина, 5. **Ростов н/Д**—Улица Энгельса, 51. **Саратов**—Улица Республики, 27/31. **Свердловск**—Улица Малышева, 24. **Смоленск** — Советская, 1. **Сталино** — 1-я Линия, 39. **Таганрог** — Улица Ленина, 23. **Тифлис** — Дворцовая, 6. **Тула** — Площадь Коммунаров, 31. **Ярославль**—Дом Крестьянина.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12
ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1926

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12
ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1926

Главлит № 77502. Москва. Тираж 4.150 экз.
Тип. изд-ва „Правда" и „Беднота", Яузский мост, Серебрянич. набер., д. 23а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—К пятилетию журнала «Под Знаменем Марксизма» 5
Ник. Карев.—Вместо статьи к пятилетию журнала 16

Гр. Блюмель.—Макс Шелер, католицизм и рабочее движение 28
И. Разумовский.—Философия и юридическая теория 50

И. Орлов. О рационализации умственного труда 72
З. Цейтлин.—К постановке проблемы обоснования евклидовой геометрии 94

И. Луппол.—Новое средневековье (к характеристике современного феодального социализма). 117
З. Лейкин.—Каутскианство в теории империализма 144
Г. Зайдель.—Организационные принципы II Интернационала 185

Библиография.

И. Луппол.— Б. Столпнер и П. Юшкевич. История материализма, т. I, часть 1 и 2. 215
В. Поляков.—И. Рубин. История экономической мысли 218
Л. Звелъчинская.—В. Фриче. Западно-европейская литература XX века в ее главнейших проявлениях 221
Л. З.–И. Маца. Искусство современной Европы 223
З. Ц.—1) О. Д. Хвольсон. Курс физики. Дополнительный том. Физика 1914—1926 г. ч. 1 и 2. 2) А. А. Эйхенвальд. Теоретическая физика, т. I. Теория поля 224
И. А–л.—П. Каммерер. Загадка наследственности 228

Сообщения и заметки.

Содержание журнала «Под Знаменем Марксизма» за 1926 г. 230
Резолюция Общества Воинствующих Материалистов о текущих задачах Общества 236
От редакции 237

К пятилетию журнала „Под Знаменем Марксизма".

А. Деборин.

Нашему журналу исполнилось пять лет. Хотя это срок небольшой, тем не менее юбилей журнала составляет значительный праздник не только для его ближайших работников, сотрудников и друзей, но и для широкого круга читателей.

В настоящей заметке мы намерены, как это принято в таких случаях, подвести итоги истекшему пятилетию и наметить те основные задачи, которые стоят перед нами в области теории на данном историческом этапе развития пролетарской борьбы за социалистическое переустройство современного буржуазного общества.

I.

В первой двойной книжке журнала, вышедшей в начале 1922 г., редакция, отказавшись от широковещательных обещаний и деклараций, скромно заявила, что она ставит своей основной задачей развернуть знамя воинствующего материализма, знамя ортодоксального марксизма.

«Великая революция,—говорится в этой редакционной программной заметке,—всколыхнула массы, выдвинула на передовые позиции революции широкие слои рабочих и крестьян, влила в ряды авангарда революции—РКП—сотни тысяч молодых членов, которые в огне и буре революции прекрасно научились бороться, но которым еще нужно пройти закаляющую школу марксовой философии, чтобы стать стойкими, уверенными и несокрушимыми коммунистами».

Поставив своей задачей теоретическое, марксистское воспитание молодого пролетарского авангарда, редакция далее обещала бороться против всякого эклектизма, против всех идеалистических течений, против пессимизма, мистицизма, религиозного дурмана—во имя строго выдержанного материалистического мировоззрения.

Но справедливость требует сказать, что, как ни ясны и определенны были для тогдашней редакции журнала его ближай-

шие задачи, настоящую, подлинную программу журнала, определившую на длительный исторический период его характер, содержание и направление, дал не кто иной, как В. И. Ленин, в своей знаменитой статье «О значении воинствующего материализма».

В этой связи необходимо подчеркнуть, что Ленин всегда проявлял живейший интерес к нашему журналу, придавая ему огромное значение в деле теоретического воспитания и просвещения молодой пролетарской интеллигенции. При всей нечеловеческой тяжести партийной и государственной работы, которую Ленин нес на своих плечах, он всегда находил время для того, чтобы вдохновить руководителей журнала своими мудрыми советами и ценными указаниями. Таким образом, журнал «Под Знаменем Марксизма» является в известном смысле детищем Ленина. На всех нас, руководителях и сотрудниках журнала, лежит поэтому обязанность стремиться к полному осуществлению тех задач, которые Ленин возложил на нас при выработке им программы журнала. Попытаемся же выделить основные пункты намеченной им программы и посмотрим, в какой мере журналу удалось их осуществить.

п. 1. Журнал «Под Знаменем Марксизма» должен быть органом воинствующего материализма; журнал, который хочет быть органом воинствующего материализма, писал Ленин, должен быть боевым органом, в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных «дипломированных лакеев поповщины», все равно, выступают ли они в качестве представителей официальной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя «демократическими левыми или идейно социалистическими публицистами».

п. 2. Орган воинствующего материализма должен быть вместе с тем и органом воинствующего атеизма. Он должен, по мысли Ленина, уделять много места атеистической пропаганде, обзору соответствующей литературы и исправлению недочетов в этой области государственных учреждений.

п. 3. «Группа редакторов и сотрудников журнала «Под Знаменем Марксизма» должна быть, на мой взгляд, пишет Ленин, своего рода «Обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики».

Из очерченных основных задач, стоящих перед органом воинствующего материализма, вытекают известные тактические приемы, каких следует держаться журналу. В целях наиболее удовлетворительного разрешения указанных задач необходимо, по мысли Ленина, осуществить союз как с материалистами-обществениками, так и с материалистами-естественниками.

II.

Переходя теперь к вопросу о том, в какой мере намеченная Лениным программа журнала действительно осуществлялась редакцией на протяжении истекших пяти лет, позволительно будет обратиться к тем общественным настроениям, с которыми журналу приходилось бороться в различные периоды своего существования.

В этом смысле мы можем наметить ряд этапов, проделанных журналом в связи с упомянутыми настроениями, охватывавшими часть нашей марксистской общественности в различные периоды нашей общественной жизни. Наш журнал чутко прислушивался ко всем этим настроениям, отзывался на них, предоставлял часто свои страницы представителям их для того, чтобы вместе с тем иметь возможность подвергать их резкой критике с точки зрения диалектического материализма.

На первых же порах журналу пришлось столкнуться с так наз. отрицателями философии. В свое время это поветрие охватило довольно широкие круги нашей марксистской интеллигенции. Наивно думать, что эти настроения ныне уже изжиты полностью. В самом деле, героический период революции миновал; пролетариат сокрушил контр-революцию, власть его укрепилась. Настала пора заняться повседневной работой социалистического строительства. Естественно, что здесь на первый план выдвигались потребности практические—развития техники, восстановления разрушенного хозяйства, проблемы государственного управления. Нам кажется, что именно здесь-то и заложены те возможные условия, которые связаны с недооценкой теории и переоценкой узкого практицизма.

Вполне естественно, что первые удары при таком настроении должны были быть направлены против философии вообще и в частности против нашего журнала. Так, тов. С. Минин выступил со статьей «Философию за борт!». Статья эта начинается следующим «примечательным» выступлением: «За самые последние месяцы борьба на фронте отвлеченного мышления оживилась: затрещали журнальные пулеметы, заухала тяжелая книжная артиллерия. Отрадный признак! Но в этой бурной атаке мы сами обнаруживаем не мало путаницы и, к сожалению, подчас по самым кардинальным вопросам. Примеры? Да вот он—изумительный, разительный пример—это наша возня с какой-то «философией марксизма».

В другом месте тов. Минин писал след.: «Но мы говорим, а то так даже и трубим об этой самой «философии». Так, Плеханов употребляет очень часто этот немарксистский термин «философия марксизма» или «философская сторона марксизма» («Основные вопросы марксизма», гл. I).

«Так, Ленин тоже пишет: «...Я надеюсь, что оно (его сочинение) будет... как пособие для ознакомления с философией марксизма, диалектического материализма, а равно с философскими выводами из новейших открытий естествознания».

«Новый журнал «Под Знаменем Марксизма» грешит в этом не мало, начиная с обращения «От редакции» (№№ 1—2)».

Таким образом, грешный по части философии, журнал был недружелюбно встречен противниками философии. Их было не мало в 1922 г., их не мало в 1926 г., но журнал боролся против отрицателей философии марксизма, против всех упрощенцев, опираясь вместе с тем и на Ленина, который в своей программной статье говорил определенно о том, что «без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания».

В нашей краткой юбилейной заметке мы не имеем возможности остановиться на всех этапах или моментах из истории борьбы нашего журнала за диалектический материализм, за философию марксизма. Эта тема потребовала бы обширной статьи. Поэтому мы подчеркнем лишь основные моменты.

Итак, Ленин прекрасно понимал, что отрицание философии марксизма ведет к разоружению пролетариата, капитуляции его перед буржуазными идеями. Естественные науки или положительные науки сами по себе без философского обоснования не могут выдержать борьбы против буржуазных идей. В этом смысле наш журнал вел на протяжении пяти лет борьбу за философию и, надеемся, от этой позиции не отойдет и в будущем, несмотря на довольно широко распространенное убеждение, что философия—ничто, а положительная наука—все или что положительная наука—сама себе философия.

Таким образом, в первый период существования журнала боевые задачи его заострялись как на пропаганде материализма, так и вокруг вопроса о самом праве на существование философии марксизма.

Перед журналом стояла задача пропаганды воинствующего материализма среди молодого пролетарского авангарда.

С этой целью разрабатывалась теория познания материализма, история материализма и проблемы современного естествознания. Одновременно шла ожесточенная борьба с извращениями материализма (вспомним енчменизм) и со всякими идеалистическими течениями во всех областях знания.

Наш журнал, таким образом, осуществлял задачи органа воинствующего материализма, ведя борьбу с упрощенством, с одной стороны, разоблачая и преследуя всех современных «дипломированных лакеев поповщины»—с другой стороны.

III.

Несколько хуже дело обстояло в области пропаганды атеизма. Разумеется, атеизм неотделим от материализма. Стало быть, борьба за материалистическое мировоззрение означает вместе с тем и борьбу за атеистическое мировоззрение. Тем не менее пропаганда атеизма должна вестись и самостоятельно. Ленин советовал давать обзоры атеистической литературы; особенно важным он считал «использование тех книг и брошюр, которые содержат много конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды». Он рекомендовал далее внимательно следить за всей соответствующей литературой на всех языках, помещать рефераты или переводы наиболее ценных работ в этой области.

Надо прямо сказать, что в этом отношении нашим журналом сделано очень мало.

Ленин рекомендовал для борьбы с мракобесием заключать даже «союзы» с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачая ее в то же время, когда она впадает в реакционность.

С другой стороны, Ленин настаивал на необходимости издания атеистических памфлетов XVIII века, справедливо считая, что чураться «союза с представителями буржуазии XVIII века, т.-е. той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и материализму».

Таким образом, Ленин настаивал на «двойственном» союзе: с прогрессивной частью современной буржуазии и с революционной буржуазией XVIII века.

В своей статье «О значении воинствующего материализма» Ленин, между прочим, писал: «К стыду нашему, мы до сих пор еще не занялись переводом для массового распространения в народе боевой атеистической литературы XVIII века», а в скобках особо подчеркнул, что это обстоятельство является «одним из многочисленных доказательств того, что завоевать власть в революционную эпоху гораздо легче, чем суметь правильно этой властью пользоваться».

Но с тех пор, как эти строки были написаны, в области атеистической пропаганды сделано вообще не мало. Из атеистических памфлетов XVIII века многие уже переведены на русский язык и изданы отдельными книгами. Кроме того, у нас имеются и специальные издания, ставящие себе целью пропаганду атеизма. Этими обстоятельствами в значительной степени объясняется то, что наш журнал уделял сравнительно мало места этому крайне важному фронту. Нам кажется, что в будущем это положение должно измениться, тем более, что в послевоенную

эпоху религиозные и мистические настроения, охватившие мировую буржуазию, проникают и в пролетарскую среду. Мы имеем в виду, прежде всего, так наз. религиозный социализм, который процветает не только в Германии и Австрии, но и в Голландии, Бельгии, Англии и прочих странах.

Нашему журналу необходимо уделять много внимания таким антипролетарским по существу тенденциям. Поповская идеология, против которой в эпоху своей молодости буржуазия в лице революционных ее представителей ожесточенно боролась, теперь, на закате ее дней, становится ее «идейным» знаменем, а мелкобуржуазные группы, примыкающие к рабочему движению, протаскивают эту поповскую идеологию в рабочие массы. Против такого положения вещей необходимо вести постоянную неустанную борьбу, не взирая на то, что эти явления имеют место главным образом вне нашего Союза.

Но, с другой стороны, не следует забывать того факта, что среди рабочих атеистическое движение не только у нас, но и за пределами Союза силою вещей развивается и укрепляется. Оно растет вширь и вглубь. В этой же связи необходимо подчеркнуть, что и среди мелкобуржуазных групп, в особенности—среди интеллигенции, имеются у нас и «союзники», хотя, разумеется, не очень надежные. Если взять для примера Германию, то легкомысленно было бы скинуть со счетов группирующиеся вокруг «Monistische Monatshefte» довольно широкие круги интеллигенции. Достаточно сопоставить «Sozialistische», с позволения сказать, «Monatshefte», с «Монистическими Ежемесячниками», чтобы убедиться в том, что этот последний, по крайней мере, в лице его левого крыла в общем и целом борется за материалистическое и атеистическое мировоззрение, подвергая резкой критике социал-демократию за ее идеалистические и поповские тенденции как в области теории, идеологии, так и в области практических мероприятий. Мы были приятно удивлены, когда на страницах этого органа встречали ссылки на работы Ленина и других русских материалистов-марксистов, которые используются для борьбы с идеализмом и поповщиной. Если принять еще во внимание, что упомянутый нами журнал ведет дружественную политику по отношению к нашему Союзу и что некоторые его сотрудники «договариваются» даже до того, что ленинизм не так уже страшен, как его малюют противники, то нам кажется, что игнорировать таких союзников было бы неправильно. Мы еще раз и еще раз подчеркиваем, что речь у нас идет о левом крыле упомянутой группировки, стоящем на материалистической и атеистической точке зрения. В борьбе с религиозными предрассудками и идеалистическими течениями эти левые элементы являются нашими «союзниками».

IV.

Если первый период существования журнала характеризуется борьбой, главным образом, за материалистическое мировоззрение, то второй основной период, продолжающийся и по настоящее время, протекает под знаком борьбы за диалектику.

От копеечной свечки, как известно, сгорела Москва. От легковесного выступления тов. Минина, который, впрочем, выдал не одну свою тайну, ведет свое происхождение широкая антифилософская и антидиалектическая группировка. Есть у нас такие чудаки, которые полагают, что ежели мир во зле лежит, то зло лежит в теории. Это очень опасная тенденция. Одно время казалось, что эта тенденция охватит очень широкие круги; к счастью, за последнее время замечается в этом отношении здоровый поворот. Но это настроение далеко еще не изжито.

Механистическая группировка, ведущая бесславную борьбу с диалектикой, стало быть и с марксизмом, об'единила всех «недовольных» философией, теорией, диалектикой, так что мининщина составляет некоторым образом фундамент, на котором воздвигнуто механистическое зданьице.

За последние два года случилось два важных события: были опубликованы «Диалектика природы» Энгельса и заметки Ленина о диалектике. Казалось бы, марксисты обязаны были заняться немедленно изучением этих работ и дальнейшей их разработкой, Но не тут-то было! На самом деле получился неожиданный «парадокс». Эти классические работы по диалектике послужили, как это ни странно, лишним толчком для сплочения всех антидиалектиков, всех механистов.

Мы можем с удовлетворением констатировать здесь тот факт, что наш журнал не склонил своего знамени перед противниками, что он и в этом отношении считал своим долгом продолжать традицию марксизма и сделать все возможное для осуществления третьего пункта ленинской программы.

Не лишне будет возобновить в памяти читателя этот пункт программы в более развернутом виде. Ленин утверждал, во-первых, что «без философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мировоззрения». В дальнейшем Ленин конкретизирует свою мысль как раз на вопросе о взаимоотношении естествознания и философии, что особенно важно в связи с нашими современными спорами. «Чтобы выдержать эту борьбу,—продолжает Ленин, и провести ее до конца с полным успехом, есте-

ственник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, т.-е. должен быть диалектическим материалистом» [1]).

Каковы же те средства, при помощи которых эта цель может быть достигнута? На этот вопрос Ленин дает следующий ответ: «Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала «Под Знаменем Марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения». «Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война, и революция, дает необыкновенно много». Далее, Ленин говорит нечто совершенно неслыханное с точки зрения наших антидиалектиков, а именно: группа редакторов и сотрудников журнала «Под Знаменем Марксизма» должна быть своего рода «Обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики». Такое заострение вопроса Лениным свидетельствует о том, что разработку диалектики Гегеля с материалистической точки зрения он считал центральной задачей журнала, а, стало быть, и нашего времени.

Заканчивается изложение этого пункта программы следующим повторным обращением к естественникам: «Современные естествоиспытатели,—пишет Ленин,—найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.

Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнить, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как и до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае».

[1]) Разрядка моя. *А. Д.*

Можно ли еще ярче, убедительнее, определеннее формулировать свои мысли, как это сделано Лениным в вопросе о взаимоотношении между естествознанием и диалектикой? Тем не менее возгоревшаяся между механистами и диалектиками борьба вращается вокруг тех задач, которые так ясно и выпукло были выдвинуты Лениным, как очередные и основные. Вместо того, чтобы соединенными силами работать в намеченном направлении, среди марксистов именно на этом пункте произошел раскол, который захватил и часть ближайших сотрудников журнала. К счастью, общее направление журнала от этого раскола не пострадало. Журнал, за малыми исключениями и отклонениями, в общем и целом стоял на страже написанной Лениным программы и стремился по возможности, не взирая на все нападки и чинимые противниками препятствия, к ее полному осуществлению.

Нам кажется, что в области разработки диалектики журналом кое-что сделано. Правда, истекший период, как сказано, был мало благоприятный для такой серьезной задачи. Можно сказать, что до сих пор приходилось тратить силы и время больше всего на принципиальную защиту диалектики, отстаивать, так сказать, ее право на существование. Тем не менее мы можем зафиксировать уже кое-какие успехи в области разработки диалектики и применения ее к естествознанию.

Ни для кого не секрет, что полемика по вопросам диалектики как на страницах нашего журнала, так и дискуссии между диалектиками и механистами на открытых собраниях, взбудоражили наших естественников и заставили их заинтересоваться ближе проблемами диалектического метода, так что на этом фронте мы можем отметить значительные успехи. Наш журнал в этом движении играл и продолжает играть руководящую роль. Правда, часть патентованных марксистов и в особенности естественников-марксистов в самый ответственный момент сдрейфили, но общественное движение вокруг диалектики продолжает развиваться вширь и вглубь. Оно захватило молодежь, которая отворачивается от своих «авторитетов» в области естествознания, ибо она в теоретическом отношении уже переросла на целую голову своих учителей.

Мы имеем все основания думать, что между философией и естествознанием, между общественниками-марксистами и молодыми естественниками-марксистами заключен тот тесный и прочный союз, о котором мечтал Ленин.

V.

Вступая в шестой год своего существования, наш журнал будет в дальнейшем продолжать развиваться в общем в том

же намеченном направлении. Он будет органом воинствующего материализма, воинствующего атеизма и материалистической диалектики.

Первенствующее значение диалектики в наше время определяется характером нашей эпохи. Мы переживаем эпоху «критическую», революционную как в области общественных отношений, так и в области естествознания. Революционные же эпохи разрушают все догмы, все традиционные воззрения, отношения и идеи. Эпоха пролетарских революций в этом отношении отличается от предыдущих буржуазных, напр., революций бо́льшей глубиной и основательностью, ибо пролетарская революция разрушает самые основы буржуазного строя—частную собственность.

Современный мир совершенным в октябре 1917 г. переворотом поднялся на более высокий исторический уровень. Революция разрушила в значительной степени старый быт, старые воззрения и отношения. На развалинах старого мира создается новый мир. Стоящие перед нашей эпохой огромные задачи, задачи строительства новой жизни требуют не готовых формул, систем, а правильного метода, при помощи которого эти задачи только и могут быть решены. Марксизм не догма, а метод исследования и руководство к действию. Вот почему мы настаиваем на необходимости всесторонней разработки материалистической диалектики.

Но для нашей эпохи, в виду происходящей в естествознании «перманентной» революции, крайне важно проникновение диалектики и в эту область. Это диктуется как потребностями и внутренним развитием самого естествознания, так и необходимостью борьбы против натиска буржуазных идей, буржуазного мировоззрения. Крутая ломка старых воззрений и понятий в области естествознания, с одной стороны, питает именно среди естественников идеалистические течения, но, с другой стороны, дает огромный материал для материалистически-диалектического обобщения. Естественно-научный фронт должен поэтому привлечь наше сугубое внимание. Журнал и в будущем должен будет уделять много внимания теоретическому естествознанию. Торжество и окончательная победа социализма находится в теснейшей связи также и с успехами естествознания, закладывающего основы новой, высшей техники. Новые формы техники, новое естествознание и новая общественная формация находятся во взаимной внутренней связи и об'единяются осмысливаются, синтезируются, теоретически диалектическим материализмом, материалистической диалектикой. Мы исходим из того глубочайшего убеждения, что материалистическая диалектика, как высшая форма теоретического мышления, может дать

значительный толчок развитию самого естествознания, открыть науке новые пути, может помочь естествоиспытателям поднять естествознание на новую высшую ступень, подобно тому, как это произошло в общественных науках благодаря усилиям Маркса и Энгельса.

Наш журнал на протяжении истекших пяти лет выполнил большую работу по теоретическому воспитанию молодого марксистского поколения. Он несомненно завоевал симпатии и дружеское расположение пролетарского и, главным образом, партийного молодняка. На него наш журнал по преимуществу опирается; эта молодежь является уже в значительной степени его главными сотрудниками. На сочувствие и поддержку этого «молодняка» наш журнал рассчитывает опираться и в будущем.

На ряду с этим, нам представляется, что теперь, после того, как создана значительная теоретическая верхушка, является возможным и необходимым установить «смычку» с более широкими кадрами пролетарского авангарда. Для этой цели необходимо сделать журнал несколько более доступным, живым, актуальным.

Будем надеяться, что редакции журнала удастся выполнить стоящие перед ней задачи полностью.

Вместо статьи к пятилетию журнала.

Ник. Карев.

Этим номером заканчивается пятилетнее существование нашего журнала. Своего рода маленький «юбилей», по поводу которого нам хотелось бы поделиться некоторыми мыслями, ни к малой степени не претендующими ни на систематичность, ни на то, чтобы заменить собой «юбилейную» статью. Задача их—привлечь внимание товарищей к некоторым вопросам нашей текущей философской борьбы. Не больше.

I.

Тов. Ленин, на собрании МК РКП(б), устроенном в день его 50-летия, высказал три мысли, которые следовало бы вспоминать на каждом, самом незначительном, юбилее.

Во-первых, он выразил надежду, что если не сразу, то постепенно мы, может быть, создадим более подходящий способ для празднования юбилеев, чем тот, который иногда давал повод для удивительно хороших карикатур.

Во-вторых, он говорил, что самое позорное, смешное и глупое положение, в какое может попасть человек—это положение человека зазнавшегося. А нередко, даже в истории целых политических партий, бывали случаи, когда неудачам и упадку их предшествовало такое состояние, в котором они имели возможность зазнаться.

И, наконец, в-третьих, переходя к задачам нашей партии на исходе периода «военного коммунизма», т. Ленин говорил, что блестящие успехи и победы, одержанные партией, были обставлены такими условиями, при которых главные трудности еще не могли быть решены. «Задачи, составляющие сущность социалистического переворота, отодвигались от нас задачами организации борьбы с повседневным будничным проявлением мелкобуржуазной стихии, раздробленности, распыленности, т.-е. всего, что тащит назад к капитализму». Завершение военной борьбы с реакцией ставит в порядок дня эти задачи социалистического строительства, и здесь-то именно опасность оказаться

в положении человека, который зазнался, «должна быть сугубо учтена всеми большевиками порознь и большевиками, как целой политической партией» [1]).

Таковы три завета Ленина насчет юбилеев.

Думается, что в отношении того способа их празднования, который дает повод к удивительно хорошим карикатурам, все ленинцы остались мнения старого, плохого. А этот способ и состоял именно в том, что юбиляру воскурялся фимиам, он сам себе подкладывал уголечки в кадильницу, и одинаково—чествователи и чествуемый—оказывались в «глупом, позорном и смешном» положении, положении людей зазнавшихся. Особенно, конечно, «глупо и позорно и смешно» это положение, когда на очереди стоит разрешение задач, составляющих самую сущность социалистического переворота, о к о н ч а т е л ь н о г о преодоления «мелкобуржуазной стихии, раздробленности, распыленности, т.-е. всего, что тащит назад к капитализму».

Юбилейная речь Ленина была произнесена 23 апреля 1920 г., т.-е. незадолго до введения нэпа. Наш журнал возник в начале 1922 г., вскоре после введения нэпа. Появление его как раз в это именно время несомненно не было случайным. В период «военного коммунизма» непосредственное революционное действие не оставляло сил для специальной разработки вопросов теории. Это вовсе не значит, что этот период прошел бесследно для теории марксизма. Теория тогда как бы совершенно растворилась в революционной практике и у нее не оставалось времени для того, чтобы оглянуться на самое себя. Но зато сама эта практика была в высокой степени пропитана теорией, находившей себе величайшую проверку и подтверждение в движении миллионов. Задачи повседневной борьбы, конечно, требовали и тогда теоретического осознания совершающегося, не только критики оружием, но и оружия критики. Созданные в самые горячие годы революции, такие работы как «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата», резолюции II Конгресса Коминтерна, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и многое другое навсегда останутся величайшими т е о р е т и ч е с к и м и созданиями ленинского гения. Однако, повторяем, несмотря на все это, специального и широкого изучения проблем теории в этот период быть не могло. Оно появилось с переходом к новому этапу революции, вызвавшему к жизни новые формы классовой борьбы.

Новая экономическая политика является единственным путем к социализму в условиях страны со значительным крестьянским населением, одна обеспечивает, говоря словами Ленина, мерное движение вперед железных батальонов пролетариата. Однако

[1]) Н. Л е н и н, Собр. соч., т. XVI, стр. 112.

по самому существу своему она неразрывно связана с известным раскрепощением мелкобуржуазной стихии, а значит и с появлением мелкобуржуазных идеологических теорий и течений как в стране, так отчасти и в наименее устойчивых слоях пролетариата и партии. Отсюда вытекает в условиях нэпа особенная необходимость высоко поднять теоретическое знамя пролетариата, марксизм-ленинизм, беспощадно бороться со всеми попытками идейного разоружения пролетариата, оппортунизма и ревизионизма, откуда бы они ни исходили. Так именно и формулировал задачи «воинствующих материалистов» пять лет тому назад наш журнал. Следовало бы, может быть, только, уточняя слова Плеханова, сказать—не «воинствующих материалистов», а «воинствующих диалектических материалистов». Таков был исторический контекст, в котором появился наш журнал. Выполнил ли он ту долю обязанностей, которую определяла для него эта страница истории пролетарской революции?

Несомненно, большой заслугой журнала является уже то, что он поставил в порядок дня вопросы марксистской теории, борьбу за их ортодоксальное разрешение. Но, чтобы не попасть в «глупое, позорное и смешное» положение людей зазнавшихся, начнем с того, что не было выполнено или недостаточно было выполнено журналом.

II.

Прежде всего два слова о формальных недостатках журнала. До сих пор, к сожалению, мы не научились еще писать так о самых сложных вопросах марксистской теории, чтобы это было легко усваиваемо самыми широкими массами читателей. Мы все еще сплошь и рядом пишем на том варварском, цеховом жаргоне, который так затрудняет проникновение науки в самые захолустные и темные уголки, и которого так блестяще умели избегать Плеханов и Ленин. Конечно, многое здесь об'ясняется новизной и сложностью самого предмета. Еще Ленин, рекомендуя журналу изучение Гегеля, писал, что «работа использования и пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна, и, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Там же, где налицо ошибки и нет ясности в голове—не всегда может быть ясность на бумаге». Журнал стремился сделать самые сложные и отвлеченные вопросы философии близкими и понятными широким кругам читателей, ставил своей задачей установление непосредственной связи с ними, однако то, что сделано в этом отношении, несомненно, далеко не достаточно.

Далее, переходя к содержанию журнала, следует отметить область, на которую обращал внимание Ленин, и которая до сих пор не получила должного места на его страницах,—это область антирелигиозной пропаганды. Правда, после указания Ленина возник целый ряд специальных журналов и организаций, посвятивших себе исключительно этой работе и тем самым как бы разгрузивших от нее журнал. Кое-что сделано и «Под Знаменем Марксизма», поскольку в журнале печатался ряд статей о роли церкви в западно-европейском и американском рабочем движении, обзоров антирелигиозных изданий и т. д. Но теперь совершенно очевидно, в связи с поднимающейся на Западе волной так называемого «религиозного социализма», что всего этого не достаточно, что атеистической пропаганде и критике современных богостроителей должно быть посвящено значительно больше внимания, чем это имело место до сих пор.

Наконец, кроме этих отдельных частных недостатков, нам хотелось бы указать и еще на одну, более общую, задачу, которая, может быть, не в достаточной мере разрешалась журналом. Главную борьбу против буржуазной идеологии и современных ревизионистов журнал вел в области философии. Задача, несомненно, чрезвычайно важная, без разрешения которой не возможны никакие дальнейшие прочные успехи марксистской теории. Но философия не исчерпывает собою теории вообще, хотя и представляет собою ее жизненный нерв. А за последнее время мы, совершенно несомненно, имеем неслыханное в предыдущие годы оживление буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, попытки наступления ее на марксизм под тем или иным флагом в самых разнообразных науках. В политической экономии, науке права, истории и т. д., под видом разработки отдельных частных вопросов, все более и более делаются попытки нападения на самый принцип пролетарской диктатуры, диктатуры марксизма в нашей стране. Журнал обращал внимание на некоторые явления в этой области, но, конечно, внимание далеко не достаточное по сравнению с тем, что следовало бы сделать. Сюда, в большей степени, чем до сих пор, должен быть направлен меч марксистской критики. Прожектор марксизма должен рассеять туман псевдо-научности, прикрывающий многих, копошащихся в специальных науках, пресмыкающихся, пример чему был дан уже Лениным в № 3 нашего журнала на разборе работы П. Сорокина «О влиянии войны» в «Экономисте», блаженной памяти органе «XI отдела Русского Технического Общества». Выполнение этой задачи является вместе с тем необходимой предпосылкой для действительного осознания опыта величайшей революции во всех областях общественно-научного знания.

III.

Основную свою работу наш журнал вел в области философии. Именно здесь достигнуты крупнейшие успехи. На дискуссии в Институте Научной Философии весной этого года было заявлено (в частности Л. И. Аксельрод), что марксистская философия в СССР не сделала ни одного шага вперед за последние 9 лет. Мы уже не говорим о том, что это бьет в лицо всем работам Ленина за этот период, философское значение многих из которых могут отрицать лишь люди, окончательно потерянные для марксизма. Одни замечания Ленина по поводу записок Н. Суханова для разработки теории марксизма весят больше, чем все сочинения современных критиков диалектики. Мы не говорим о том, сколько сделано за это время в деле издания классиков марксизма и классиков материализма, в деле их популяризации. Такой размах ширь, охват философией масс, какой мы имели за эти годы, история видит впервые. Кто не понимает, что этот размах движения обеспечивает в недалеком будущем и не менее глубокую интенсивность его—безнадежен для марксизма.

Но и даже в более узком смысле, в смысле разработки отдельных проблем и постановки их, не за 9 лет, а за последние 5 лет, философией марксизма у нас сделаны значительные завоевания. Только белогвардейцы типа Франка (в «Kantstudien») или Яковенко (в «Логосе») делают вид в своих очерках русской философии за последние годы, что эти завоевания не существуют. Важнейшее из этих завоеваний, оставляя в стороне начавшуюся разработку истории материализма, проблемы философии и т. д., составляет постановка в порядок дня изучения материалистической диалектики.

И здесь, как и в тысяче других вещей, инициатива принадлежит Ленину. Именно он обратил сюда основное внимание журнала при самом его основании, именно он поэтому является зачинателем той борьбы за диалектику, которая не кончилась еще и в наши дни.

Сама история нашего журнала в этом отношении совершенно отчетливо разбивается на два периода. Первый период—1922 и в значительной части 1923 г.г.—журнал был вынужден посвятить в основном борьбе за теорию вообще, за самую возможность марксистской философии, против вульгарщины в самой грубой ее форме. Второй период, с конца 1923 г. до наших дней, имеет своим основным содержанием борьбу за материалистическую диалектику. О нем в дальнейшем главным образом и будет итти речь.

То обстоятельство, что проблема диалектики оказалась центральной проблемой марксистской теории, необходимо опреде-

лялось всей совокупностью условий, заложенных в обстановке на данном этапе революции.

Противоречивый характер общественного развития отчетливее всего проявляется в революционные эпохи. Переход к нэпу ни в малой степени не устранил этой противоречивости, хотя и придал ей иногда несколько менее уловимые формы. Формально-логический анализ в большей степени чем когда-либо оказывается негодным при изучении общественных отношений в стране, строящей социализм и в то же время ведущей беспощадную, хотя и мирную по форме, борьбу с остатками старого мира и теми условиями, которые воспроизводят эти остатки. Лишь понимая единство формы и содержания, и в то же время их различие и взаимную обусловленность, единство в противоречиях и противоречия в единстве, можно правильно понимать действительность и на основе правильного понимания—правильно действовать, особенно в революционную эпоху. Естественно поэтому, что изучение и разработка материалистической диалектики представляет отточивание необходимого в классовой борьбе пролетариата оружия.

Недаром Ленин считал, что материалистическая диалектика есть то основное, что пронизывает собою все произведения Маркса и Энгельса. Недаром он требовал от нашего журнала, чтобы его редакция стала «обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики».

К этому следует добавить, что в наши дни особое внимание к проблеме диалектики определяется и еще одним рядом явлений, неразрывно связанным с критическим характером переживаемой нами эпохи. Речь идет о судьбах современного естествознания. Еще в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин писал, что современное естествознание, в частности, современная физика, в муках рожает диалектический материализм. Диалектическое естествознание, рождающееся из современного естествознания, полного еще до сих пор идеалистических и вульгарно-механистических предрассудков, несомненно крепнет и будет крепнуть с каждым новым успехом положительного знания. Однако облегчен его путь и ускорен его рост может быть лишь сознательным применением диалектического метода. Зубы диалектической мудрости прорезаются у современных естествоиспытателей с явным запозданием. Задача марксистской теории, философии марксизма,—ускорить этот процесс.

Поэтому, выдвигая на первый план проблему диалектики, Ленин гениально синтезировал потребности обществоведения нашей эпохи с потребностями современного естествознания.

Наш журнал стремился сделать все, что было в его силах, для выполнения этого завета Ленина. Прежде всего пришлось

вести борьбу за признание самой необходимости изучения материалистической диалектики, разработки с ее точки зрения современного естествознания. Диалектическому материализму и борьбе за диалектическое естествознание по весьма старому, шаблонному способу были противопоставлены исторический материализм и «современное естествознание». Тем самым ставился под вопрос диалектический материализм, как общее, а не только историческое, мировоззрение, как универсальный метод для всех областей знания. Щитом, прикрывающим борьбу против диалектики, должно было служить отрицание значения Гегеля для марксизма, несмотря на то, что Ленин указывал именно на необходимость изучения и материалистического истолкования гегелевской диалектики. Борьба против диалектики об'единила представителей самых различных идеологических течений и воззрений, от Богданова и богдановцев до фрейдистов. Это вовсе не значит, что противники диалектики сознательно выступали против диалектики. Мы вовсе не стоим на почве того мелкого и топорного понимания марксизма, которое во всякой борьбе видит личную заинтересованность сторон и сознательную злонамеренность. Но марксизм учит различать между суб'ективными намерениями и об'ективной значимостью деятельности тех или иных людей. И именно по своему об'ективному значению противодиалектический союз в конечном счете отражал те силы, которые в современном нам обществе стремятся к ревизии марксизма. Теперь совершенно несомненно, что в результате первого боя союз этот потерпел поражение, и те, кто еще не так давно говорили о «гегельянщине», признают уже необходимость изучения Гегеля и все диалектические формулы. Но это вовсе не значит, что борьба за диалектику окончена. Точнее всего было бы сказать, что она только начинается. На наших глазах те, кто еще так недавно высмеивал изучение Гегеля, теоретическую разработку диалектической логики, как схоластику, спешно признают и то, и другое, чтобы затем начать по-своему их толковать.

Борьба за правильное, марксистское, ленинское понимание диалектики не только все еще стоит в порядке дня, но с переходом к конкретной ее разработке впервые только по-настоящему и ставится.

Вместе с тем не только еще не изжит, но отчасти и крепнет тот вульгарный практицизм, который находит себе выражение в гонениях на преподавание философии, в подмене политической экономии—экономической географией и, в лучшем случае, экономической политикой и т. п., а в «высокой» сфере теории завершается третированием разработки общего мировоззрения и метода, как беспочвенного умствования, бесполезного для «положительного» знания.

Уже на диспуте в Институте Научной Философии наметилось несколько пунктов, выяснение которых и составит, очевидно, ближайшую философскую задачу марксистской теории.

Прежде всего—это разработка вопросов, связанных с проблемой самодвижения, выдвинутой Лениным.

Марксизм учит, что материи внутренне присуще движение как всей в целом, так и каждой отдельной ее части. Всякое данное конкретное движение есть единство самодвижения предмета и воздействия на него окружающей среды, есть взаимодействие между ним и средой. Отрицание самодвижения, имманентного возникновения различий, приводит к механическому материализму и, в конечном счете, к господу богу, как первому двигателю.

Конечно, и отрицание влияния среды, связанности предмета со всем окружающим его миром, не имеет ничего общего с марксизмом.

С проблемой самодвижения связана и вторая важнейшая проблема, служащая предметом наших споров, проблема сведения высшей формы к низшей. Конечно, ничего общего с диалектикой не имел бы тот, кто отрицал бы возможность возникновения высших форм из низших. Конечно, в синтезе, образующем высшую форму движения материи, ничего не дано «сверх» составляющих ее низших форм, «сверх» их особой организации и взаимопроникновения. Но также ничего общего с диалектикой, а значит и с марксизмом, не имеет тот, кто отрицает качественное своеобразие высшей формы, кто не признает особых закономерностей ее движения. По отношению к этим закономерностям законы движения низших форм сплошь и рядом оказываются лишь побочными формами, т.е. подчиненными и обусловленными движением высшей формы моментами.

Третья проблема, поставленная в порядок дня всеми нашими спорами за последние два года,—проблема конкретного понятия, также выдвинутая Лениным.

Критики диалектики в своей аргументации очень часто, не замечая сами того, следуют Струве, пытавшемуся доказать, что марксовское учение о понятии тождественно воззрениям на него у средневековых реалистов. Но у средневековых реалистов родовое понятие предшествовало единичным вещам или обитало в них, в то время как по Марксу, Энгельсу и Ленину оно лишь отражает реальное единство этих единичных.

К этим кардинальным вопросам примыкает борьба с фрейдизмом, выяснение диалектического понимания случайности и т. д. Мы вовсе не ставим себе целью здесь перечислить все стоящие на очереди проблемы диалектики, а отмечаем лишь те, которые уже привлекли к себе внимание и в своей общей поста-

новке, и в применении к отдельным наукам. Нам сейчас важно подчеркнуть, что для нашего времени уже мало простого признания значения диалектики, Гегеля и т. п. Оно одно не делает еще человека ортодоксальным марксистом. Важно не только признание, но и диалектическое понимание важнейших категорий и задач науки. Разработка их и составит ближайшую задачу журнала.

IV.

Не было недостатка в людях, которые нападали на наш журнал с обвинениями в «архивном» характере, нападали на статьи, посвященные изучению истории философии и, в частности, истории материализма.

Нам казалось, однако, что сами нападающие при этом являются либо людьми весьма беззаботно относящимися к разработке марксизма, либо злостными врагами материалистической философии. Ответ на вопрос о том, следует ли изучать историю философии и имеет ли изучение ее какое-либо значение для современности, был дан еще Энгельсом в «Диалектике природы». Энгельс писал, что для изучения диалектики, без которой не обойтись современной науке, необходимо изучение истории философии. Пример того, как близко связаны текущие философские споры с историей философии, был дан Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме», когда он доказывал, что современные ему ревизионисты повторяют давно уже известные в философской литературе воззрения классиков-идеалистов. Таким образом, изучение истории философии должно помочь не только разработке диалектики, но и критике ревизионизма, обоснованию материалистической точки зрения. Далее, мы не можем быть Иванами, не помнящими родства, и историю материализма в наше время по настоящему никто не будет изучать, кроме марксистов.

Но есть и еще одно соображение, которое показывает всю важность тщательной разработки истории философии: очень часто наши современные философские споры мы ведем под флагом того или иного толкования великих мыслителей прошлого. Под видом споров вокруг вопроса о значении Гегеля для марксизма мы вели борьбу за материалистическую диалектику. Теперь под флагом борьбы за материалистическое понимание основных положений спинозизма мы начинаем вести борьбу за материализм. В этом смысл нынешних споров вокруг Спинозы. Если спинозовскую субстанцию понимать как закономерность, то тогда исчезает материальное содержание субстанции, и недалеко до признания, что закономерность предшествует материи, т.-е. до открытого идеализма.

Один из наших критиков, тов. А. Варьяш, в своей «Истории философии» (т. I, стр. 144), уже заявил, что «мысль о примате законов над материей является—исторически—первой попыткой в новое время решения мировой загадки в материалистическом духе».

Ни один историк философии материалист системы философии, утверждающие примат закономерности над материей, материалистическими считать не будет.

Поход против истории философии представляет неот'емлемую составную часть похода против теории вообще. Но так как открыто выступать против теории неудобно, то кричат против истории философии и истории материализма. Кричат против истории философии, а устраняют из преподавания диалектический материализм и в результате даже из комвузов подчас выходят товарищи, знающие советское законодательство и экономическую географию, но имеющие очень смутное представление о марксизме, как общем мировоззрении.

Пусть же наша молодежь, жадно тянущаяся к теории Маркса и Ленина, не боится побасенок об архивной схоластике философов, распространяемой воистину пыльными людьми, и требует изучения того, что способно действительно закалить ее марксистское мировоззрение и марксистский метод, что изучали все крупнейшие марксисты-революционеры.

V.

Наш журнал ставил своей задачей неуклонно итти под знаменем марксизма, под тем знаменем, знаменосцами которого являлись Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин.

В наше время делаются неоднократно попытки противопоставить Плеханова Ленину или Ленина Плеханову. Попытки никуда не годные! Всем известны политические ошибки Плеханова. Известно, что на закате своих дней, во время войны и в 1917 г., многие из политических ошибок у столь последовательного ума, каким был Плеханов, перерастали и в ошибки теоретические. И до войны у Плеханова было несколько неточных формулировок и неудачно поставленных ударений в области теории: известная история с иероглифами и понятием опыта, недостаточное подчеркивание включения у Маркса теории познания в диалектику, выпадение классов в схеме общественного целого, подготовившие ошибки Плеханова в «Истории русской общественной мысли», и т. п. Но все эти частные ошибки не могут устранить того общего, что неоднократно подчеркивал Ленин—философские произведения Плеханова до сих пор остаются лучшим из того, что написано на эти темы в мировой литературе марксизма. Истинный ленинец ревизионистам Плеханова уступать

не должен и не может. Наоборот, должно противопоставить Плеханова многим меньшевиствующим современным его эпигонам, слабую сторону Плеханова превращающим в свою единственную сторону. Плеханов-революционер, Плеханов-философ принадлежит марксизму, принадлежит ленинизму, и не может принадлежать никому более. Этому Плеханову по завету Ленина неуклонно следовал в своей борьбе с идеализмом и ревизионизмом наш журнал.

VI.

У марксистов принят хороший обычай называть вещи своими именами. Критики того направления, которое в меру своих сил защищал наш журнал,—этим направлением является диалектический материализм,—выражают крайнее неудовольствие, когда их называют ревизионистами. Они предпочитают говорить о марксистской схоластике и себя причисляют к ее противникам. Мне кажется, что должно поднять и эту перчатку. Да, вопреки колебаниям одних, нерешительности других, дипломатическим пируэтам третьих, мы вели беспощадную борьбу за все целиком, без из'ятия, марксистское и ленинское учение. Мы не признавали компромиссов в теории, которые не могут не быть гнилыми. Ревизионизм, по самой своей природе, исторически никогда не начинался с нападения на основы марксизма. Он всегда начинался с отрицания отдельных положений Маркса, чтобы затем уже поставить под сомнение все учение в целом. Поэтому и современные критики диалектики, отрицающие те или иные положения Маркса, Энгельса или Ленина, должны быть названы тем, чем они на самом деле являются,—ревизионистами. Все же, действительно стоящие под знаменем марксизма, всегда предпочтут в этом смысле марксистскую «схоластику» ревизионизму.

«Философов»—кличка, которой тщетно хотят заклеймить диалектиков—обвиняют в том, что они далеки от конкретного. Но говорящие так не отдают себе отчета в том, что такое конкретное. Апелляцией к тому конкретному, которое непосредственно воспринимается нашими органами чувств, еще не исчерпывается задача познания. Это конкретное должно быть опосредовано, понято, как продукт предшествующего развития, как подчиненное определенным законам. Это же опосредствование не может быть выполнено без работы мышления, там же, где есть мышление, оно оперирует понятиями, а уменье оперировать понятиями невозможно без философии, диалектики. Еще Маркс в письмах Николаю—ону писал, что «прямая линия далеко не во всех случаях, как это воображают себе математики,

есть самая кратчайшая». Самый краткий, но единственно истинный путь к познанию и преобразованию конкретного лежит через изучение правильного метода познания. Диалектика требует конкретного. В противоположность непосредственному созерцанию, неспособному к целесообразному действию, здравому смыслу, некритически оперирующему своими понятиями и потому ежечасно заблуждающемуся, абстрактной идеалистической философии и метафизике, застывающей в логической игре понятий, материалистическая диалектика требует возвращения к действительности, приложения к ней для изменения ее, но уже не как к предмету непосредственного, наивного чувства, а как к опосредствованной научным знанием действительности. Неверно поэтому, что философы избегают конкретного. Но они хотят познавать его для действия, а это невозможно без разработки науки о человеческом мышлении, теории диалектики.

Современные критики диалектики представляют собой своеобразный хвостизм в теории.

Они плетутся в хвосте «современной науки», в частности «современного естествознания», вместо того, чтобы осмысливать ее и вносить в нее струю диалектико-материалистического сознания, они слепо хватаются за последние «слова» буржуазной науки, наивно разделяя ее представителей на добрых и злых, при чем у добрых все абсолютно хорошо, а у злых все абсолютно плохо. Следуя завету Ленина, наш журнал отводил значительное место проблемам естествознания, чуждый одинаково и слепого игнорирования его, и слепого поклонения той или иной теории в нем, совместимой с материализмом. При этом мы всегда исходили из убеждения, что это лишь половина работы и даже меньшая, следуя ленинскому указанию, что «без философских выводов естествознанию не обойтись», естествоиспытатели же будут «беспомощны в своих философских выводах и обобщениях» до тех пор, пока не поставят задачей искать с помощью марксистов ответов в «материалистически истолкованной диалектике Гегеля». К разрешению этой задачи мы только приступили, и она во весь рост стоит перед молодым поколением наших естественников.

Современный хвостизм в теории должен быть во что бы то ни стало побежден и, в конечном счете, он будет побежден, так как победа марксизма обеспечена.

Наш журнал за истекшее пятилетие внес все свои силы в дело борьбы за эту победу. Будем надеяться, что и следующее пятилетие он продолжит эту борьбу с тою же страстностью и под тем же боевым знаменем, под которым велась она эти пять лет.

Макс Шелер, католицизм и рабочее движение.

Гр. Баммель.

(Окончание).

3.

Католицизм и буржуазная идеология.

Философия Макса Шелера возникла на почве той полосы социально-экономического развития Германии, которая завершилась политическим кризисом 1923 года. Казенный пессимизм, который взращивался в бюрократическом аппарате, популяризовался для массы с церковных кафедр, маскировался дипломатическими нотами и получал метафизическое об'яснение в лекциях профессоров философии, был именно той психологией, которая давала почву мистическим учениям о «всеобщей солидарности», о «всеобщей греховности» и необходимости всеобщего «сотрудничества» над воссозданием нового типа культуры, «нового человека». Социально-психологические корни своей философии Шелер, сам того не подозревая, выразил наилучшим образом в следующих словах: «Если человек погибает в борьбе с враждебными силами и уже видит банкротство всей своей жизни, то существует все-таки нечто такое и притом единственное, о спасении чего он еще может думать даже в самом худшем случае: спасение своего морального и духовного существования. Это—спасение творческих источников духа» [1]. Программой этого «спасения» и явилась теория солидаризма Шелера.

Главным виновником поражения Германии оказался материализм. Возрождение Германии для мелкого буржуа возможно и ценно, как возрождение германского д у х а. Материализм—это признак разрушения германского духа [2]. Понятно, поэтому, почему Шелер начинает с того, что об'являет материализм синонимом безнравственности, беспутности и обжорства и апеллирует к идеалам «совести, божества и любви».

Но в той социальной обстановке, в тех условиях ожесточенной классовой борьбы, в которых идеологически вырабатывалась психология шелеровского человека, бессильного бороться против материальных факторов революции и спасающего свою «душу», «дух» хозяйствования, общественную «совесть» и т. д.,

[1]) S c h e l e r, Schriften zur Sozial. und Weltausschauungslehre, II, S. 147.
[2]) S t e i n h a u s e n, Der Materialismus als Verfallserscheinung, «Deutsche Rundschau», Sept. 1925, S. 264.

философия Шелера представляет интерес еще и в том отношении, что из существующих философских направлений она в наиболее цельной, систематизированной, всесторонней форме отобразила происшедший после войны и революции сдвиг в отношениях католицизма к социализму.

Послевоенное время поставило перед католицизмом вопрос о судьбах капитализма с необычайной остротой. Рабочий класс готовился к последним и решительным боям за завоевание власти. Рост социалистического движения сопутствовал всем явлениям идущего великими шагами процесса обессиления и разрушения капитализма. Католическая церковь, которая прекрасно устроилась после крушения феодализма в качестве служанки буржуазии, теперь готовилась приспособиться к идеологии все более и более поднимающегося рабочего движения.

Старая позиция католицизма состояла в том, что капитализм об'являлся неустранимым, незаменимым и ненарушимым делом рук творца мира, а социализм—исчадием дьявола. Даже огромное титомное предприятие иезуита Генриха Пеша, создание собственной системы политической экономии, доказывающее «научную необоснованность» марксизма и кладущее резкую грань между католицизмом и социализмом, не встречает сочувствия в католических кругах. Частная собственность на средства производства—единственный рычаг технического прогресса культуры, говорит Пеш. Существование же наемного труда в капиталистическом обществе основано на нравственном принципе, так как рабочий всегда имеет возможность пойти наниматься к другому хозяину, если один «работодатель» окажется чересчур жестоким (zu hart). Делать уступки социализму нет никакой надобности.

Эта позиция, однако, не может быть сохранена. Идеи Генриха Пеша не могут прийтись по душе тем дальновидным и практичным служителям католической церкви, которые, учитывая все растущее влияние социалистических идей, идущих из борьбы классов, из поднимающегося рабочего движения, стремятся «об'ективно» примириться с социализмом, как с «крупнейшим политическим фактором». Выражением этого сдвига в отношениях католицизма к социализму могут служить такие авторы, как Макс Шелер, Штейнбюхель [1]), Гетц Брифс [2]), Пипер [3]).

Эти авторы не проклинают социалистов-марксистов, как служителей сатаны. Они изучают произведения Маркса и Энгельса, сознательно сравнивают идеи «Коммунистического Манифеста» с идеями христианства и находят в них много родственного. В учении марксизма католические писатели открывают «кое-какие, как они говорят,—правильные положения». Из приспособления идей католицизма к социалистическому движению возникло современное оживление и развитие «католического социализма».

Католического социализма, как единого и целого направления, не существует. Религиозно-социалистическое движение, примыкающее к католицизму, образует многочисленные школы и кружки, группы и группировочки, мелкие разветвления, подчас оформленные организационно лишь по территориальному при-

[1]) S t e i n b ü c h e l, Sozialismus als sittliche Hee, 1921. О книге Штейнбюхеля и отношении к нему ренегатов с.-д. см. статью А. М. Деборина «Последнее слово ревизионизма»,—«Воинств. Материалист», кн. I.
[2]) G o e t z B r i e f s, Der soziale Volksstaat und der Sozialismus, 1921.
[3]) P i e p e r, Kapitalismus und Sozialismus als seelische Problem, 1921.

знаку. Они имеют свои газеты, свои журналы, в которых пишут собственные поэты и собственные журналисты. Каждое направление имеет свои школы и кинотеатры. В каждом направлении, под одной церковной крышей, находят место и республиканцы, и монархисты, крестьяне и банкиры, рабочие и предприниматели.

Идеологически все эти группы и направления представляют собою различные формы приспособления религии к нуждам католического класса. Евангельский социализм протестантов (Barth и др.), «культурно-философское», независимое от церкви и партийности, «богоискательство и богостроительство» («младосоциализм», юношеское движение), «союз религиозных социалистов», стремящийся организационно реформировать церковь и организационно связать с рабочим движением (Paul Giechowski, Göring и др.), различные философские группы, стремящиеся обосновать и построить «новую этику» на идеях христианства (Бонус, Эренберг), или на принижении и третировании массы, организованной в социалистическое движение, третировании ее, как мертвой и механической (группа Тиллиха) и т. д.

Нам не зачем разбираться в иезуитских тонкостях, останавливаясь на каждом из этих направлений и направленьиц религиозного социализма. Достаточно обратить внимание на то общее, что об'единяет различные разветвления этого движения в одно мировоззрение.

На идейном знамени этого мировоззрения главное место занимают следующие лозунги: борьба против марксизма во имя «духовного» социализма, борьба против «духа» капитализма, против его этики и мировоззрения. Условием преобразования существующего строя является не преобразование его хозяйственной системы, а преобразование его нравственных идей. Не материальная хозяйственная работа, а дух есть нечто первичное в жизни общества.

С этим связана другая общая и об'единяющая особенность всех группировок и течений религиозного социализма: борьба против науки, резко отрицательное отношение к современному естествознанию, высокомерное третирование научного познания, которое об'является мертвым, сухим, абстрактным «рационализмом» и требование интуиции, как какого-то нового жизненного знания, не контролируемого рассудком и логикой. Капитализм и марксизм одинаково рационалистичны, одинаково погрязли в интеллектуализме, и тот не является социалистом, кто не борется не только против духа капитализма, но и против марксизма.

Если ухватиться за это основное ядро всех в высокой степени плодовитых писателей религиозного социализма, если порыться в утонченных «культурно-философских» рецептах пошлых «реформаторов» мелкобуржуазного «духа» и попытаться вытянуть практическую программу, необходимость которой заставляла попов философствовать, а философов служить поповщине, то окажется, что все эти толстые, набухшие книги Шелера и «метафизика массы» Тиллиха, и полные ханжеского лицемерия «теоретически-марксистские» монографии социал-демократа Кранольда укладываются в старое положение о том, что «социальный вопрос может быть решен лишь на почве религии».

Капитализм переживает величайший кризис, волны социально-политической борьбы подмывают аппарат, настолько расшатывают государство, ожесточенная борьба классов настолько поглощает силы, ум, психологию, экономический кризис дает о себе знать во всех областях жизни с такой остротой, что с растущей мощью социалистического движения буржуазия не может справиться своими силами в открытом бою. От религии, от науки, от искусства, от философии она требует практической помощи от пресловутых «вершин» мысли, т.-е. утонченных абстракций и рафинированной логики философия переходит к земным делам, изучает грешную действительность, погружается в изучение даже таких «реалистических» теорий, как марксизм. Но так как философия буржуазии—идеализм, на данном этапе развития буржуазной мысли, как мы видели, сводится к метафизике и мистике, то этот, требуемый временем, практический характер философия могла принять, лишь снизойдя до церковной проповеди. Таков теоретический уровень одного из главнейших направлений в современной философии. Социальное значение проповеди религии совершенно ясно.

Общество раздирается классовыми противоречиями. Прикрывая эти противоречия идеями о всеобщей солидарности, о сверхчеловеческой морали, примиряя противоречия путем принижения обоих классовых мировоззрений, церковь отрывает массы от борьбы за материальное благосостояние. Практически это сводится к духовному пониманию капитализма и социализма. Пипер (Pieper), один из виднейших писателей христианского социализма, пишет так: «До сих пор мы подходили к капитализму и социализму, как к вопросам внешнего устройства жизни, и полагали, что они не имеют никакого отношения к душевной жизни. Но мы ошиблись, ибо мы оказались свидетелями духовного кручения нашей общественной жизни. Истинные корни как капитализма, так и социализма лежат в душевном, и их надо рассматривать именно внутренне, духовно, а не внешне, материально» [1]). Капитализм и социализм—это душевная проблема. Капитализм проникнут духом наживы и эгоизма; капиталист стремится выкачивать побольше прибыли, чтобы продержаться, чтобы быть способным конкурировать и не «прогореть», а такое душевное состояние есть маммонизм (Mammonismus). Борьба против капитализма есть борьба против жадности, материализма и маммонизма,—говорят католические социалисты,—об этом давно возвещает миру идеал христианства, который поэтому совпадает с социалистическим идеалом. Социалистический идеал был извращен Марксом и Энгельсом, а в настоящее время его «принижают» «большевики, проповедующие классовый эгоизм под именем христианского братства всех людей».

Все люди братья по духу, продолжают католические социалисты. Духовное сотрудничество всех людей есть основа всякого общества. Их интересы гармонируют, потому что общество есть органическое живое целое, а не механическая сумма индивидумов. Органическая сущность общества означает собою солидарность всех слоев населения. Предписания морали составляют истинные основания и побудительные силы общественного развития. Смысл социализма в том, чтобы ограничивать

[1]) A. Pieper, Kapit. und Sozialismus als seelische Problem, 1924, S. 7.

и регулировать осуществление прав частной собственности, которое священно. Смысл капитализма в том, что при нем злоупотребляют этим правом, накопляя средства в неограниченных размерах. Социализм исходит из законов церкви и совести. Индустриализм атомизирует общество, опустошает личность. Социализм требует не обобществления средств производства, а обобществления личности.

Рабочие массы,—продолжают христианские социалисты,—все еще глубоко сидят в капиталистическом болоте индивидуализма и духа наживы. Единственной и притом решающей формой пролетарской борьбы является не массовая борьба, а борьба личности за духовное возрождение.

Итак, борьба против материальной эксплоатации не имеет никакой ценности: все дело в том, что человек эксплоатируется душевно; капитализм и социализм одинаково опутаны сетями дьявола, который заинтересован в том, чтобы ввергнуть людей в материальные земные заботы. Всякий скажет, куда растет эта «духовная» программа якобы антикапиталистически настроенных «реформистов» духа и какие практические выводы заключены в мистической болтовне современных реформаторов духа. На этот вопрос бросает яркий свет статья некоего Венна в «Schmollers Jahrbücher» (1924) о «хозяйственной борьбе современности».

Во всякой хозяйственной деятельности заложена необходимость «жертвы» или, чтобы употребить другое слово, говорит Венн, «отказа», «самоограничения». Ведь всякий капитал есть результат некоторого самоограничения, ибо он там только и есть, где его нельзя употребить по тем или иным причинам. Всякое хозяйствование есть хозяйствование для будущего, может быть, для завтрашнего дня. Эта необходимость самопожертвования, по мнению Венна, лежит вне сферы экономических категорий и она понятна с точки зрения «сверхэкономической», «духовной»; думать, что экономическая борьба совершенно чужда духовным, рациональным, психологическим и политическим мотивам, значит не рационально вести самое хозяйство. В самом деле,—восхищенно заявляет Венн,—разве идея «жертвы» и «самоограничения» не могла бы служить общей почвой для сближения предпринимателей и рабочих? Только в этом смысле было бы жизнеспособно и разумно сотрудничество в работе (Arbeitsgemeinschaft). «Самоограничение» может выражаться в различных формах, при чем на жертвы легко могут пойти как предприниматели, так и рабочие: предприниматели могли бы проводить политику заработной платы и налогов, облегчающую определенные категории рабочих, а рабочие могли бы согласиться на удлинение рабочего времени [1]).

После этого Венн переходит к самому главному вопросу, который его беспокоит: как побудить рабочих к самопожертвованию, как убедить их в том, что жертвы необходимы? И он с иезуитской уверенностью отвечает: все равно, никакими рациональными доводами вы не убедите их! К тому же, если вы силой доводов принудите некоторых из них пойти на уступки, то такое индивидуальное принуждение не имеет значения для хо-

[1]) Wilhelm Wenn, Der Wirtschaftskampf der Gegenwart und die Kirche,—Schmollers Jahrbuch., 1924, 48 Jahrg., H. 4, S. 160.

зяйства в целом. В лучшем случае основанное на доводах разума соглашение между капиталистами и рабочими может оказаться вооруженным миром, который приведет к войне. Поэтому силой, связующей капиталистов и рабочих должна выступить не убедительность человеческого рассудка, а сверхрациональная и сверхиндивидуальная идея. Венн считает, что роль этой «сверхмощной» идеи может сыграть идея христианской жертвы, символом которой является распятие».

Вся болтовня этого мистика и ханжи с начала до конца есть оправдание любой, безудержной капиталистической эксплоатации. Интересно наблюдать, как кувыркается, как изворачивается этот откровенный поп в одном из серьезных немецких научных журналов, чтобы доказать ту «истину», что взгляд на хозяйственную деятельность как на «службу богу и братьям» заключает в себе и требование «личной ответственности перед сверхэкономической инстанцией» и «поэтому преграждает путь всякому стремлению к индивидуальному обогащению». С другой стороны, не забывает добавить Венн, те же «вечные законы» заложены и в нужде, в борьбе за хлеб и в нищете масс.

Чем искуснее, чем тоньше и полнее приспособляется, таким образом, католическая философия к социализму и рабочему движению, маскируя свою принадлежность буржуазии,—тем крепче буржуазия держится за религию, тем легче держать ей рабочих в религиозной узде.

Но это старая история. Буржуазия должна держать рабочий класс в религиозной узде. Мистической проповедью о потустороннем мире, о сверхчувственных идеях морали, о духовном братстве церковь отвлекает трудящиеся массы от активной, классовой борьбы и маскирует этим свою принадлежность буржуазному классу.

Наблюдая явления религиозного ханжества «среднего класса» Англии, Энгельс писал в 1892 году: «Буржуа должен выжать из своих рабочих возможно больше труда возможно лучшего качества; а для этого ему необходимо воспитать их в соответствующей покорности. Сам он религиозен; религия дала ему то знамя, под которым он боролся с королями и лордами; очень скоро открыл он в религии также средство для обработки душ своих подчиненных в духе послушания всем приказам хозяина-фабриканта, поставленного над ними неисповедимым божественным предопределением». С тех пор как буржуазия впервые стала официально признанной составной частью господствующих классов Англии, и приняла участие вместе с аристократией в угнетении «низших классов», она стала пользоваться религией, как средством морального давления на массы. Религиозное ханжество респектабельного буржуа должно было еще более усилиться, когда именно в Англии впервые выступил материализм. В пору его возникновения материализм был деистическим аристократическим учением, направленным не только против широкой необразованной массы, но и против буржуазии. Из Англии материализм перешел во Францию; однако скоро здесь обнаружился его революционный характер; материалисты XVIII века не ограничивались областью религии: они подвергли критике все политические институты своего времени.

По этому поводу Энгельс говорит, что чем более материализм становился символом веры великой французской революции, тем

крепче богобоязненный английский буржуа держался за свою религию. После чартистского движения и континентальных революций 1848 года, промышленного под'ема Англии 1848—1868 г.г., когда английские буржуа против собственной воли делились своей властью с рабочими, более чем когда-либо нужно было держать в узде народ посредством религии.

«И тогда-то настал триумф британского респектабельного филистерства над свободомыслящим и религиозным индифферентизмом континентального буржуа. Рабочие Франции и Германии прониклись духом мятежа. Они повально были заражены социализмом, и при этом, по весьма понятным соображениям, отнюдь не пылали особенной любовью к законности тех средств, с помощью которых они надеялись завоевать господство... Что же оставалось делать немецкой и французской буржуазии для своего спасения, как не выбросить втихомолку свое свободомыслие, совсем наподобие развязного франта, который, когда его все более и более начинает одолевать морская болезнь, бросает дымящуюся сигару, которой он раньше хвастливо щеголял у борта корабля. Один за другим былые насмешники стали превращаться в весьма благочестивые создания; они стали отзываться с почтением о церкви, ее учениях и обрядах и даже сами принялись их проделывать, поскольку, понятно, нельзя было их обойти. Французские буржуа стали отказываться по пятницам от мяса, а немецкие—терпеливо потели на своих церковных сидениях, выслушивая до конца бесконечные протестантские проповеди. Со своим материализмом они попали в беду, и последним и единственным средством спасения общества от полной гибели стал лозунг: «Религия должна быть поддержана в народе!» [1]).

Энгельс не мог предвидеть торжествующего религиозного ханжества, которое мы наблюдаем в современной буржуазной мысли, но то, что он писал об Англии и Франции в 90-х годах, глубоко применимо к современной Германии. Только торжество религиозных направлений во всех современных более или менее значительных идеологических движениях, созданных буржуазией, облегчается ныне тем, что могущественная и дальновидная католическая церковь усваивает язык и форму антикапиталистического учения.

Подобно тому, как церковь от проповедей ортодоксального католицизма переходит к собственному перестроению с целью практического осуществления социального мира между враждующими классами, так и буржуазия от психологической, мелкобуржуазной ненависти к науке переходит к рациональному использованию авторитета и силы науки в своих классовых целях.

Мелкая буржуазия выступает против «интеллектуализма и рационализма современной науки». Настроениями мелкой буржуазии питаются такие типичные для теоретического падения современного Запада философы, как Бергсон, Шпенглер и Кайзерлинг и бесчисленные сонмы их учеников. Марксизм отождествляется с естественно-научным рационализмом и материализмом. Это—якобы тот же дух мертвой механической атомизирующей науки, каким проникнута вся капиталистическая система. У капиталисти-

[1]) Энгельс, «Об историческом материализме».

ческой системы,—говорят эти писатели,—заимствует марксизм идеи о «классовых эгоистических интересах», о «решающей роли в истории производственных отношений» и т. д. Как современная наука не способна понять живой органической сущности всего происходящего в мире, так и марксизм проявляет силу лишь в «критике» процесса разложения капитализма, в «ряде гипотез, об'ясняющих развитие капиталистической формы производства». То же самое буквально утверждают католические социалисты [1]), высмеивая «ложное возвеличение классовой идеологии до какой-то особой «науки», «пролетарской науки» [2]).

Поддерживая мелкобуржуазные философские направления, питающиеся так называемой «психологией», «чувствами», «настроениями», и мелкобуржуазные идеи католического социализма, современная буржуазия в то же время не может открыто выступить «против науки», без которой невозможна никакая рационализация производства. Она говорит о «новом типе» науки, который должен быть выработан на смену современному рационалистическому типу науки. Создается целая теория, пишутся целые книги о необходимости выработки нового типа науки, который не будет мешать религии выполнять свою основную функцию—идейное растление трудящихся масс. Под эту борьбу за «новую науку» пытаются даже подвести «социологический» фундамент, указывая на бюрократический характер высших научных учреждений; на необычайный рост специализации и разделения труда в научной области, которые-де делают всю науку мертвым учреждением или «конструкцией чистых понятий», обезду шивающей живую жизнь [3]). Наука, говорят нам, «не дает ответа: Как нам жить? какова истинная жизнь? действительно ли истинно и ценно для нашей жизни то, что истинно и важно для научной работы?» «Наука должна вновь взять в свои руки духовное руководство нашей жизнью». Она должна исходить из высшего единства жизни, неповторяемого, живого содержания даже в области неорганической природы. Она должна отбросить все мертвые, пустые, от жизни оторванные логические понятия. Наука дает лишь специалистов, погруженных в анализы, сопоставления, различения частей и лишенных чувства целого, т.-е. органичности жизни.

После того, как мертвая наука предается торжественному сожжению и «теоретическая» почва расчищена философскими глашатаями «живой науки», начинается пошлое, полное лицемерия занятие по возведению «истинных», т.-е. живых «органических» теорий государства, права народного хозяйства и пр. и т. д. Об «органической» теории науки и ее социальном содержании мы поговорим ниже,—здесь же важно отметить, что ее логические корни лежат в походе против современного естествознания, в защите психологической ценности религиозных переживаний.

И в самом деле, какие бы иллюзии ни создавала буржуазия насчет своей лойяльности к науке, она признает ценность науки

[1]) A. Pieper, Kapitalismus und Sozialismus als seelische Problem, 1924, стр. 78, откуда мы и заимствуем изложенный взгляд, отождествляющий марксизм и капитализм.
[2]) Scheler, Formen des Wissens, 1925, S. 10.
[3]) Ср. сборник Leop. v.-Wiese, Soziologie des Volksbildungswesens, 1921, статья P. Honnigsheim.

постольку, поскольку она необходима для развития милитаризма, поскольку она изобретает ядовитые газы и усовершенствованные типы дальнобойных орудий. Сама по себе наука не имеет значения. Практическое применение научных успехов на службе капитала и империализма придает ценность «так называемому» научному знанию.

Буржуазия стала препятствием к дальнейшему культурному развитию человечества. Целиком используя в милитаристических целях открытия науки, она поддерживает мелкобуржуазные иллюзии насчет создания какой-то новой «живой науки», несущей «реформу духа» и «возрождение христианской души». На пути своего восходящего развития эта же самая буржуазия находила в себе достаточно разума, чтобы поднять на щит науку и жестоко расправиться с тянущей назад на руку феодалам религией. Она бросала все свое остроумие, едкую иронию, острую насмешку, глубокое коварство, хитрость и лицемерие на борьбу с церковью, лишь бы разоблачить всю реакционность, беспочвенность идеологов феодальной аристократии, всю продажность, все вонючее невежество церкви. Теперь положение в корне изменилось! На ущербе своего экономического и политического господства она ищет союзников в этой же церкви, требует помощи от церкви, которая сама приспособляется к новым задачам.

Итак, критика современной, якобы «мертвой» науки может быть правильно об'яснена, если помнить, что она идет рука-об-руку с оживлением всякого рода религиозных направлений в буржуазной мысли. Но это лишь одна сторона дела. В основе современного похода против точного естествознания лежат мелкобуржуазные психологические настроения, но этими настроениями критика «мертвой» науки далеко не исчерпывается. Мелкобуржуазной борьбой против мертвой, механической науки ловко пользуется в своих целях крупная и империалистическая буржуазия, и это придает особый характер всей современной полумистической болтовне об «устарелости» и «реакционности» науки. Крупная буржуазия с замечательным искусством использует в своих классовых целях достижения науки, маскируя фразой об устарелости науки свои истинные намерения. Наука оказалась мертвой и механической, очевидно, потому, что не приносила непосредственной практической пользы современной системе милитаризма. Двойственность и противоречие этой «философии» состоит в том, что буржуазия ищет союзника как в мелкобуржуазной идеологии, исключая из нее бессильные мечтания о новой жизненной науке, о живом, о духовном, так и в современной мощной науке, отрицая ее мелкобуржуазные философские надстройки вроде рассуждений о ценности и вечности законов природы, о достоверности наших познаний и т. д.

К чему, конкретно, сводится в области социально-экономических наук этот поход против «точного знания»? Каково социальное значение пресловутых требований «органического», «живого» знания? Какова эта, наконец, на первый взгляд странная и парадоксальная связь абстрактного, логического, формального скелета католической философии с «органическим», «жизненным» знанием?

Учение Гуссерля и Шелера об интуиции, как непосредственном и притом подлинном источнике знания ближайшим образом связано с взглядом на общество, как на живой организм.

Если мне врождена способность умственного «созерцания» и она достаточна, чтобы получить знание, не обращаясь к помощи логических умозаключений, то об'ектом столь необыкновенного, непосредственного знания может служить, очевидно, общество, как органическое, живое, сразу «созерцаемое» целое, не разделимое на составные элементы, как сумма на слагаемые.

По мнению Отмара Шпанна, в социологии речь должна вестись о совершенно другом, чем «только индуктивном, описательном и логически обрабатывающем мышлении»,—напротив, надо углубиться в тайники сердца и изнутри черпать об'ект социологии: «общество». Общество есть нечто живое, подвижное, текучее, и поэтому для его познания необходимо создать в себе интимное отношение к нему. Марксизм, заявляет Шпанн, представляет общество атомистически, не замечая его органического живого единства.

Хозяйство, по мнению Шпанна, «не менее духовно»,—оно не материально, не «хозяйственно», «оно есть целое, а не сумма», не «механическое скопление», а единство. «Если же хозяйство и общество перестают быть чем-то механическим, чуждым нам, материальным, если в них перед нами развертывается внутренний мир нашей собственной человеческой натуры, то каждое социологическое исследование должно быть духовным очерком (Streifzug) об'ективированной человеческой сущности». Таким образом, основной задачей социологического исследования Шпанн считает понимание «целого, как оно должно быть», понимание того, что представляет собою «настоящее, живое, пульсирующее» и чего никогда не охватит «мертвая, обездушивающая, цепляющаяся за внешнее, причинная, никогда не проникающая в самое сердце наука»[1]).

Такая постановка вопроса ничем, в сущности, не отличается от «социального учения» (Soziallehre) патентованного мистика Рудольфа Штейнера. Известный своими «трудами» по белой и черной магии, этот писатель исходит из того плоского мистического положения, что в основе органического и неорганического мира, а также всей общественной жизни людей, лежит духовное начало. «Трагедия рабочего движения,—заявляет Штейнер,—состоит в том, что оно не посчиталось с этим, отдалось во власть земных суетных, материальных дел, избрав такую материалистическую теорию, как марксизм». Большевизм, советизм, исторический материализм—вот что является, по мнению Штейнера, главным врагом духовного развития рабочих.

Та же мысль у Кайзерлинга. Кто хочет изменить внешние условия жизни, тот должен начинать преобразование жизни с внутреннего мира человека. Гонигсгейм, посвятивший мистическим движениям в политической экономии свою статью в недавнем сборнике («Festgabe f. L. Brentano») в честь Брентано, простодушно добавляет: «Здесь мы видим несомненное отличие от всякого марксизма»[2]).

Штейнер с его мистическим отрицанием парламентских выборов не чета Отмару Шпанну, который облекает свое невежество в социологии в социологические фразы и принужден поэтому заниматься далекими от мистики вопросами права и госу-

[1]) O. Spann, Tote u. lebendige Wissenschaft, 2 Aufl., 1925, S. VII и сл.
[2]) Festgabe für L. Brentano, 1926, I, 308.

дарства, или не чета Кайзерлингу, строящему свою тонкую, глубокую «этику нового духа» и «солидарности» интересов классов внутри общества на... интернациональном характере капиталистического хозяйства. Тем не менее для всех этих реакционных зубров является общим целое мировоззрение. Это мировоззрение в общем виде и выражено в главной мысли католического социализма. Она сводится к утверждению, что абстрактные существующие науки не в состоянии понять живой жизни, которая скрывается в капиталистическом строе. Заблуждением Маркса и Энгельса и является то, что они говорят о «научном» социализме, потому что «наука знает только механическое, рациональное, а не теплокровную душевную жизнь»[1]). Будущее общество, истинный, не-«научный» социализм рисуется в виде живого организма, наподобие «семьи», «общины», «товарищества», феодальной группы, в котором личность совершенно растворяется. Перенесение из биологии учения об организме в политическую экономию и социологию оказалось возможным после того, как в эпоху первоначального органического роста буржуазного хозяйства учение об организме было перенесено из сферы общества в область биологии. Что касается его социального содержания, то учение об органическом характере всех сторон общественной жизни—хозяйства, права, государства—очевидно, имеет тот смысл, что и социалисты и несоциалисты должны признать, что они являются органическими частями народа. Интересы трудящихся масс совпадают с интересами промышленников и банкиров. Рабочие и капиталисты органически соединены «живой сущностью» всей общественной жизни. Только механисты, атомизирующие общество, могут говорить о классовых противоречиях. Католицизм, который требует интуитивного познания «живой, теплокровной жизни» общества, исходит из духовного единства, из органической связанности всех слоев населения. Но важным выводом отсюда католический социализм считает утверждение, что всякая р е в о л ю ц и я бессмысленна, противоестественна, недопустима. Раз все связано органической связью, то развитие не допускает никаких катастроф или скачков.

4.

Католицизм, капитализм и социал-демократия.

Оценка католического социализма в общей связи современной буржуазной философии получилась бы односторонней, если бы мы не учли значения другого идеологического движения, претендующего так же, как и католицизм, на исключительное влияние в рабочем движении и выполняющего ту же функцию, что и католический социализм. В то время, как католицизм примиряет, связывает нравственными нормами труд и капитал, прикрашивая материальные факторы капитализма антикапиталистической фразой, социал-демократы борются против пролетарского и революционного антикапитализма, фальсифицируя марксизм.

Материализм, как философия марксизма, отвергается. Еще недавно, на страницах теоретического органа германской социал-

[1]) A. P i e p e r, ibid., S. 53, ср. S. 20 и 78.

демократии. «Die Gesellschaft» некий Георг Бейер приходил в ярость при мысли, что находятся люди, которые могут считать социализм детищем «материализма»[1]). Другой с.-д. Кранольд пытается «научно» доказать необходимость идеалистического обоснования социализма. Он называет вульгарной и неприемлемой материалистическую теорию познания, согласно которой понятия являются «отображениями» вещей. «Важнейшие мысли системы марксизма, поскольку она является теорией методологии обществоведения и истории, представляют собою лишь дальнейшее развитие кантовского хода идеи, осуществившееся до известной степени через гегелевскую систему, в частности через диалектику»[2]). Если отвергать материализм, то, разумеется, диалектика превращается в логический способ обработки материала, и Кранольд говорит, что диалектика есть логический принцип выведения одного понятия из другого и совпадает с тем, что Кант называет «регулятивной идеей»: последняя и делает понятным все его учение о том, как конкретные и разнообразные данные опыта подчиняются основоположениям и категориям рассудка[3]).

Социал-демократы, называющие себя марксистами, таким образом извращают и опошляют диалектику: будучи идеалистами, они сводят ее к голому методу мышления и об'ясняют природу и историю из логического принципа, как «регулятивной идеи». Материалист,—а с о в р е м е н н ы м материалистом невозможно быть, не будучи марксистом,—исходит из материальной об'ективной реальной диалектики природы и рассматривает диалектику мышления как абстрактное выражение диалектики природы. Только с материалистической точки зрения становится понятной идея развития, составляющая самую суть исторического материализма. С точки зрения идеализма р а з в и т и е сводится к кантовской «идее», а все учение Канта об идеях, как регулятивных принципах, превращается не более, не менее, как в «логическое обоснование исторического материализма»[4]).

Диалектика теряет все свое революционное значение, хотя и не третируется презрительно как раньше. А с извращением философской сути марксизма происходит фальсификация социалистического мировоззрения. Старый, т.-е. научный, социализм Маркса и Энгельса, старое социал-демократическое мировоззрение эрфуртской программы должны быть пересмотрены, что и было проделано в Герлице к вящшей радости буржуазии. На смену идеям старого, уничтожающего «народную» культуру марксистского интернационализма должны прийти идеи о «культуре», «идеале человечности», «нравственной цели», о «сотрудничестве». Пресловутое «религия есть частное дело» превращается в новой программе в свободу религиозных верований для членов партии. Это вытекает из общего пренебрежения теорией, из презрительного отношения к диалектически-материалистической основе научного социализма.

Высокий этический характер католического социализма привел в умиление германских социал-демократов. Более 20 лет они практиковались на «этическом обосновании» социализма, а тут сама религия, идя навстречу истинным чаяниям реформизма,

[1]) «Gesellschaft», Juni 1926. S. 531.
[2]) K r a n o l d, Persönlichkeit im Sozialismus, S. 126.
[3]) Ibid., S. 151.
[4]) Так говорит K r a n o l d, ibid., S. 151.

усваивает социалистическую теорию Маркса и Энгельса, и с помощью ученых попов примиряет христианство и науку!

Идеи религиозного социализма становятся наиболее популярными и модными среди социал-демократов. Социал-предатели не задумываясь крепко жмут протянутые им руки попов, наемных служителей капитала. В социал-демократической прессе воскрешают старые утопические идеи домарксовского социализма. Классовый анализ явлений подвергается резкой критике. Наоборот, современные социал-демократы с большим жаром рисуют «внеклассовые этические основы» общества будущего. Отвергая философский материализм, выражаясь об «материалистическом понимании истории» не иначе, как заключая слово «материалистическое» в иронические кавычки, социал-демократы пишут специальные статьи и книги о «социализме, как о нравственной идее», о «социализме, как культурном учении», о «социализме, как переживании» и «психологии социализма» и т. д. и пр. Например, у них можно найти длиннейшие рассуждения на тему о том, «из какого переживания психологически проистекает социализм», «какое переживание делает людей социалистами», прямо целые главы пишутся на тему о том, насколько будущая «община» будет отличаться от «общества», от «союза», от «товарищества», вы будете встречать длиннейшие рассуждения на тему о том, какими чувствами будут руководствоваться люди в своих взаимоотношениях в социалистической общине, и будут ли эти «чувства» социалистическими, в каких переживаниях человек будущего вновь обретет свою «полноценность и свободу»... Как последнее слово «социалистической» теории преподносятся старые утопические идеи об «общине», «преодолевающей» современное общество и о стремлении сделать людей счастливыми, а также о любви к ближнему, как основе социалистического учения. Социализм сводится к стремлению осуществить «действительно внутренний душевный союз людей». Тут все—и предательство, и лицемерие, и ханжество, и непонимание материальных движущих сил, и непонимание роли классов, и длинные уши ренегата. Но истинные движущие причины предательства без труда откроются вам, когда подобные теоретики современного реформизма пытаются от теории перейти к осуществлению практической программы.

Социализм есть нравственное представление человека, говорят с.-д., нравственное мировоззрение, отражающее особый психологический тип человека. Содержание этого этического мировоззрения составляет «идея автономной личности, освобождение от всякого насилия и всякого внешнего авторитета, признание человеческого достоинства всякого индивидуума, осуществление одинаковых прав для всех и во всех отношениях, или, резюмируя все сказанное, идея общности» (община, Gemeinschaft). Так пишет видный профсоюзный публицист, германский социал-демократ А. Кранольд [1]).

Автономия личности есть самоопределение личности, а не произвол, ведущий к анархизму. Она вытекает из «абсолютного равенства людей по их ценности», из «безусловного признания человеческого достоинства», из «сознания духовного единства личности» [2]).

[1]) A. Kranold, Zwang und Freiheit im Sozialismus, Jena 1925, S. 21.
[2]) Ibid., S. 40.

Воспитание душ, воспитание человеческого рода—вот что является, по Кранольду, главной задачей социализма. Отвергнув «насилие», как безнравственное действие, очистив марксизм от столь «безнравственных понятий, как «классовая борьба», «применение силы» и т. д., Кранольд с замечательным искусством маскирует всю реакционность, все падение социал-демократии до полной капитуляции перед поповщиной, когда говорит следующее: «Осуществление социализма есть душевный и духовный процесс. И всякая работа по осуществлению социализма есть работа воспитательная».

Живописные идиллии, которые рисуют себе социал-демократы в тиши кабинетов, все эти тонко отделанные, чистенькие проповеди на евангельские темы, противоречат учению Маркса и Энгельса о классовой борьбе,—это вряд ли требует какого-либо об'яснения. Но вряд ли можно найти более забавное зрелище, когда этот продажный писака, душой и телом помогающий церкви в идейном растлении пролетариата, пытается всяческими софизмами показать, что он—не против классовой борьбы, он, действительно, мирится с нею, но для этого он в корне фальсифицирует ее. Социализм ставит чисто духовную задачу, внедрения в сознание новое мировоззрение, пробуждения в людях нового духа. Поэтому учение о классовой борьбе не составляет вовсе органической части исторического материализма. Наблюдение, что в истории фактически в переходные эпохи происходит борьба классовых интересов, не имеет вечного значения, а является одним из бесчисленных исторических наблюдений, не имеющих никакого отношения к историческому материализму [1]).

Дело, видите ли, представляют себе совершенно неправильно, когда с классовой борьбой обязательно связывают вражду и ненависть. Ненавидеть могут только люди, борьба же классов есть не личная борьба. «Вообще не существует классовой ненависти, как таковой. Ведь чувствовать ненависть и вражду могут только единичные люди». После того, как классовая борьба сведена к борьбе переживаний, Кранольд идет дальше и заявляет, что социализм не имеет никакого отношения к учению о классовой борьбе. «Наоборот,—говорит наш ханжа-филистер, нахватавший несколько слов у Маркса и Энгельса только потому, что на данной ступени развития рабочего движения нельзя быть социалистом, не пользуясь хотя бы «марксистской» фразой,—не рабочее движение, а чистая этика, идеализм составляет истинную сущность социализма. Социализм в своих последователях разжигает такое духовное пламя, которое по своему существу религиозно,—социализм религиозен» [2]). Открыв в социализме «религиозную сущность (Kern)» [3]), Кранольд захлебывается от восторга, когда цитирует... Зосиму из Достоевского. «То, что Зосима проповедует Ивану Карамазову, есть мировоззрение социализма» [4]).

«Антикатолического, нерелигиозного социализма вообще не существует,—читаем мы у другого социал-демократа.—Социализм

[1]) Он же, Die Persönlichkeit, S. 152.
[2]) Ibid, S. 242.
[3]) Zwang und Freiheit, S. 40.
[4]) Ibid. S. 94.

коренится в этической цели»[1]). Этого социал-демократа нисколько не смущает тот факт, что Маркс и Энгельс боролись против религии. «То, что Маркс и Энгельс относились,—говорит он,—к религии отрицательно, не меняет существа дела, потому что это было их личное дело, их «размежевание с идеализмом». Современный социализм вообще не является мировоззрением: исторический материализм есть только метод, пригодный для изучения истории. Вопросы о боге, о последних судьбах человеческого прошлого—лежат вне социализма[2]). Поэтому социализм «никогда и не цытался порвать все те нити, которые соединяют его со сверхчеловеческим и сверхмировым отношением к богу»[3]).

Новая программа австрийской с.-д. партии[4]), опубликованная в сентябре 1926 года, завершает и закрепляет в партийной программе капитуляцию социал-демократа перед жалким филистерским ханжеством. Социал-демократия, говорится в программе, «рассматривает религию, как частное дело каждого в отдельности. Социал-демократия, таким образом, не ведет борьбы против религии». Таким образом, программа еще раз подчеркивает, что современная социал-демократия стоит всецело на почве буржуазного мировоззрения: потому что пролетарская партия должна вскрыть классовый характер буржуазной «свободы совести», и ее истинное назначение в классовом обществе, как «свободы» религиозного одурманивания и закабаления «совести», т.-е. свободы проповедывать то, что выгодно буржуазии проповедывать.

Учением Маркса об историческом материализме социал-демократы, наоборот, пользуются для «научного» обоснования своего предательства. Спекулируя на трудностях развития рабочего движения, они указывают на «социально-экономические причины» преобладающей роли церкви в тех или иных областях Германии и спокойно продолжают думать, что они оправдали капитуляцию перед буржуазией своими «марксистскими анализами». Указывая, например, на преобладание в Бадене крестьянского, связанного с мелкими городами населения, и индустрии, связанной с деревней, с.-д. писатели, на страницах «Sozialist. Monatshefte», спокойно констатируют, что «если в этой местности церковь издавна имеет огромное влияние в общественной жизни, то само собою понятно, что социалистическое движение здесь ищет соприкосновения с церковным авторитетом. Совершенно так же обстоит дело в восточной Пруссии и в значительной части Швеции, где взаимное сближение церкви и социалистов не встречает никаких непреодолимых затруднений. «Поэтому надо пользоваться в этих местах имеющимися там возможностями» (т.-е. возможностями совместной работы с попами),—заключает автор![5]). Вот как рассуждают в наши дни социал-демократические филистеры, переступившие все границы в своем опошлении марксизма.

---

[1]) «Gesellschaft», Febr. 1925, S. 132; ст. G. Beyer'a. То же самое говорит Steinbüchel, S. 1, 4.
[2]) «Gesellschaft», Febr. 1925, S. 124.
[3]) Ibid., Juni 1926, S. 533.
[4]) О ней см. Н. Бухарин, «Коммунистический Интернационал», № 1, 1926 г.
[5]) «Sozialistische Monatshefte», 1926, S. 159.

В методе исторического материализма именно потому заключена суть революционного марксизма, что он требует не останавливаться на «об'ективной необходимости» религиозных организаций, на их «социальной обусловленности», но, разоблачая их роль в классовой борьбе, итти дальше, бороться против них, поднимать трудящихся на борьбу за свое освобождение, освобождать, — как говорил Ленин, — рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивать его для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь.

В своей идеологической капитуляции перед буржуазией социал-демократия лишь отображает ту политическую практику, которая делает ее оплотом буржуазного государства. Генрих Де-Ман, один из виднейших деятелей бельгийской социал-демократии[1]), в майской книжке гильфердинговского «Die Gesellschaft», с удовольствием констатирует, что вожди профессионального движения уже давно на основании собственного опыта выработали образ мысли, который с образом мысли марксового поколения не имеет никакой внутренней связи. Но также,—подчеркивает далее Де-Ман,—и в социал-демократической политике мы видим то же самое, с тех пор, как партия сделалась охранительницей демократически-республиканского строя, ради практических задач совершенно иного характера, чем задачи, носящиеся перед антигосударственным революционным марксизмом довоенного времени»[2]).

Вовсе не вредно для партии преодоление марксизма,—говорит Де-Ман, отвечая на робкие упреки своих товарищей по партии. Настоящее зло современной социал-демократии заключается, по мнению Генриха Де-Мана, именно в том, что она упорно придерживается лишь «кажущейся цельности теоретического мировоззрения, в то время как это не соответствует действительности»: она состоит из социалистов, которые нисколько не преуменьшают великого положительного значения Маркса, но отвергают его исторический материализм; далее,—продолжает Де-Ман,—она состоит из социалистов, которые соединяют в этическом принципе социализм с религией, наконец, состоит из этических пацифистов и т. д. Даже то «большинство», которое официально заявляет по традиции о своем согласии с марксистской теорией, прекрасно отдает себе отчет, что на самом деле массы равнодушны к теоретическим вопросам марксизма, что они ищут вместе с вождями новых живых импульсов, новой психологической почвы,—только этого боятся признать теоретики. Теоретики более не принимают всерьез философских, теоретико-экономических, диалектически-социальных предпосылок, установленных марксизмом, но они боятся признать те последствия, которые отсюда вытекают. Но ведь это же есть «отступление перед фактами»,—заявляет Де-Ман. «Теория принуждена обороняться,—но это самый верный признак того, что теория перестала оплодотворять практику»[3]). И далее Де-Ман остроумно издевается над теми социал-демократами, которые цепляются за марксизм, вопреки

---

[1]) Автор ренегатской книги: «Zur Psychologie des Marxismus», 1926, разобранной А. М. Деборины м, «Новый поход против марксизма», «Летописи Марксизма» 1926 г., кн. I.
[2]) «Gesellschaft», Mai 1926, S. 464.
[3]) «Gesellschaft», Mai 1926, S. 465.

своей политике, и примиряют марксизм с действительным положением вещей в партии «путем ослабления его характера, путем новых интерпретаций и критики текста Маркса, путем принижения и ослабления различия между марксистами и их противниками».

Де-Ман выразил то, что было общераспространенным среди социал-демократов, но, правда, смутным сознанием фактического состояния партии. Он лишь выразил вслух то, что молча всегда признавалось партией, что вошло в плоть и кровь ее политики, но не было названо своим именем, не было ясно признано. Социал-демократия,—говорит Де-Ман,—вовсе не придерживается одной теории более, чем другой. Мы принимаем всех, желающих и думающих социалистически, как сторонников, так и противников Маркса. Мировоззрение, как и религия, есть частное дело, и социализм, отвергающий исторический материализм Маркса, столь же имеет право на жизнь и внимание, как и всякий другой». И когда Де-Ман выбрасывает лозунг: «о т д е л е н и е п а р т и й н о й ц е р к в и о т п а р т и й н о г о г о с у д а р с т в а», то он выбрасывает идейное знамя той партии, которую иначе, как продуктом загнивания буржуазного общества, назвать нельзя.

Для того, чтобы социально-политический смысл этого вырождения был вполне ясен, мы остановимся коротко на отзывах самих к а п и т а л и с т о в о социал-демократии.

Лотар Эрдманн, редактор теоретического органа Всеобщего Об'единения Германских Профсоюзов, пишет в одной из программных статей следующее: «Является ли социализм, к которому примыкают в своих основных резолюциях профсоюзы, более высокой формой организации хозяйства, может быть только тем доказано, что хозяйство организуется как «социальный капитализм», устраняет более крупные прибыли и делиг их более целесообразно с хозяйственной и социальной точек зрения». А в ответ на эту откровенную замену социализма «социальным капитализмом», «Der Arbeitgeber», уже цитированный выше орган союза немецких промышленников, захлебываясь от восторга заявляет: «Нельзя не согласиться со словами Эрдмана с внутренним волнением: он разбивает в дребезги священные суеверия масс, сжигает их «религию». Никогда еще не попадалось нам на глаза более радикальной критики «марксизма». Следовательно, мы «буржуазные» критики все-таки правы в нашей борьбе против этой идеологии марксизма» [1]). Так отвечает современный германский промышленник на ответственные программные статьи центрального органа германских профсоюзов. «Капиталистический социализм», «марксистский капитализм» [2])—вот как характеризуют вожди германских профсоюзов лозунги текущего дня.

На страницах центрального органа германских предпринимателей «Der Arbeitgeber» прямо так и пишут, что социал-демократия постепенно убеждается в научной необоснованности марксизма и освобождается от него; она убеждается в том, что социализм и марксизм далеко не идентичны. Социал-демократы вместе с нами, капиталистами, приходят к выводу, что борьба за социализм есть борьба против материализма и за духовное освобождение человека [1]).

[1]) Цитирую по статье тов. Беккера: Unter dem Banner der Wirtschaftsdemokratie,—«Internationale», 1 August 1926.

[2]) Статью Herrbert Stock: Marxistische Kapitalismus,—«Deutsche Werksgemeinschaft», Brl., № 24, 1926.

Один из видных представителей католического социализма, А. Пипер (Pieper) в своей книге о «Капитализме и социализме» высказывает неудовольствие, что социал-демократы боятся открыто признать то, что является совершившимся фактом, «что, вопреки теоретической программе марксизма, обнаруживает их практика», т.-е.,—добавляет он,—«практика осуществления реформ совместно со всеми остальными группами населения» (читай: с попами) [2]).

Таких отзывов буржуазных писателей о теоретическом вырождении социал-демократов можно привести сколько угодно. Но еще ярче выступает во всей своей гнусной наготе падение социал-демократов, когда они сами открыто заявляют о с о ц и а л ь н о м и п о л и т и ч е с к о м значении религиозных течений в среде социал-демократии. Например, на страницах гильфердинговского журнала «Die Gesellschaft» мы находим уже цитированную выше восторженную статью некоего Георга Бейера [3]), который религиозное направление социал-демократов оправдывает необходимостью д е л о в о г о с о т р у д н и ч е с т в а с.-д. с партией центра в п о л и т и к е и х о з я й с т в е. Другими словами, с.-д. сближает с католиками отрицание классовой борьбы. Еще откровеннее говорит об этом с.-д. Кранольд в своей последней работе о «Насилии и свободе в социализме». «Социализм, — говорит он,—проповедует любовь к братьям, будут ли это предприниматели или даже наши угнетатели» [4]). «Те, кто разжигает классовую борьбу, вставляют палку в колеса творчеству социализма». Насилие не имеет никакого оправдания» [5]). Вот где, оказывается, жмет башмак: с.-д. не могут простить рабочим их революционности, их стремления сбросить с себя оковы материального и духовного рабства, не могут простить им их сознательности. Социал-демократы предают интересы рабочих, отрывая классовую борьбу во имя толстовского «непротивления злу» [6]). Еще за год до этого, в сборнике, посвященном 70-летию К. Каутского,—тот же Кранольд об'яснял сближение социализма и католицизма в области идеи «удивительно хорошо удавшейся совместной работой центра и с.-д. в правительствах последних лет» [7]). В июне 1926 г. на страницах с.-д. органа «Gesellschaft» повторяется та же мысль, еще в более откровенной форме: успех «практически-политического сотрудничества католиков и с.-д.» об'ясняется на этот раз тем, что... революция вошла благодаря с.-д. в русло демократического парламентаризма [8]).

В одной из своих статей тов. А. Лозовский писал недавно о копытах Вильямса. Надо полагать, что к этой же «породе» принадлежат и германские социал-демократы, скатившиеся к религиозному социализму.

Все вышесказанное оправдывает последующая эпоха—эпоха так называемой «рационализации промышленности». Рационали-

[1]) «Arbeitgeber», № 1, 1924, ст. M. J. Wolf.
[2]) A. P i e p e r, Kapital. u. Sozialismus, S. 80.
[3]) «Gesellschaft», 1925, № 2.
[4]) Zwang u. Freiheit, S. 166, 190.
[5]) Ib., S. 187.
[6]) Ib., cp. S. 187.
[7]) «Der Lebendige Marxismus», Jena 1924, S. 501.
[8]) «Gesellschaft», Juni 1926, S. 533.

зация производства, начавшаяся в конце 1925 года, свелась к рационализации капиталистической эксплоатации. «Преодоление кризиса» буржуазия перенесла на плечи рабочего класса. Капиталистическая рационализация имеет своими непосредственными следствиями увеличение безработицы, усиление эксплоатации рабочих, рост прибылей и снижение заработной платы. Буржуазия проводит такую рационализацию, прибегая к помощи всех видов идеологического воздействия на пролетариат. Например, некий Карл Шерер, на страницах издаваемого союзом германских промышленников журнала «Arbeitgeber», советует широко развернуть «психологическую пропаганду в прессе, в школе, в кино, в лекциях и т. д. за содействие рационализации хозяйства. «Все технические и организаторские приемы рационализации,—говорит он,—никогда не достигнут своей цели без солидарности со стороны рабочих» [1]).

Социал-демократия не отстает от капиталистов в применении этих же средств идеологического воздействия на пролетариат. В сентябре 1926 года член президиума союза предпринимателей Зильверберг в речи на общеимперском с'езде союза благодарит социал-демократов за «серьезное содействие в деле введения революционного движения рабочих и солдатских советов вновь в русло упорядоченного государственного управления», а Всеобщ. Об'единение Профсоюзов Германии устами своего председателя, Лейпарта, открыто заявило в ответ о готовности с.-д. «практического сотрудничества в правительстве». Социал-демократия захлебывается от восторга, указывая на успехи капиталистической рационализации. Она—целиком за капиталистическую рационализацию. Казенный оптимизм предпринимателей, пришедший на смену столь же официальному пессимизму 1918—1923 г.г., находит яркое выражение на страницах «Форвертса» [2]). Санирование капиталистического хозяйства Всеобщее Об'единение Германских Профсоюзов (АДГБ) принимает за важное условие улучшения положения рабочих [3]). Некий Курт Гейниг, один из литераторов Всеобщ. Об'единения, пишет в «Форвертсе», что хозяйственный и социальный кризис есть здоровый кризис, кризис очищения капиталистического хозяйства от неустойчивых и нездоровых элементов, и поэтому профсоюзы должны приветствовать его. Практические шаги, предпринятые профсоюзами с целью заключения «делового соглашения» о «сотрудничестве» с промышленниками, также хорошо известны. В феврале 1926 года «Фоссише Цейтунг» сожалела, что преждевременное опубликование в печати сведений о закулисных обещаниях Всеобщ. Об'един. Профсоюзов с германскими промышленниками создало трудности для продолжения этих совещаний [4]). На интернациональном конгрессе христианских профсоюзов (осенью 1925 г.) принимается резолюция об участии рабочих в установлении зарплаты и условий труда, дословно совпадающая с тем, что пишется из номера в номер на страницах официального органа германских профсоюзов «Arbeit» о «хозяйственной демократии»,—различие лишь в том, что резолюция христианских профсоюзов начинается фразой о

[1]) «Arbeitgeber», 1926, 30 Juni, ст. K. Scherer'a.
[2]) К. Heinig, см. «Arbeiterrat», № 4, 1926.
[3]) «Arbeiterrat», № 2, 1926, S. 16.
[4]) «Vossische Zeit.», 11—II—1926.

«божественных заповедях», а «Arbeit» еще употребляет слова, которые звучат социалистически. Теоретическое вырождение социал-демократии идет рука об руку с полигическим.

5.

К вопросу о социальном содержании современного оживления схоластики и интуитивизма.

Схоластически-мистическое направление в гуссерлианстве, интуитивная философия Шелера, социологические взгляды гуссерлианства, разработанные в школе Шелера, социальная философия Отмара, Шпанна, Шпенглера, Кайзерлинга, религиозно-социалистические теории католицизма, возврат этического социализма социал-демократов к религиозной морали—все эти идеологические формы современного буржуазного сознания имеют одну общую черту: признание мистической интуиции, как источника истинного знания, и борьба против науки, как источника ложного (или «мертвого») знания. Каждое из указанных направлений подлежит особому разбору: но уже теперь можно об'яснить то, что об'единяет, что общего лежит в их основе. Это есть идейное отражение того огромного, все растущего влияния, какое в последнее время приобрела в капиталистическом обществе и рабочем движении церковь. Рост клерикализма, в частности, рост роли и значения католицизма в классовой борьбе является той социальной и экономической почвой, которая создала изложенные выше философские учения, как настоящие продукты гниения буржуазной мысли. Мы не можем на этот раз подробно остановиться [1]) на том, к каким хитроумным организационным мерам прибегает церковь, чтобы за свои услуги выкачать побольше денег у своего хозяина-буржуа, как учреждаются особые институты «социальных пасторов», на обязанности которых лежит попросту говоря предупреждение забастовок, как заключаются «деловые» союзы официальными представителями церкви и капиталистов и т. д. и пр. Фактов превращения церкви в капиталистическую организацию можно привести поистине огромное множество, о чем красноречиво свидетельствует и ежегодная статистика. Все средства буржуазного господства—парламент, пресса, печать, партийный аппарат, дипломатия, школы—церковь великолепно использует, наполняя их своим содержанием.

Идеологически—этому соответствует прежде всего то отвращение, которое испытывает буржуа ко всему исторически-относительному, к текучести вещей, к неизбежности исторического процесса, который об'ективно мог быть лишь процессом упадка и краха капитализма. Перегруженная скепгицизмом и пессимизмом буржуазная психология требовала абсолютного. И не отрывая буржуа от его земных дел, принимая участие рука об руку с ним в ожесточенной классовой борьбе, это желанное абсолютное дала ему церковь. Там, где раньше звучали зловещие слова радиотелеграмм, прозвучало авторитетное слово божие. Вехами откладываемые традиции, застывшее сплетение вечных законов мысли», катехизис «правильного мышления». Логический

[1]) Подробный анализ роли церкви в современном рабочем движении дан в статьях тт. М. Рубинштейна «Церковь в рабочем движении», «Под Знам. Маркс.», № 4, за 1925 г., и Е. Ярославского «Религия на службе капитала», «Большевик», № 3—4, за 1925 г., к которым и отсылаю читателя.

скелет ненарушимых «заповедей»—это было достаточно «абсолютно»: уже одно сомнение в их истинности об'являлось грехом. Отсюда и социально-политические следствия.

Религиозный социализм выполняет в современном обществе ту же функцию, что и реформистская идеология социал-демократов. Он лишь создает отдушину для недовольства масс, критикуя, подобно социал-демократам, «дух» капитализма, эгоизм, материальное и этическое ростовщичество. Религиозные социалисты, как и социал-демократы, маскируют свою принадлежность буржуазии, свою материальную зависимость от нее, маскируют свое прислужничество буржуазии, взывая к возрождению духа, к «новой» этике. Они поддерживают так наз. «культурные привилегии» буржуазии, ее духовное господство в обществе, бичуя «некультурность» и «нищету духа» масс, подчеркивая классовую силу буржуазии и рисуя идиллии «братства и любви».

Научный коммунизм Маркса и Энгельса учит, что «люди всегда были и всегда будут, — как говорил Ленин, — глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов». Социал-демократы, скатывающиеся к религиозному социализму, принижают, притупляют, связывают сознание рабочих масс, сдерживают их сопротивление, когда, затушевывая решающую роль материальных факторов, они проклинают, критикуют капиталистическое общество с точки зрения «новой» морали. Реакционные католические попы, приспособляющие учение о небесном царстве к марксизму, и социал-демократы, прикрывающие свою наготу марксистской фразой, вполне сходятся на одной и той же роли, какую они играют в современном рабочем движении: они борются против революции, пользуясь революционной фразой. Социально-экономически и политически буржуазия не может удержать, укрепить своего положения, как положения господствующего класса, не прибегая к помощи социал-демократов, проводников буржуазного влияния на пролетариат. Идеологически—это означает необходимость сохранить марксизм, как силу, с которой нельзя не считаться на данном этапе рабочего движения, в которой надо искать союзника, которой надо льстить, лицемерить и к которой надо, может быть, даже приспособлять себя. В лучшем случае, когда она пробует преодолеть свою трусость и страх, буржуазная мысль говорит о «духовном» преодолении социализма, о его духовной нищете, не имея ни сил, ни ума для того, чтобы бороться против «материальных» причин об'ективно-неизбежного нарастания пролетарской революции. Но трусость и страх легче всего преодолеть в поэзии, а поэзия становится любимым занятием попов, т.-е. сводится к псалмопению. И католицизм, настолько преодолевает трусость и страх буржуазной мысли, что в торжественных и пошлых трактатах возвещает о завоевании марксизма. Марксизм вырос в могучую силу, когда им овладели рабочие массы в октябре 1917 года, он указал западному пролетариату выход из материального и духовного рабства, и, проверенный, подтвержденный, вымученный в суровой борьбе, он стал идейным знаменем борющегося пролетариата. И чем крепче, чем глубже развертывается процесс революционизирования, чем быстрее, чем успешнее проходит процесс очищения духовного оружия

пролетариата от всякой социал-демократической мерзости, тем крепче современный буржуа держится за религию, которая, в лице католического социализма, тем энергичнее продолжает свое дело—дело идейного растления пролетариата.

Только коммунисты являются подлинной революционной силой, партией революционного марксизма. Характерно, что среди шума, созданного сближением между католическим социализмом и социал-демократией, Карл Меннике, небезызвестный религиозный социалист и сотрудник «Sozialist. Monatshefte» должен был констатировать, что в дискуссии «католицизм—социализм» речь идет лишь о социал-демократах, так как «вообще коммунисты относятся резко отрицательно ко всяким компромиссам с религией» [1]).

Коммунисты говорят, что только история классовой борьбы может дать понять, каково назначение так называемых нравственных норм. Нравственные нормы создаются в процессе классовой борьбы. Мораль вырабатывается из потребностей общества, раздираемого классовыми противоречиями. С точки зрения буржуазной морали эксплоатация рабочих не только необходима, но и основана на нравственных нормах. Для пролетариата нравственна всякая борьба, ведущая к освобождению от капиталистической эксплоатации. «Этический социализм» социал-демократов совпадает с религиозным социализмом католических попов в своем прямом прислужничестве буржуазии, утверждая, что капитал и труд должны быть связаны нравственными нормами. Буржуазная мораль заинтересована в том, чтобы внести внутреннее разложение в ряды пролетариата, внести нерешительность и смятение, подорвать его революционную энергию, сделать его из протестующей, сопротивляющейся силы—примиренного со своим положением, бессильного, не способного вновь подняться на борьбу раба. Эту функцию морали в буржуазном обществе великолепно выполняют изложенные выше направления «философии жизни»: «философии» эти лишь отражают растущее социальное значение церкви для монополистического капитализма, все более крепнущую связь церкви с капиталистическими организациями, наконец, организационное перестроение церкви в капиталистическую организацию. Все разговоры о вечных законах нравственности маскируют ту материальную помощь, которую оказывают буржуазии проповедники навязываемой рабочим «духовной» морали. Пользуясь фразой о внеклассовом, общечеловеческом характере нравственных норм, современная филистерская мораль борется против классовой сознательности пролетариата.

Вот почему борьба против религиозного одурманивания рабочих, борьба против той пошлости, которую проповедуют изо дня в день в своих газетах и журналах социал-демократы, эта борьба есть борьба за об'единение пролетариата на «гранитной базе» революционной теории, это одна из форм, один из участков борьбы за единство рабочего класса, которую ведут братские партии Запада и без которой невозможна победа пролетариата.

---

[1]) «Sozialistische Monatshefte», 1926, S. 157.

Философия и юридическая теория [1]).

И. Разумовский.

I.

Вопрос об отношении философии к теории права, как известно, имеет за собой многовековую давность.

Занимая почетное место в философских системах прошлого, проблема «философии права» являлась в них важной составной частью общей этической проблемы. И как бы различно ни разрешали ее философы—право, как «естественная сила» (Спиноза), право, как внешнее бытие свободы (Кант), или право, как наличное бытие, самоосуществление свободы (Гегель),—но всюду в центре внимания мыслителей стоит свобода личности и ее отношение к законам природы и к человеческим установлениям.

Исторический характер, как самой постановки проблем философии права, так и способов их разрешения, совершенно несомненен: в самих принципах ее, в различных вариациях естественно-правовой доктрины мы имеем лишь абстрактное отражение отношений развивающегося товаропроизводящего общества, или, по меткому выражению Энгельса, «идеализированный рассудок среднего бюргера, в то время только начавшего развиваться в буржуа» [2]). Но именно потому философия права и могла иметь за собой неоспоримые исторические заслуги в деле подготовки буржуазной революции. Революционные лозунги буржуазии получили в этой теории «гражданского общества» наиболее соответствующую ее миросозерцанию формулировку.

Разумеется, ни на какое сравнение с этой великой исторической эпохой не могут итти те попытки философски-правового возрождения, которые с начала двадцатого столетия обнаруживаются в современной буржуазной философской и юридической литературе. Наиболее выдающиеся, последовательные и самостоятельные представители юридического «неокантианства»—Р. Штаммлер, Эм. Ласк, Г. Кельзен—не говоря уже об эклектиках меньшего калибра, типа много кричащего о себе Вильг. Зауэра или какого-нибудь Фел. Кауфмана,—все они не в состоянии уже ставить проблемы философии права так, как их ставили их великие предшественники, т.-е. как политические проблемы: крайне характерно общее им всем, за малыми исключениями, отрицательное отношение к «естественному праву», т.-е.

[1]) Статья представляет собой литературную обработку лекции, прочитанной аспирантам Института Советского Права 2 декабря 1926 г.

[2]) Анти-Дюринг, изд. 1924 г., стр. 289.

к политическим идеям и построениям, выходящим, по их мнению, «за пределы юриспруденции [1]).

Нет сомнения, что «в конечном счете» в современных философско-правовых абстракциях находят свое отдаленное отображение политические тенденции современного буржуазного общества. Однако было бы непростительной вульгаризацией марксизма всюду искать и выдвигать лишь социально-классовое содержание этих юридических понятий и считать излишней роскошью учет всех особенностей того философского метода, с помощью которого они конструируются. Напротив того: для марксиста-диалектика, внимательного к вопросам «формы», обнаружение методологических корней и методологических ошибок современной философии права может показаться более существенной задачей данного момента, чем одна теоретическая «борьба» с достаточно явными и без того и находящими себе отчетливое проявление во всех областях социальными тенденциями реакционной буржуазии! [2]).

Старая, классическая философия права—и в этом ее величайшее достоинство!—стремилась связать философию с общественной жизнью, дать философское обоснование социально-политическим устремлениям представляемого ею класса. Новая, современная философия права—и в этом сказывается ее очевиднейшее убожество—стремится отгородить юридическую науку от общественного содержания правовых понятий, философски обосновать догматизм и нормативизм буржуазной юриспруденции. Если для первой характерно подведение общего философски-методологического базиса под специальные юридические понятия, то последняя, наоборот, стремится отграничить от социально-исторического (или социологического) рассмотрения общественных явлений—рассмотрение формальное, специально-юридическую точку зрения. «Социальный априоризм» юридических форм или особый «смысл», вкладываемый в «идею права»,—таков незавидный арсенал, при помощи которого от общественных устремлений остается только «общество свободных в своих желаниях людей» (Штаммлер), или культурная «ценность» религии и морали и т. п.

Глашатаем этого философско-правового «возрождения» на русской почве в дореволюционные годы явился «Юридический Вестник», руководимый небезызвестным Борисом Кистяковским. Отмеченные Лениным нерешительность и половинчатость российской буржуазии, готовой то поддержать революцию, то предать ее,—эти колебания отразились и на философском содержании журнала. На ряду со случайными «естественно-правовыми» размышлениями П. И. Новгородцева и полемикой против психологической теории Петражицкого, самим Б. Кистяковским, Н. Алексеевым и др. велась неустанная пропаганда наиболее реакционных идей неокантианской школы. Так, например, марксизм обвинялся в механическом перенесении естественно-научного понятия «материи» в область социальной жизни и т. п. Неудивительно, что эти влияния нашли себе место и в наиболее

[1]) О различных направлениях современной философии права см. мою статью: «Возрождение философии права в немецкой юридической литературе». Сборник «Революция права», т. I, изд. Комм. Академии, 1925 г.

[2]) Для аналогии напомним подход Ленина к критике махизма, с одной стороны, и пресловутую «шулятиковщину», с другой.

серьезной из статей журнала, которая пыталась более или менее широко поставить вопрос об отношении философии к праву. Мы имеем в виду статью автора целого ряда работ по истории философской и политической мысли, проф. Е. В. Спекторского[1]).

Е. В. Спекторский начинает с того, что приветствует признаки колебаний в стане юридического догматизма, в области той юриспруденции, которая «признает государственную власть не только издательницей правовых норм, но также и их созидательницей». «Юриспруденцию повелений пытаются восполнить, если даже совсем не вытеснить или юриспруденцией справедливости или юриспруденцией социальных отношений» (стр. 60—61). Но в этих колебаниях Спекторский усматривает и печальную сторону: юриспруденция «иногда добровольно вступает на путь самоуничтожения». «Как в теоретическую, так и в практическую юриспруденцию все чаще и чаще вводятся понятия, не только чужеродные, но и враждебные ей». Создается «поразительный синкретизм, смешение всевозможных принципов в юриспруденции». Ставится гамлетовский вопрос: «быть или не быть юриспруденции, не превратиться ли ей не то в психологию, не то в социологию, не то в антропологию». Чтобы разобраться в этой путанице понятий, Спекторский предлагает «подняться над современной юриспруденцией на известную философскую высоту». Он приглашает философов заняться детальнее юриспруденцией, а юристов преодолеть свое невнимательное отношение к философии, тем более, что и мелкая работа юристов построена, бессознательно для них самих, на философских предпосылках. «В деятельности суда есть и этика, и метафизика, и даже теория познания,—словом, вся философия». Юрист «при свете философии лучше поймет и юриспруденцию» (стр. 62—63).

Последнее справедливое замечание Е. В. Спекторского должно, как-будто, внушить нам лучшие перспективы по поводу дальнейшего развития его точки зрения на взаимоотношения философии и юридической теории. Но наши надежды оказываются тщетными. На долю философии проф. Спекторский отводит три проблемы: проблему практической или нравственной философии, проблему теоретической или метафизической философии и, наконец (!), проблему гносеологии или теории познания. Юриспруденция, оказывается, «прикосновенна к философии постольку, поскольку и ей приходится решать вопросы этики, метафизики и теории познания». Чтобы доказать это положение, автор начинает с вопросов этики. С его точки зрения, «и право и нравственность в тесном и специальном смысле, при всем их различии, неизбежно об'единены особым этическим отношением к людям и их деяниям и сообразно с этим соподчинены моральному жизнепониманию» (стр. 65). А это последнее основано «на убеждении в свободе человеческой воли» и «на убеждении в об'ективном существовании нормы должного, критерия добра и зла»... Эти две по меньшей мере

[1]) Е. В. Спекторский, Юриспруденция и философия,—«Юрид. Вестник» № 2, 1913 г. Хотя Спекторский известен своими малоудачными попытками «критики» естественно-научных воззрений Канта, это обстоятельство разумеется, нисколько не мешает ему оставаться кантианцем чистейшей воды в вопросах социальной теории.

предпосылки составляют, согласно проф. Спекторскому, «теорию этического познания». Все изложенное не означает, конечно, что Е. Спекторский не признает «онтологического, причинного детерминизма»; но такое рассмотрение явлений, с его точки зрения, будет уже «физическим» или «психическим», а не «моральным» рассмотрением. Понятие преступления, осуждения, притязания и т. д. мыслимы только по отношению к норме должного, а не к норме эмпирически сущего; эти понятия применимы не просто к людям, но к моральным «суб'ектам».

Правда, проф. Спекторский признает, что существует тенденция растворить «деонтологию права в его социологической онтологии»: тем более, что правовые институты, несомненно, отражают характерные черты общественного строя. Но дело в том, что, согласно нашему автору, в приложении к правовым явлениям речь может итти лишь о «моральной социологии»: такие правовые отношения, как собственность или брак, «это ведь не физические отношения», «это—чисто моральные отношения между лицами». Говорят, «без общества нет права»; но «и без права, вероятно, нет общества». Общество, стало быть, мыслится не как физический агтрегат, а как «известный моральный союз»; в противном случае, замечает Спекторский, можно было бы говорить об общественных отношениях между химическими атомами или между планетами. Юриспруденция перестает быть юриспруденцией, когда желает стать социологией в смысле той социальной физики, социальной механики, каковой, по мнению Спекторского, например, является экономика. Для юриспруденции, говорит он, рабочий—моральное лицо, для экономики—это просто одушевленный инструмент. Вместо названия юридических наук науками о духе, о культуре, о ценности и т. д. Спекторский поэтому предпочитает термин «моральные науки».

Изложивши все эти «веские» соображения в пользу связи юриспруденции с моральной философией, проф. Спекторский переходит к другой философской проблеме—к метафизике. Хотя сам он не может дать этой части философии должного определения, но соглашается с тем, что определение ее как учения о бытии «не лишено меткости». Известно, что бытие для кантианцев—вещь доступная не познанию, но лишь вере. «Так как бытие, как таковое, неизбежно предполагает веру в него, то методология метафизики—это методология веры, в отличие от методологии науки». Мир метафизики, с об'ективной стороны, это «мир бытия предметов, выходящих за пределы научного опыта» (стр. 79). Проф. Спекторский находит, что и юриспруденция занимается предметами, выходящими за пределы опыта, поскольку мир права надстраивается «над эмпирической действительностью». Юридические презумпции, конструкции, юридические фикции—таков материал «метафизики юриспруденции».

Наконец, остается еще третья проблема—гносеологическая. Казалось бы, что эта проблема с ее «почти безнадежной диалектикой познающего суб'екта и познаваемого об'екта» далека от реалистической юриспруденции. Однако не так: «главный вопрос теории юридического познания—это вопрос о реальности того специального мира, с которым имеет дело юриспруденция», т.-е. мира моральных долженствований. Проф. Спекторский входит в обстоятельную критику психологической теории Петра-

жицкого и социологической теории «солидаристов»: критикует он их потому, что первая теория, по его мнению, заменяет моральное познание психическим познанием, вторая—познанием физическим. В доказательство реальности сверхэмпирического юридического мира, Спекторский ссылается на реальность логических истин, на реальность имевшей место истории, хотя сейчас от нее «ничего не осталось, кроме исписанной бумаги». «Реальность юридической нормы в том, что она действует», говорит он; нормы действуют, это нужно понимать не в смысле wirken, но в смысле gelten, т.-е. в том смысле, что эти нормы имеют значение. Самая реальность их поэтому не есть какая-либо физическая и не психическая, но «моральная реальность»!

Таково содержание и таковы выводы статьи проф. Спекторского. И это все?—может спросить читатель-марксист. Да, к сожалению, все. И если почтенный профессор оказывается не в состоянии дать хотя бы правильную постановку вопроса о сущности и задачах философии, так что же прикажете делать? В этом основной грех всей современной буржуазной теории, слишком легко отдающей свое великое классическое философское наследие за убогую, нищенскую похлебку «моральной действительности»!

II [1]).

Точка зрения марксизма на взаимоотношения философии и юридической теории может быть уяснена надлежащим образом, лишь когда мы имеем отчетливое представление как о предмете философии вообще, так и о роли и специальных задачах ее в общественном познании.

Впрочем, ведь самое право философии марксизма на существование оспаривается сейчас «практиками» и эмпириками, склонными отождествлять диалектический материализм с «выводами современной науки». Одним из наиболее часто приводимых доводов являются знаменитые слова Энгельса о том, что «философии, в старом смысле слова, приходит конец», что диалектический материализм «не нуждается больше ни в какой стоящей над прочими науками философии» [2]). Ссылаются также на слова Ленина, в его критике Струве, что «философия не имеет никакого права на самостоятельное существование, и ее материал распадается между разными отраслями положительной науки» [3]). В нашей литературе уже делались более или менее обстоятельные попытки осветить этот вопрос и раз'яснить, о какой философии идет в данном случае речь у Энгельса и Ленина. И нужно заметить, что, только при крайне невнимательном и несерьезном отношении к изучению работ наших великих учителей, можно пытаться «открывать» в них противоречия между более ранними и более поздними высказываниями и находить в них вообще какой бы то ни было отказ от марксистской философии.

[1]) От редакции. Трактовку в статье отношения исторического материализма к социологии редакция считает дискуссионной.
[2]) Ф. Энгельс, «Людвиг Фейербах» и «Анти-Дюринг».
[3]) Н. Ленин, Собр. соч., т. II, стр. 80.

Мы ограничиваемся здесь поэтому лишь напоминанием наиболее существенных и представляющих интерес для развития нашей темы моментов. Какую философию «в старом смысле слова» имеет в виду Энгельс, он прекрасно раз'ясняет в сопроводительном контексте. Речь идет о философии «систем», устраняющей разнавсегда все загадки и противоречия, преподносящей миру непосвященных, по словам Маркса в его письме к Руге, «жареных голубей абсолютного знания». Замена действительной связи явлений «идеальной, фантастической связью», «недостающих фактов вымыслами»—главная характерная черта старой натурфилософии, несмотря на отдельные ее гениальные предвосхищения. «Подобно философии природы,—говорит Энгельс,—философия истории, права, религии и т. д. состояла в том, что место действительной связи явлений, обнаруживаемой самими явлениями, занимала связь, измышленная философами». Философия... «выдавала себя за некую науку, парящую над всеми отраслями знания и связывающую их воедино...» [1]). Такая «самостоятельная философия»,—т.-е. не опирающаяся на изучение конкретного материала, с ее абстрактными схемами «общей связи вещей»,—она теряет всякий raison d'être по мере проникновения диалектико-материалистического мировоззрения в отдельные науки о природе и обществе [2]). «Теперь задача заключается не в том, чтобы придумывать связь, существующую между явлениями, а в том, чтобы открывать ее в самих явлениях» [3]). «Раз каждой отдельной науке пред'является требование выяснить свое положение в общей связи вещей и в познании вещей, то всякая особая наука об этой общей связи становится излишней» [4]).

Вот в каком смысле «отменяется» («снимается») старая философия в марксизме! Она упраздняется как «особая», «самостоятельная», т.-е. независимая от изучения вещей наука о всеобщей связи этих вещей, по мере того, как в отдельных частях прежней «системы» абстрактное развитие понятий, чисто философское их «обоснование», сменяется приложением философских предпосылок к конкретному материалу данной области познания, т.-е. в процессе проникновения материалистического мировоззрения в область каждой отдельной науки. По отношению к отдельным областям научного познания это значит, что теряет смысл всякая опирающаяся на вымысел философия природы на ряду с усвоившей себе принципы и категории диалектики методологией естествознания, всякая философия истории, стоящая в виде предпосылаемой исторической схемы над действительной историей, всякая особая философия права кантовского или гегелевского типа, поскольку диалектико-материалистической становится сама наука о праве. Что же остается в таком случае на долю самой философии? Очень, как-будто, немногое, но зато весьма существенное: «от прежней философии,—говорит Энгельс,—остается тогда в качестве самостоятельной науки только учение о мышлении и его законах—формальная

[1]) Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах.
[2]) Архив Маркса и Энгельса, т. I, стр. 216.
[3]) Курсив Энгельса, «Людвиг Фейербах».
[4]) Анти-Дюринг, изд. 1924 г., стр. 159.

логика и диалектика» [1]). Или в другом месте: «за философией, изгнанной из природы и истории, остается, поскольку остается, лишь область чистой мысли: учение о законах процесса мышления, логика и диалектика» [2]).

В этих кратких формулировках Энгельс указывает, во-первых, самый предмет философии, как особой отрасли знания, в ее понимании марксизмом, во-вторых, специфические отличия философии от прочих, специальных наук. Эти особенности философии создаются уже существом самого ее предмета, «учения о мышлении и его законах». Законы и категории диалектического мышления, рассматриваемые философией, для Маркса и Энгельса отнюдь не самоцель; они служат средством, орудием познания и изучения законов природы и общества, получая в своем приложении свое дальнейшее рассмотрение и развитие (отсюда формулировка Энгельса: за философией остается, поскольку остается...). Философское мировоззрение, указывает в другом месте Энгельс, должно «проявить свою деятельность» в реальных науках, оно должно не только находить в них свое подтверждение, но в то же время составлять логические предпосылки каждой отдельной науки. Или, как говорит об этом Энгельс в предисловии к «Анти-Дюрингу», к диалектическому воззрению на природу «можно притти, будучи вынужденным к этому накопляющимся фактическим материалом естествознания; но его можно легче достигнуть, если навстречу диалектическому характеру естественно-научных фактов нести понимание законов диалектического мышления». Естествознание «облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых суммируются данные его опыта, суть понятия и что искусство оперировать с понятиями не есть что-либо врожденное человеку и не дается обыденным повседневным сознанием, а требует действительной работы мысли, которая тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю...» [3]). Отсюда вытекает важность истории философии не только для самой философии, но и для оперирующих с ее понятиями «реальных» наук о природе и обществе!

Таким образом, не «самостоятельная», «особая» наука о всеобщей связи вещей, но философия, как логические принципы наук о природе и обществе, получающие в этих науках свое специфическое преломление; понятия, категории философии, как понятия, находящие свое конкретное применение и подтверждение,—короче говоря, философия не только как миросозерцание, но и как его приложение, как имеющая наиболее общий характер методология познания, получающая свою конкретизацию в специальных методах отдельных наук, такова постановка вопроса о философии у Энгельса. В этом именно смысле философия «снята», т.-е. «одновременно преодолена и сохранена, преодолена по форме, сохранена по своему действительному содержанию» [4]).

[1]) Там же, стр. 34.
[2]) Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах.
[3]) Ф. Энгельс, Предисловие к «Анти-Дюрингу».
[4]) Анти-Дюринг, стр. 159.

И с такой точкой зрения вполне совпадают взгляды на философию Ленина, начиная с наиболее ранних его высказываний. Ленин в своей критике Струве отрицает за философией право на «отдельное самостоятельное существование» не в том смысле, чтобы он отрицал существование и необходимость разработки философских предпосылок марксизма (об этих предпосылках он говорит тут же сам). Но он решительно выступает против того абстрактного «чисто-философского» обоснования в духе Струве, которое должно «справиться» с конкретным материалом всемирной истории. Философское обоснование Ленин мыслит себе поэтому лишь или как «сопоставление посылок ее (философии. *И. Р.*) с твердо установленными законами других наук», например, психологии, или как «опыт применения этой теории», например, пересмотр фактов русской истории с точки зрения материалистического метода в социологии [1]). Таким образом, не философию, как науку и как методологию познания, отрицает здесь Ленин, но лишь ту, претендующую на совершенно независимое, «самостоятельное» существование, «чистую» философию, абстрагирующуюся от конкретного материала и потом пытающуюся с ним «справиться», которую отвергали и Маркс, и Энгельс.

Неудивительно, что при таком взгляде на роль и задачи философии важнейшую заслугу Маркса и Энгельса Ленин видит в том именно, что они обратили внимание «на достраивание здания материалистической философии доверху», на применение его к истории, к изучению общественной жизни [2]). Материалистическое понимание истории для Ленина это—«последовательное продолжение, распространение материализма на область общественных явлений» [3]). «Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел его до конца, распространил его познание природы на познание человеческого общества»: и потому «философия Маркса есть законченный философский материализм...» [4]). Но, следуя приведенным словам Ленина, мы переходим уже к взаимоотношениям, которые имеют место между философией и социологией марксизма.

Известно, что вопрос о самой возможности и о праве на существование марксистской социологии вызывает сейчас еще больше сомнений, чем вопрос о марксистской философии. Серьезные и видимо обоснованные сомнения в возможности социологии марксизма выражают зачастую авторы, которых ни в коем случае нельзя было бы заподозрить в беззаботности по части теории. Марксизм, говорят они, не терпит никаких абстрактных схем, никаких надисторических теорий в деле общественного познания. В развитии общества нет никаких круговоротов, не может быть одинаковых явлений на разных ступенях общественного развития и не может быть установлено никаких абстрактных законов общественного процесса. Применение методологических принципов к конкретной общественной действительности—вот что характерно для марксистской диалектики и что делает поэтому не-

[1]) Ленин, Собр. соч., т. II, стр. 80.
[2]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм.
[3]) Ленин, Карл Маркс.
[4]) Ленин, Три источника и три составные части марксизма.

нужной для нее какую бы то ни было, чуждую конкретной действительности «социологию». Все эти соображения, несомненно, справедливы. И, тем не менее, мы читаем у Ленина:

«Уже сама по себе эта идея материализма в социологии была гениальная идея... Эта гипотеза впервые возвела социологию на степень науки... Материализм дал вполне об'ективный критерий, выделив «производственные отношения», как структуру общества и дав возможность применить к этим отношениям тот общенаучный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали суб'ективисты»... «Потому еще эта гипотеза впервые создала возможность «научной» социологии, что только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом»... «Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический аггрегат индивидов... и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации»... «Теперь со времени появления «Капитала» материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение»[1])... В другом месте Ленин развивает указанные мысли: «г. Струве совершенно прав, указывая, что теория классовой борьбы довершает, так сказать, общее стремление социологии сводить «элементы индивидуальности к социальным источникам». Мало этого: теория классовой борьбы впервые проводит это стремление с такой полнотой и последовательностью, что возводит социологию на степень науки. Достигнуто это было материалистическим определением понятий «группы»... Во-первых, эта теория выработала понятие общественно-экономической формации. Этой теорией был применен к социальной науке тот об'ективный, общенаучный критерий повторяемости, возможность применения которого к социологии отрицали суб'ективисты... На место рассуждений суб'ективистов об «обществе» вообще было поставлено исследование определенных форм общества... Во-вторых, действия «живых личностей» в пределах каждой такой общественно-экономической формации... были обобщены и сведены к действиям группы личностей... к действиям классов, борьба которых определяла развитие общества»[2]).

Приходится ограничиться приведением здесь в самом сокращенном виде этих, не потерявших и по сей день своей ценности, соображений Ленина[3]). Но интересно, что они целиком совпадают с точкой зрения по данному вопросу Г. В. Плеханова. Вот что, например, говорит последний в своих «Основных вопросах»:

«Исторический материализм, не переставая указывать на то, что обстоятельства изменяются людьми, в то же время впервые дает нам возможность взглянуть на процесс этого изменения с точки зрения науки. И вот почему мы имеем

[1]) Ленин, Что такое «друзья народа?»—Собр. соч., т. I, стр. 70, 71, 73.
[2]) Ленин, Экономическое содержание народничества,—Собр.соч., т. II, стр. 73, 74.
[3]) Что употребление термина «социология» характерно не только для этого раннего этапа теоретического развития Ленина, легко убедиться из соответствующих мест в «Материал. и эмпириокритицизме»

полное право сказать, что материалистическое понимание истории дает необходимые пролегомены для всякого такого учения об обществе, которое захочет выступить, как наука»... «Социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей удается понять возникновение целей у общественного человека (общественную «телеологию») как необходимое следствие общественного процесса, обусловливаемого в последнем счете ходом экономического развития. И очень характерно то обстоятельство, что последовательные противники материалистического об'яснения истории видят себя вынужденными доказывать невозможность социологии, как науки» (курсив Плеханова) [1]).

Таким образом и Ленин, и Плеханов не только не отрицают возможности марксистской социологии, как науки, но, напротив того, считают, что именно исторический материализм возводит социологию на степень науки. И, разумеется, делают это они не потому, что признают существование каких-то абстрактных законов общественного развития. Абстрактная теория исторического процесса, согласно которой первобытный коммунизм обязательно должен переходить в феодализм, а феодализм способен развиться только в капитализм и т. п., та теория общественного развития, которую преподносили в свое время общеизвестные «политико-экономические» работы А. А. Богданова, разумеется, ничего общего не имеет с конкретным, диалектическим анализом общественной жизни. Скорее она напоминает историко-философскую «отмычку», над которыми в свое время издевался Маркс в письме в редакцию «Отечественных Записок». Ошибочно было бы также, по отношению к явлениям различных исторических периодов общественной жизни, отмечать их повторяемость в формах «заметной правильности», «закономерности», так, как это делает, например, Л. И. Аксельрод в своих суждениях об общественных революциях, искусстве и т. п.[2]). Стоя на точке зрения абстракции, вообще легко прийти к тому «социал-демократическому» пониманию исторического процесса, согласно которому отсталые экономически страны обязательно должны на пути к социализму пройти через капиталистический «котел», пролетарские революции, как и буржуазные революции, обязательно должны заканчиваться своими «термидорами» и своими «Наполеонами» и т. д. и т. п.

Но такое отрицание революционным марксизмом абстрактного понимания общественного развития и схем в духе «ricorsi» старого Дж. Вико отнюдь не означает, что к общественной жизни вовсе не должен применяться общенаучный критерий повторяемости (Ленин). Повторения эти и создают понятие «класса», «общественной формации» и др. специфические категории социального познания. Никогда и ни в какой области научного иссле-

[1]) Г. В. Плеханов, Основные вопросы марксизма. Ср. там же: «Чего же мы можем требовать в данный момент от социологии? Об'яснения того, почему, стремясь к удовлетворению своих потребностей... люди вступают иногда в одни, а иногда в совершенно иные взаимные отношения. И это обстоятельство социология—в лице Маркса—об'ясняет состоянием их производительных сил» и т. д. Ср. в другом месте: «Задача социологии, как науки, заключается в том, чтобы понять, как следствие... волю общественного человека», и т. д. (Плеханов, Соч., т. VIII, стр. 206).
[2]) Л. Аксельрод, Критика основ буржуазного обществоведения, 1925 г., стр. 9—11.

дования мы не имеем полного, совершенного повторения явлений, не имеем их, разумеется, и в исторической жизни человека, даже в пределах одной какой-либо общественной формации. И, тем не менее, мы вовсе не отрицаем существование исторических законов,—законов особых для каждой общественной формации и законов перехода ее в другую общественную формацию,—не отрицаем их так, как это делают неокантианцы типа Риккерта и Виндельбанда. Марксистская теория исторического процесса гарантирована от всяких абстрактных схем общественного развития уже тем, что вместо рассуждений «об обществе вообще» она начинает с анализа определенной общественной формации, именно с товарно-капиталистической общественной формации,—общества, в котором получают наивысшее развитие и общественные классы, и частная собственность, и др. социальные категории. Только изучив законы этой общественной формации, можно прийти к некоторым суждениям об обществе «вообще» и затем перейти к сравнительному изучению других общественных формаций. При чем эти последние должны рассматриваться с точки зрения развития в них в первую очередь тех именно социальных категорий, которые уже обнаружены и изучены в пределах капиталистической общественной формации. Стремиться же дать до такого конкретного изучения общественной жизни схему всемирной истории, это, конечно, значило бы хотеть, «чтобы дело началось с конца, т.-е. чтобы об'яснен был предварительно с материалистической точки зрения исторический процесс, который собственно и подлежит об'яснению» [1]).

Таким образом, самое конкретное изучение общественных явлений не только не исключает, но порою может даже требовать абстрактного анализа определенных общественных формаций (напр., марксов анализ капитализма) и установления таким путем особых законов их развития. Наше изучение общественной жизни не перестает быть конкретным даже в процессе наших обобщений, но при одном условии: если только форма нашего анализа и характер устанавливаемых закономерностей изменяются в зависимости от самого предмета исследования, в зависимости от того, какую общественную формацию мы подвергаемся исследованию и изучению. При соблюдении этого условия, при таком понимании социологии марксизма, она, не обращаясь в надисторическую схему, не перестает, вместе с тем, быть теорией исторического процесса, теорией научного коммунизма: если только коммунизм мыслится как «реальное движение, уничтожающее теперешнее состояние» (Маркс), если социологические категории—классы, государство и т. д.—рассматриваются не статически, но динамически, диалектически—в процессе их исторического «становления»...

Социология марксизма, в ее понимании Лениным, и Плехановым, таким образом, бесконечно далека от абстрактных и бессодержательных «социологических» законов и схем Конта, Спенсера, Тарда, Зиммеля, Дюркгейма и др. столпов современной буржуазной социологии. Не от них ведет свое происхождение

[1]) Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма. Ср. «Введение критике полит. экономии» Маркса и «Что такое „друзья народа" Ленина.

подлинная наука об обществе: она ведет свое происхождение от гениального Сен-Симона, от Гегеля (вспомнить хотя бы его понятие «гражданского общества»), от их более ранних предшественников в классической политической экономии и в «философии истории». В этом смысле исторический материализм, согласно Ленину, довершает общие стремления социальной науки, устанавливая подлинно-научные формы сведения «индивидуального» к «социальному». Установление этих научных форм социального обобщения и познания возводит марксову теорию классовой борьбы и развития общественных формаций на степень науки, или, как выражается Плеханов, оно превращает ее в «необходимые пролегомены для всякого такого учения об обществе, которое захочет выступить как наука». Старая «философия истории», таким образом, «снимается» историческим материализмом в своей прежней форме, надисторической конструкции, но «сохраняется» и развивается в наиболее ценных элементах своего «действительного содержания»,—в специфических формах социального познания [1]).

Здесь мы имеем уже ответ на тот вопрос, который по отношению к социологии марксизма мы должны поставить точно таким же образом, как делали это по отношению к его философии: каков же предмет этой науки и каково отношение ее и к общим методологическим принципам марксизма и к другим, специальным общественным наукам? Если отказаться от всяких всемирно-исторических конструкций старой «философии истории», то на долю социологии все же остается, поскольку остается, нечто весьма существенное: учение об основных категориях и формах социального познания. Сюда входят, как указывает Ленин, прежде всего, самая теория классовой борьбы и тесно связанное с ней учение об общественно-экономических формациях. Сюда входит далее—и это относится уже не только к классовому обществу—об'яснение общественной «телеологии» из общественного процесса (Плеханов), или, как это более обще формулирует в другом месте Ленин, выяснение взаимоотношений между общественным содержанием и его политическими, идеологическими и т. д. формами [2]).

Разумеется, эти категории и формы общественного познания менее всего являются какими-либо «самодовлеющими» или «абсолютными» категориями и формами: представляя собой, в конечном счете, специфическое приложение общего «учения о законах мышления», они еще в большей степени, чем наши логические категории, носят исторический характер. Несомненно также, что понимаемая таким образом социология совпадает с тем, что обычно называют материалистическим пониманием истории или историческим материализмом. Совершенно нелепо было бы почему-либо отказываться от этих утвердившихся в марксистской традиции обозначений, равно как нелепо было бы проводить какие-либо резкие пограничные линии между пони-

[1]) Ср. у Ленина: позитивизм и махизм, подделываясь под материализм, «мало сравнительно обращали внимания на философию истории» («Материализм и эмпириокритицизм», 1920, стр. 337). У Плеханова: «Маркс опрокинул идеалистическое понимание истории... Его философия истории тоже монистична, но в смысле, диаметрально противоположном гегелевскому» (Очерки по истории материализма, 1922, стр. 134).

[2]) Ленин, Экономическое содержание народничества.

маемой таким образом социологией и историей. Еще Маркс говорил, что мы знаем в сущности только одну науку—историю: историю природы и историю человеческого общества. Но выражение «история» само по себе еще недостаточно для уяснения отдельных сторон исторического, общественного познания: для различения, напр., как его теоретических предпосылок, так и необходимого описательного (идеографического) момента всякого исторического исследования. Говоря о социологии марксизма, Ленин и Плеханов имеют в виду отнюдь не какую-либо «замену» материалистического понимания истории этим новым термином: они обозначают им лишь общие теоретические предпосылки, учение о категориях и формах социального познания, которое является «пролегоменами» всякого подлинно-научного, конкретно-исторического изучения и каждый раз получает в нем свое новое подтверждение [1]). Точно так же, как говоря о философии марксизма, они отнюдь не «заменяют» ею диалектического материализма!

Но этим самым определяется и отношение социологии марксизма к его философии. Ленин в своем биографическом очерке о Марксе говорит, что Маркс уделял неослабное внимание «вопросам тактики классовой борьбы пролетариата... Без этой (курсив Ленина. *И. Р.*) стороны материализма Маркс справедливо считал его половинчатым, односторонним, мертвенным. Основную задачу тактики пролетариата Маркс справедливо определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания. Лишь об'ективный учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а следовательно, и учет об'ективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и другими обществами может служить опорой правильной тактики передового класса» [2]).

То же самое имеет в виду Ленин, когда говорит о «достраивании доверху» здания материалистической философии, о «законченном материализме» Маркса и Энгельса. Материалистическое понимание истории—для Ленина—необходимая составная часть его диалектико-материалистического миросозерцания, социология марксизма—необходимая «сторона» материализма, необходимое «продолжение» его философии. Еще более отчетливо выражает эту мысль в одном месте сам Ленин, говоря о «современном ревизионизме и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще, как в гносеологии, так и в социологии» [3]).

Ленин обобщает здесь в понятии философии и теорию познания, и социологию марксизма, хотя в то же время он видит в социологии «распространение» на особую область общественных явлений общего «учения о законах мышления»: а эти

[1]) «Но кроме истории (в широком смысле) есть еще социология, которая занимается «общим» в такой же мере, как и естествознание. История становится наукой лишь постольку, поскольку ей удается об'яснить изображаемые ею процессы с точки зрения социологии. Поэтому она относится к социологии совершенно так же, как геология относится к «обобщающему» естествознанию» (Г. В. Плеханов, Соч., т. XVII, стр. 193).

[2]) Ленин, Карл Маркс.

[3]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 337.

последние могут найти себе применение как в диалектике природы, так и в диалектике истории. В этом отношении диалектический материализм следует традициям классической философии, которая в качестве завершения «системы» обычно имела философию истории. Существенное различие, однако, в том, что «философия истории» марксизма создается не в процессе логического развития системы, но в результате специфического приложения диалектических категорий к историческому материалу. Социология марксизма есть его социальная философия [1]): это не область, отличная от философии марксизма вообще, но лишь одна из двух наиболее общих форм специфического приложения тех же философских предпосылок, а тем самым и одна из важнейших форм их дальнейшего развития.

Но, определяя предмет марксистской социологии, мы указали, что учение о категориях и формах социального познания остается на ее долю, поскольку остается... Точно так же, как и в философии, мы хотим этим сказать, что общие социологические понятия уже по самому своему существу становятся предметом рассмотрения не только социологии, но и специальных общественных наук, получая в них дальнейшее, еще более специфическое развитие. Говоря о социологии, нельзя ограничиваться поэтому установлением ее предмета: нужно выяснить вопрос о методологическом значении социологии марксизма, вопрос о формах приложения общих социологических категорий к специальным общественным наукам, в частности и к юридической теории.

III.

Философы права, стоящие на кантианской точке зрения, типа Е. Спекторского, Н. Алексеева и т. д., как мы указывали, уже потому не могут правильно осветить вопрос об отношении философии к праву, что они имеют ошибочное или недостаточно отчетливое представление как о самом особом предмете философии, так и об ее общем методологическом значении. Но с этим тесно связано также в ошибочное представление неокантианских теоретиков о роли социологии, как науки, и о различии социологической и юридической точек зрения.

Мы познакомились уже с «моральной социологией» Е. Спекторского. Чтобы, однако, не цитировать по этому последнему вопросу слишком многочисленных представителей современной философии права, обратимся к одному из источников неокантианского вдохновения,—по крайней мере, для таких крупных «китов» новейшей юридической теории, как, напр., Г. Кельзен,—к «самому» Максу Веберу. Разделяя во многом воззрения Риккерта, М. Вебер видит предмет своей, как он выражается, «осмысливающей» (verstehende) социологии в человеческих сознательных действиях: «действовать» для него—это значит «иметь отношение к об'ектам, отношение специфическое по своему, более или менее заметному, действительно «имевшему место» или только «предположенному» (суб'ективному) смыслу». «Осмысливание»

[1]) Ср. Г. В. Плеханов, Предисловие к Коммунистическому Манифесту, т. XI, стр. 276, 277, 300.

явлений ничего общего не имеет с причинным их обоснованием. Действия, не подходящие под данное правило, мыслятся Вебером, как «условия» или как «следствия» осмысленных, осознанных действий. Явления социальной жизни, с этой социологической точки зрения, рассматриваются лишь, как явления с точки зрения единичных участников [1]). Легко заметить, как близко напоминает такое понимание «общественного бытия» построения А. А. Богданова, согласно которому общественное бытие совпадает с общественным сознанием. При таком идеалистическом понимании задач социологии, понятия «государства», «общества» и т. д. могут «социологически» рассматриваться, лишь будучи сведены к осмысленному, осознанному действию, к действиям, в конечном счете, единичных людей.

От этой «социологической» точки зрения Вебер отличает юридическую точку зрения. «Юриспруденция, например, рассматривает при известных условиях государство так же, как единичного человека как «правовую личность»... Социология же, напротив, рассматривает «право» как об'ект, имеет дело не с логически правильным, «об'ективным» смысловым содержанием правовых положений, но с действиями, в качестве определителей и результатов которых играют значительную роль, между прочим, представления людей о «смысле» и «значении» определенных правовых положений». Значение этих представлений в том, что «действия могут быть рационально ориентированы на определенные ожидания, что дает конкретным индивидам определенные «шансы» [2]) и т. д.

Аналогичным образом высказывается М. Вебер о праве и в своей критике позиции Штаммлера. Право, согласно Веберу, не может рассматриваться, как форма «социальной жизни»,—ни в том случае, когда оно рассматривается, как закон, ни когда имеют в виду эмпирически-данную урегулированность общественного поведения. «Правовое правило» в одном случае—идеальная умозаключаемая норма, в другом случае оно—эмпирическая, более или менее часто выполняемая, констатируемая максима поведения конкретных людей». Право, в качестве нормы, которая мыслится, как «долженствующая иметь значение»—очевидно, «не есть «форма» бытия, но лишь мерило оценки, с помощью которого оценивается фабтическое бытие, когда мы о нем хотим иметь юридическую правду». Право же, в смысле максимы имеющего место поведения, также—не «форма», но вещественная составная часть эмпирической действительности» [3]) и т. д.

Приведенные соображения Макса Вебера представляют несомненный интерес для сопоставления воззрений неокантианца-социолога и неокантианцев-юристов. Известное достоинство за Вебером в том, что он, по крайней мере, отвоевывает определенную сферу для своей «осмысливающей» социологии: ограничивая юридическую оценку догматико-юридическими выводами из верховной «нормы», он, со своей социологической точки зрения, видит в праве «представления» людей о смысле правовых норм, т.-е. то, что мы по-марксистски назвали бы юридической

[1]) Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1922, S. 405—407 и т. д.
[2]) Там же, S. 415—416.
[3]) Там же, S. 348—349.

идеологией. Между тем, как, например, Штаммлер считает право «априорно-логическим условием» всякой общественной жизни, а Кельзен доходит до того, что пытается все «специфически-социальное» мыслить лишь как юридическое, в отличие от индивидуальных действий людей, от «естественных» явлений [1]).

Менее положительна, хотя сама по себе весьма остроумна критика Вебером—представителем т. н. «баденской» школы неокантианства—воззрений Штаммлера, — тоже неокантианца, но другого, «марбургского» направления. Для Штаммлера право—логический prius социального бытия, и последнее, как «упорядоченное», целиком выводится из высшей априорной нормы—«общества свободных в своих желаниях личностей». Для философского же направления, представляемого Риккертом-Вебером, важно, прежде всего, выяснение «ценности», «смысла», «правды» данного социального явления. Право, поэтому, должно рассматриваться Вебером, не как логическая форма общественного бытия, но лишь как особый, специфический «смысл» социальных действий людей, как их оценка, как их особая «юридическая правда». Право, таким образом, всецело сводится к «нормам», к «максимам», к своеобразным мерилам оценки, а юридическая точка зрения к точке зрения догматико-юридической, т.-е. оценивающей по отношению к определенной идеальной норме. Юридическая точка зрения, таким образом, перестает быть у Вебера пониманием, хотя и односторонним, но пониманием, связанным с эмпирическим бытием права, как стороны общественной жизни,—каким оно было у Штаммлера. Как известно, наиболее последовательное развитие такое понимание роли юриста, как лица, работающего над метаэмпирическим материалом, получило в юридическом нормативизме. Для Кельзена основным элементом юридического рассмотрения является долженствование само по себе, «функциональная взаимозависимость элементов в системе права».

Мы видим на этом примере, как наиболее видные представители современной буржуазной теории оказываются не в состоянии даже правильно поставить вопрос о социологии и об отношении ее и к философии, и к юридической науке. В худшем случае все «социальное» сводится к «правовому»; в лучшем случае—возникают два независимых один от другого способа рассмотрения социальных явлений, «социологическая» и юридическая точка зрения,—при чем Вебер считает возможным применять оба способа рассмотрения решительно к чему угодно, напр., «карточной игре и т. п. Юридическая точка зрения, именно вследствие своей независимости от социального бытия, продолжает оставаться всеобщим мерилом оценки этого социального бытия, которое понимается при этом, как бытие, всецело проникнутое сознанием.

Как известно, в противоположность господствующей юридической идеологии, марксизм ограничивает область права той специфической формой, которую принимают общественные отношения в процессе развития классового общества и которая достигает своего высшего развития в товарно-капиталистических условиях. Уже при самой такой постановке вопроса утрачивают смысл всякие рассуждения о независимо-

[1]) Ср. H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925.

ется в равноправии точек зрения социолога и юриста. Становится невозможным и нелепым юридический подход к явлениям, не обусловливаемым теми особенностями развития классового общества, которые только и делают возможной юридическую оценку. Юридическая сфера суживается, социологическая же, наоборот, расширяется за счет общественных явлений и общественных закономерностей, не охватываемых общественным сознанием данной формации,—за счет того, что Ленин называл «материальными общественными отношениями», в отличие от «идеологических общественных отношений» [1]).

Но существенные изменения вносятся в самое понимание марксизмом юридической точки зрения. Как философия, так, в частности, и социология марксизма—указывали мы выше—не ограничивается своим собственным предметом, но, в силу существа самого этого предмета, имеет и общее методологическое значение для всех специальных наук, изучающих общественную жизнь. Приложение социологии марксизма к юридической теории это—применение к ней, прежде всего тех основных категорий и форм социального познания, которые устанавливаются марксистской общественной наукой в процессе распространения философии марксизма на область общественных явлений, т.-е. учения об общественных формациях, теории классовой борьбы и т. д. Но здесь имеет место явление, аналогичное тому, которое мы уже наблюдали, когда говорили о развитии философии в социологию. Подобно тому, как в процессе приложения к общественной теории методологические принципы диалектического материализма, сохраняясь сами по себе, принимают вместе с тем специфически социальное выражение,—точно так же и основные категории социального познания, в применении к юридическим явлениям, получают «костюм», «форму», «выражение», соответствующие юридической области.

Теория только отображает в этом случае в своих понятиях взаимоотношения правовых форм и их общественно-экономического содержания в самом общественном бытии. Такие понятия, как производственные отношения, меновая форма распределения, борьба классов и их различное отношение к порядку производства и т. д., сохраняются в юридической теории, как общественное содержание юридических понятий, и в то же время они получают дополнительное, особое выражение: в переводе на юридический язык они становятся «имущественными отношениями», «частной собственностью», «договором», «соотношением воли личностей», свободой и равенством субъекта, юридическими нормами, справедливостью, как мерилом права и т. п. специфическими категориями юридического мышления.

Мы не будем цитировать многочисленных уже не раз приводившихся в нашей литературе относящихся сюда отрывков из Маркса и Энгельса. Напомним лишь, по поводу общего характера юридических категорий, что еще в «Немецкой идеологии» они писали: «Отношения становятся в юриспруденции, политике и т. д. в сознании (т.-е. в той или иной теоретической области. *И. Р.*) понятиями: так как они не вышли из рамок этих отношений, то и понятия их являются в их голове свободными понятиями [1]). Напомним также то известное место в «Критике готской программы», где говорится, что «по своей природе право может состоять только в приложении общего мерила; но неравные индивиды... имеют общую мерку лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом, понимают только с одной стороны.... отвлекаясь от всего прочего».

Юридическая теория, с точки зрения марксизма, таким образом, должна представляться, как дальнейшее распространение философии марксизма,—и вновь в специфической форме,—на область правовых явлений. Диалектический подход к старой «философии права» приводит не только к «снятию» ее, но одновременно и к «сохранению» ее юридических категорий, как категорий исторических, соответствующих определенному историческому содержанию товарных общественных структур. Сохранением указанных юридических категорий определяется предмет юридической теории, как науки. Но каждая такая юридическая категория в правовой теории марксизма уже не прежняя «пустая» форма, форма на содержании, но «содержательная форма» (Гегель) [2]), и определение взаимоотношений между ее общественным содержанием и юридическим выражением последнего должно быть основной задачей марксистской, социологической теории права.

Очевидно, что в такой постановке совершенно ошибочно представлять себе юридическую теорию чем-то стоящим рядом с философией и с социологией, а юридическую точку зрения отличать от социологической, как особый «самостоятельный» разрез, как оценку с точки зрения «норм» и т. п. Точно также как этика, как эстетика, так и теория права становится в марксизме, прежде всего, исторической наукой, наукой об историческом развитии юридических норм и понятий. Юридическая точка зрения марксиста-диалектика должна быть проникнута историзмом, и это уже одно заставляет не исключать из нее, но, напротив того, включать в нее социологическое рассмотрение. Но этот историзм в юридической оценке требует в качестве своего логического дополнения, перевода на язык юридических понятий и норм: социологическое рассмотрение норм права открывает, таким образом, двери перед вторым шагом, перед юридическо-техническим рассмотрением, «оценивающим» с точки зрения связи и взаимозависимости норм, но уже создает для него прочный диалектико-материалистический фундамент [3]).

Диалектическое рассмотрение правовых явлений, таким образом, в сущности, имеет очень мало общего с тем своеобразным юридическим релятивизмом, который нашел себе выражение в знаменитом совете Мефистофеля ученику—вовсе пренебречь правовой наукой:

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, dass du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider nie die Frage» [4]).

[1]) См. Ленин, Что такое «друзья народа» и т. д., соч., т. I.

[1]) Архив Маркса и Энгельса, т. I, стр. 252, 253.
[2]) См. Ленин, Конспект «Науки Логики» Гегеля,—«Под Знам. Маркс.» 1925, № 1.
[3]) Ср. суждения Плеханова о социологическом и формальном рассмотрении в искусстве. Предисловие к сборнику «За 20 лет».
[4]) Goethe, Faust, Stuttgart 1862, S. 72.

Если быстро меняется содержание права, то зато самая форма права сохраняет свое значение на долгий исторический период. Марксизм признает поэтому правомерность как юридических категорий, так и самой юридической логики—но в определенных пределах!

Таково то единственно правильное соотношение между философией марксизма и его юридической теорией, при котором философия получает в теории права одно из своих специфических проявлений и «завершений», а юридическая теория, в свою очередь, обращается в философскую, в социологическую критику юридических категорий. Опыт такой марксистской критики правовых понятий уже проделан в книжке т. Е. Б. Пашуканиса «Общая теория права и марксизм», несомненное огромное достоинство которой, прежде всего, в том, что она—глубоко философская книжка. Проф. Е. Спекторский по тому был прав, приглашая юристов «подняться на известную философскую высоту»: юристы, не желающие подняться на высоту философии и социологии марксизма, сознательно или бессознательно, но оказываются в плену у неокантианской философии. В этом плену оказался и сам проф. Спекторский, когда убоялся вторжения социологии в юриспруденцию!

Каково же отношение юридической теории к отдельным, специальным, трактуемым Спекторским проблемам философии? Здесь, в рассмотрении их мы пойдем по пути, прямо противоположному пути изысканий проф. Спекторского: мы начнем не с этики, но с теории познания, с непосредственного предмета философии, как «учения о законах мышления». Как мы видели, почтенный профессор ставит здесь вопрос о реальности юридических норм: внутреннее чутье юриста старой классической школы подсказывает ему необходимость борьбы и с психологической теорией Петражицкого и с тем «социологическим» направлением, которое он величает «гносеологическим физицизмом», т.-е. со школой Дюги. Противопоставить этим двум «уклонам» от классических традиций он может, однако, лишь сверхэмпирическую «моральную» действительность юридического мира, действие юридических норм не в смысле wirken, но в смысле gelten. К этому и сводится его «теория юридического познания»!

При таком «разрешении» проблемы, мы ни на шаг не подвигаемся из мира чистых юридических сущностей, из мира «долженствования», основанного на «отличной от причинной связи, функциональной зависимости элементов в системе права» (Кельзен). Между тем, ошибка «психологистов» типа Петражицкого и «социологов» типа Дюги вовсе не в том, что вопрос о «должном» они стараются заменить вопросом о «существе» права. Но в том, что эту сущность современной юридической формы они понимают не материалистически, т.-е. исходя из общественного процесса производства и обмена, не диалектически и не исторически, т.-е. учитывая правомерность юридических категорий на определенных ступенях общественного развития. Понимают они правовые явления или идеалистически или чисто механически, полагая, что весьма нетрудно заменить в юридической теории принцип эквивалентности принципом солидарности и т. п.

Юридическая теория марксизма не мыслит себе мира «должного», без обусловливающего тенденций его развития «сущего», не мыслит правовых норм без правовых отношений. Она чужда всякому психологическому релятивизму, который сводит право к «фантазмам», иллюзиям, фикциям и к которому близки и некоторые авторы, называющие себя марксистами. Говоря о праве, как об идеологической форме, как об идеологических общественных отношениях, Маркс и Ленин имеют в виду лишь отметить особый характер правовых отношений, проходящих через общественное сознание, в отличие от материальных общественных отношений, т.-е. таких, которые, когда складываются, не проходят через общественное сознание [1]): но никогда и не думали они выражать какое-либо сомнение в об'ективной реальности названных правовых отношений. Не менее отрицательно относится марксизм и ко всяким попыткам создать новую правовую форму, в которой принцип «равносправедливости» был бы заменен «солидарностью», «социальными функциями» или даже «пролетарской целесообразностью». Потому что в основе всех этих попыток лежит прямое или косвенное признание, что современная юридическая форма не есть исторически-преходящая категория, связанная с товарными отношениями, но что право есть категория вечная, «абсолютная», что каждому классу присуще строить совершенно по новому используемую им юридическую форму и т. д.

Что касается вопроса об об'ективности наших юридических категорий и юридических норм, поскольку мы отличаем их от юридических отношений,—скажем, норм нашего законодательства,—то для признания этой их об'ективности нет нужды в какой бы то ни было «моральной действительности» юридического мира. Нормы об'ективны, действительны, реальны не только потому, что они «действуют», но об'ективны и реальны они, как об'ективно и реально все наше общественное сознание, как об'ективны, реальны все наши социальные категории, как исторически об'ективна и реальна в самом факте своего существования даже религия, несмотря на то, что нереальны и необ'ективны самые об'екты религиозных верований. Вопрос об об'ективности, действительности тех или иных проявлений общественного сознания вообще не может подвергнуться в философии марксизма никакому сомнению, поскольку общественное сознание всегда мыслится нами, как непосредственное или косвенное отражение общественного бытия. Ошибка неокантианства заключается именно в том, что, отрывая мир юридического долженствования от мира сущего, они неизбежно должны видеть в этом мире должного множество фикций, гипотез, презумпций, конструкций, якобы вовсе не связанных с реальным общественным бытием.

Особенное распространение получило это воззрение на характер наших юридических категорий у юристов, приверженцев теории фикций Файхингера. Но даже авторы, значительно более умеренные в своих взглядах, вроде проф. Спекторского, создают на этой почве целую метафизику юриспруденции. Такие понятия, как «юридическое лицо», «юридическое рождение», «законные дети», «юридическая воля», «воля государства», относятся Спекторским и другими цитируемыми им авторами к какому-то особому, «метаэмпирическому» миру, в котором и совершается работа юридической мысли. Легко заметить, однако, что такая сверхэмпирическая теория юридических функций ведет, в конеч-

[1]) См. Ленин, Что такое «друзья народа», Собр. соч., т. I.

ном счете, к тому же суб'ективно-идеалистическому представлению о праве, как и «фантазмы» психологической школы.

Разумеется, «юридическое лицо», «юридическая воля» и т. д. представляет собой в известном смысле слова фикции. Но эти юридические фикции имеют и некоторую об'ективную основу в самой отображаемой правом экономической действительности: в них нашли свое выражение разделение буржуазного общества на эгоистических индивидов, отделение государственной власти от остальных членов «гражданского общества» и т. п. Юридическая фикция ius utendi et abutendi, по справедливому указанию Маркса, выражает не только иллюзию, будто частная собственность основывается на голой воле, но и «тот факт, что частная собственность стала совершенно независимой от общества» [1]). Такие же об'ективные основы имеют юридические фикции «свободы» и равенства» суб'ектов права и вообще все категории юридического фетишизма, точно так же как на об'ективной основе, а вовсе не на одной голой иллюзии, виждится вообще товарный фетишизм. Здесь, повторяем, мы исходим из общего правила теории познания марксизма: искать основы общественного сознания в общественном бытии.

Таким образом использование нами тех или иных юридических фикций или конструкций само должно иметь некоторую опору для себя в материальном мире. Такова единственная и наиболее надежная гарантия против тех или иных «прагматических» увлечений наших юристов. Но «метафизика юриспруденции», придуманная проф. Спекторским, теряет всякий смысл с точки зрения марксизма уже потому, что в философии марксизма речь может итти не о метафизической проблеме, но о проблеме онтологической: последняя, как известно, не просто отвергается диалектическим материализмом, но как и гносеологическая проблема, и вместе с этой последней находит себе разрешение в диалектике познавательного процесса. Проблема, стоящая здесь перед юридической теорией марксизма, заключается в диалектическом разрешении таких видимых противоречий, как закономерность естественная и юридическая, как закономерность и случайность, необходимость и свобода, детерминизм и ответственность и т. п.

Если проф. Спекторский не поставил здесь этих вопросов, то потому, что он перенес их целиком в «моральную проблему». С его точки зрения, нужно подняться «на высоту ноуменального морального детерминизма», потому что нельзя «без остатка растворить всю политическую и нравственную деонтологию права в его социологической онтологии». В связи с этим все его дальнейшие рассуждения об обществе как «известном моральном союзе» и «моральной социологии» и т. д. Вся беда проф. Спекторского в том, что он совершенно запутался в трех соснах неокантианского противопоставления физических и моральных понятий. В действительности экономика не является вовсе «наукой социально-физического типа», а юриспруденция — наукой «социально-этического типа». Наоборот: как известно, сама этика становится в марксизме исторической наукой. Этим самым этическая проблема перестает существовать в философии, как проблема, получающая «абсолютное», окончательное разрешение. Моральные оценки, хотя не исчезают, но они перестают

[1]) Архив Маркса и Энгельса, т. I, стр. 252.

быть тем верховным критерием, к которым только и может апеллировать юридическая оценка. Верховным критерием становится здесь правильное применение методологических начал философии марксизма, и, в частности, его социологии, к изучению конкретных общественных отношений.

Но если мы отказываемся от той постановки вопросов, которая дается неокантианством: от «моральной действительности» юридического мира, от всякой «метафизики юриспруденции», от «моральной социологии» и даже от трехэтажного «ноуменального морального детерминизма», то разве от такого отказа философия теряет свое значение для юридической теории? Ничуть! Из всего уже сказанного очевидно, что напротив того: именно в юридической теории марксизма философское и, в частности, социологическое рассмотрение приобретает максимально огромное значение. Органическое сращение с теорией права философии и социологии марксизма, получающих в этой юридической теории одно из своих специфических «завершений», делает марксиста-юриста в гораздо большей степени философом, чем вращающегося в мире чистых абстракций буржуазного «философа права».

Впитав в себя великое философское наследие материализма и диалектики, юридическая теория марксизма становится могучим «оружием критики», которое обосновывает и облегчает нашу борьбу на политико-юридической почве.

О рационализации умственного труда.

И. Орлов.

1. „Механизация мышления“ проф. Щукарева.

Около года тому назад в Москве проф. А. Н. Щукарев демонстрировал в публичной лекции «мыслящую машину», изобретенную Джевонсом, а проф. Щукаревым заново сконструированную. Эта же машина была им ранее демонстрирована в других местах с определенным успехом среди слушателей.

Конечно, претензии проф. Щукарева, выставляющего школьное пособие Джевонса в качестве универсального «мыслящего» аппарата, а также наивное изумление его слушателей—все это не лишено некоторого комизма. Но все-таки данная тема заслуживает внимательного рассмотрения, так как самим фактом существования подобной «логической машины» нас хотят убедить в формальном характере мышления, в возможности его механизации.

Существуют философские школы, развивающие учение о формальном характере мышления. Нет сомнения, что такое учение коренным образом противоречит диалектическому материализму, так как, согласно диалектической теории, формальный характер может носить не мышление в целом, но только отдельные, узко специальные умственные операции. Мышление, как таковое, диалектично; отдельные формальные операции входят в общий мыслительный процесс в качестве частных случаев, подобно тому как покой является частным случаем движения.

В связи с этим находится вопрос о замене умственного труда, умственного напряжения механическими приспособлениями,—вопрос, принципиально разрешенный в XIX столетии по отношению к некоторым умственным операциям, и поставленный на очередь в массовом масштабе современной техникой. В своей статье «Механизация мышления» [1]), в которой проф. Щукарев описывает сконструированную им машину, он упоминает о том, что до сих пор изобретено до 250 приспособлений, заменяющих умственный труд. В данном случае проф. Щукарев значительно ошибся в сторону преуменьшения; но ближайшее рассмотрение всех подобных аппаратов приводит совершенно к другим заключениям, нежели те, которые излагает проф. Щукарев. Все аппараты, заменяющие умственный труд и при этом приносящие действительную пользу, имеющие известное распространение, носят узко специальный характер и приспособлены к точному

[1]) «Вестник Знания» 1925 г., № 12. См. также Щукарев «Проблемы теории познания», изд. Mathesis.

выполнению одной определенной операции или же к узкому кругу однообразных специальных операций. Все аппараты, претендующие на какую-либо универсальность, не имеют никакого практического значения и являются просто игрушками или в лучшем случае школьными пособиями. Таким образом, рассмотрение подобных аппаратов всецело подтверждает, что формальный характер носят отдельные специальные умственные операции, но не мышление в целом. Дело идет, стало быть, вовсе не о «механизации мышления», а, наоборот, об освобождении мышления от формальных, узко специальных операций, об освобождении мозга от механической монотонной работы.

Человеку, стоящему в стороне от деятельности научных учреждений, трудно представить себе, какую массу сил и времени должен затратить физик, химик, астроном, инженер на всякого рода выкладки и вычисления. Каждый шаг в работе, результаты каждого опыта или наблюдения должны быть соответствующим образом обработаны, при чем обработка может занимать даже более времени, нежели самый опыт. Эти операции, начиная с простых арифметических действий и кончая применением формул высшей математики, носят в громадном большинстве случаев однообразный, шаблонный характер и в то же время требуют напряженного внимания, так как всякая ошибка, всякий просчет может иметь весьма неприятные последствия. Это наиболее неприятная и утомительная часть научной работы; такая работа может и должна быть выполнена машиной. Если бы не существовало инструментов, облегчающих такую работу, ускоряющих и вовсе заменяющих ее, научная и техническая работа лабораторий была бы в сильной степени затруднена и во многих случаях парализована. Поэтому мы находим в практике научных учреждений такие аппараты, как различных типов счетные машины, приборы для механического интегрирования специальных формул, приборы для определения площадей, для автоматического расшифровывания записей самопишущих приборов и т. п.

Какое же место среди подобных аппаратов может занимать логическая машина, пропагандируемая проф. Щукаревым?

Хотя Джевонс и не рассчитывал, что логическая машина может иметь какое-либо применение, кроме применения в качестве школьного пособия на уроках логики, однако он оценивал свое изобретение, как универсальный аппарат, «умозаключающую машину»; эта машина, по его мнению, вполне успешно выполняла ту работу, которая является функцией головного мозга.

В начальном своем положении, по словам Джевонса, машина «представляет собою ум, способный к мышлению, но не имеющий никаких познаний». Когда же машина приведена в действие, когда ее рычагам сообщено какое-либо предложение, то машина «анализирует и переваривает смысл его, и тогда она обладает знанием, содержащимся в этом предложении».

«Машина,—говорит Джевонс,—есть воплощение настоящей логической системы. Комбинации классифицируются, выбираются или отвергаются, как будто бы это делал рассуждающий ум, так что на каждой стадии задачи логический алфавит в машине представляет надлежащее состояние ума, свободное от ошибок».

Проф. Щукарев идет значительно далее Джевонса; он, что называется, хочет «взять быка за рога». Нужно произвести ра-

ционализацию умственного труда? Для этого нужно только по его рецепту «механизировать мышление», т.-е. поручить мыслительную функцию машине. Мышление сводится, по мнению проф. Щукарева, к выполнению формально логических операций; поэтому он находит, что машина, сконструированная Джевонсом, вполне подходит для этой цели. Такая машина, утверждает проф. Щукарев, может иметь широкое и разнообразное применение; она будет мыслить за человека, решать за него различные вопросы из текущей практики. Мало того, эта машина даже «работает более совершенно, чем человеческий ум».

Нет сомнения, что такая оценка логической машины есть не более как результат недоразумения. В практической жизни нам вовсе не приходится разрешать сложных формально-логических задач, и вообще к чисто формальным рассуждениям мы прибегаем довольно редко. Утверждение о формальном характере мышления является результатом философского предубеждения и совершенно неверного анализа мыслительных процессов.

Но даже в узко специальной области разрешения формально-логических задач, машина далеко не может иметь того значения, о котором говорят нам Джевонс и Щукарев. Прежде всего, машина не выполняет целиком всей работы решения той или иной логической задачи, а выполняет только некоторые ступени решения задачи. Оператор, прежде чем прибегнуть к помощи машины, должен передать условия задачи в виде логических формул специального типа; а это есть работа, требующая знаний и тонкого соображения. Малейшая ошибка в передаче условий задачи формулами приводит к тому, что машина дает нелепый или во всяком случае ложный ответ. После того, как условия задачи выражены в требуемой форме, машина автоматически выполняет среднюю ступень решения задачи. Последняя ступень заключается в том, что оператор при помощи собственного соображения выделяет нужный ему результат из тех данных, какие представляет машина.

Как видим, до «механизации мышления» здесь далеко.

Проф. Щукарев внес некоторые видоизменения в конструкцию машины Джевонса, не имеющие, по его словам, принципиального характера. Он придал инструменту меньшие размеры, сделал его целиком из металла и устранил в приборе Джевонса некоторые конструктивные дефекты. Кроме того, проф. Щукарев приспособил машину к целям публичной демонстрации и постарался внести при этом элемент сенсационности. Он присоединил к инструменту особый световой экран, на который передается работа машины и на котором результаты операций появляются уже не в условной форме буквенного алфавита, но в словесной форме, производящей более сильное впечатление на широкую аудиторию.

Однако, несмотря на все эти эффектные приспособления и несмотря на «устранение конструктивных дефектов», прибор, построенный проф. Щукаревым, представляет собою определенное ухудшение по сравнению с прибором Джевонса. Это ухудшение заключается в следующем: машина Джевонса в конструкции Щукарева перестала давать выводы, а следовательно, утратила свой смысл, как логическая машина.

Для того, чтобы выяснить, в чем здесь дело, я вынужден буду напомнить читателю, каким образом логические предложения выражаются в условной алгебраической форме, и показать, на каком принципе основано устройство логической машины.

Мы знаем, что каждое понятие охватывает определенную группу или класс предметов. Эти классы принято обозначать алгебраически с помощью букв. Если один какой-либо класс предметов обозначен буквой a, и другой класс буквой b, то выражение «a . b» означает новый класс, охватывающий все те вещи, которые являются одновременно и a и b. Понятие «и» заменяется точкой, выражение «a . b» называется «логическим произведением»; логическое произведение представляет как бы общую часть двух классов [1]). Понятие «или» изображается знаком «v». Выражение «a v b» означает новый класс, куда входят те вещи, которые являются или a или b. Выражение «a v b» называется «логической суммой». Все a и все b вместе образуют логическую сумму a и b. Понятие «не» выражается знаком минус, поставленным перед буквой. Так, если «a» означает класс металлов, то «—a» означает класс всех неметаллических предметов. В формальной логике принимается, что выражение «a v —a» охватывает всю «совокупность вещей», так как всякая вещь должна быть или a или не-a. Если даны два понятия, то всего классов будет четыре; тогда «совокупность вещей» будет охвачена следующим выражением:

(a . b). v. (a—b). v. (—a. b). v (—a . b).

В случае трех понятий всех возможностей будет 8:

(a. b. c). v. (a. b — c). v. (a — b. c). v. (a — b — c). v. (— a. b. c). v. (—a—b. c). v. (—a. b —c). v. (—a—d—c);

в случае четырех понятий будет 16 классов и т. д.

Затем играют важную роль выражения вида «a⊃b». Такое выражение называется «включением» и имеет следующий смысл: если некоторая вещь принадлежит к классу a, то она принадлежит также и к классу b». Два «включения», «a⊃b» и «b⊃a» заменяются одной формулой «a=b». В этом случае говорят, что классы «равны» по об'ему. Легко понять, что отдельное «включение», «a⊃b, может быть заменено частичным равенством «a=a.b» и что оба выражения имеют один и тот же смысл [2]).

Для того, чтобы выяснить принцип устройства логической машины, условимся прибегнуть к некоторой фикции, а именно, допустим, что мы хотим применить принципы научной организации труда к процессу решения логических задач. Допустим, что мы хотим применить в этом процессе максимальное разделение труда и разложить решение задачи на ряд максимально простых умственных операций. Допустим, наконец, что каждую такую операцию мы поручаем отдельному работнику, слабо квалифицированному счетчику.

Посмотрим теперь, как наши фиктивные счетчики выполнят силлогизм типа barbara. Для получения вывода из силлогизма нам понадобится восемь человек счетчиков. В посылках силлогизма barbara даются три понятия; следовательно, как

[1]) В формулах все скобки также заменяются точками.

[2]) В самом деле, если «всякое a есть b», то, конечно, можно сказать, что всякое a есть a и b в одно и то же время, и, наоборот, всякое «a.b» есть a. Таким образом, мы имеем два выражения «a⊃a.b» и «a.b⊃a», а следовательно и выражение «a = a.b».

было указано, мы будем иметь всего восемь различных классов, которые охватят собою «совокупность вещей». Пусть эти восемь классов логического алфавита написаны на 8 таблицах так, что буквы написаны одна под другой, и пусть каждому счетчику поручено по одной таблице. Таблицы будут иметь следующий вид:

1	2	3	4	5	6	7	8
a	a	a	a	—a	—a	—a	—a
b	b	—b	—b	b	b	—b	—b
c	—c	c	—c	c	—c	c	—c

Пусть теперь мы имеем доску с 8-ю прорезами; позади доски стоят наши 8 счетчиков, при чем каждый держит свою таблицу позади определенного прореза. Наша фикция изображает теперь как бы «живую логическую машину».

Организатор всего процесса пред'являет счетчикам первую посылку в символической форме a.=a.b. Каждый счетчик должен взглянуть, не содержит ли его таблица противоречащей комбинации, а именно «a.—b», и если содержит, то убрать свою таблицу из прореза. Таким образом будут убраны комбинации 3 и 4. После этого пред'является вторая посылка c.=c.a. Равным образом тотчас же убираются 5-я и 7-я таблицы, как содержащие комбинацию «c.—a». Наконец, организатор пред'являет букву c, и счетчики должны убрать из прорезов все таблицы, содержащие «—c». Теперь убираются 2, 6, 8 таблицы, и в прорезе доски остается лишь одна 1-я таблица, из которой видно, что c есть b.

Для решения каких угодно задач о трех терминах совершенно достаточно, если наши работники умеют выполнять три и только три операции:

1) по знаку «=a.b» убрать свою таблицу из прореза, если она содержит противоречащую комбинацию;

2) по знаку «v. a. c» возвратить убранную таблицу обратно в прорез, если она содержит ту комбинацию, которая стоит после знака «v». Эта операцию выполняется тогда, когда дается в качестве посылки разделительное предложение:

3) по пред'явлении какой-либо буквы, напр. c, нужно убрать из прорезов все таблицы, содержащие «—c» (по пред'явлении «—c», наоборот, убирать таблицы, содержащие c).

Для решения по указанному принципу каких-угодно логических задач о четырех терминах нужно иметь 16 человек счетчиков, при чем каждый счетчик должен производить опять-таки только три указанных операций.

Но все эти операции так просты, что люди в данном случае могут быть заменены применением рычажного механизма. Именно такое приспособление изобрел Джевонс, на вышеописанном принципе основывается работа его машины. Машина Джевонса решает задачи о четырех терминах и имеет, стало быть, всего 16 буквенных таблиц, выражающих 16 возможных классов вещей. Буквенные таблицы прикреплены к 16 подвижным вертикальным пластинам; последние соединены рычажным механизмом с клавишами. Вся машина несколько напоминает пианино. При ударе по клавишам пластины с буквами убираются из прорезов передней доски или же обратно возвращаются в прорезы.

Кроме буквенных клавиш, имеются клавиши операционные для знаков «v», «=» и др. Оператор разыгрывает на клавишах посылки, выраженные в символической форме.

В приборе проф. Щукарева подвижные пластины соединены электрически с особым экраном, состоящим из 16 горизонтальных полочек, несущих каждая по две обыкновенных электрических лампочки. Перед этими полками вешается лист прозрачной кальки, на котором написаны тушью обыкновенными словами те же комбинации, которые стоят на подвижных пластинах. При начальном положении машины все лампы экрана горят, и все комбинации, освещенные сзади, хорошо видны аудитории. После постановки определенных посылок некоторые пластины приподнимаются вверх и этим самым включают соотвествующие полочки. Остаются освещенными только те комбинации терминов, которые совместимы с данными посылками.

Теперь рассмотрим, в чем заключается ухудшение в приборе Щукарева по сравнению с прибором Джевонса. Один из недостатков машины Джевонса заключается, как мы видели, в том, что она не доводит до полного конца решение логической задачи, и что оператор должен еще выполнить известные действия для того, чтобы получить нужный ему вывод из тех логических комбинаций, которые дает ему машина. У Джевонса этот недостаток ослабляется до известной степени тем, что после исполнения посылок оператор ударом по клавише определенной буквы устраняет все комбинации, не содержащие указанной буквы. После этого число комбинаций, видимых в прорезах, уменьшается, и получение искомого вывода этим облегчается. Между тем в приборе проф. Щукарева такого приспособления нет; поэтому вывод из посылок теряется среди массы комбинаций, не противоречащих посылкам, но в то же время не имеющих к посылкам прямого отношения. Наши фиктивные счетчики должны были выполнять три простых операции; эти же три операции выполняет механизм машины Джевонса. Но механизм машины проф. Щукарева выполняет только две первые операции, к выполнению третьей операции его прибор не приспособлен. Поэтому машина Щукарева механизирует меньшее число действий в процессе решения логических задач, нежели машина Джевонса.

Этот весьма существенный недостаток своей машины проф. Щукарев считает, наоборот, ее величайшим достоинством. По мнению Щукарева, машина именно потому «работает совершеннее, нежели человеческий ум», что она дает не один вывод из посылок, но много выводов. При этом проф. Щукарев называет выводами предложения, не противоречащие посылкам. Это, однако, очевидное недоразумение. Можно, конечно, находить известное удовольствие в пересматривании комбинаций, не противоречащих посылкам, но толку от такого занятия совсем мало.

Из посылок:

Серебро металл

Металлы проводники тока

Машина делает, говорит проф. Щукарев, не один, но четыре вывода:

1) Серебро металл, проводник тока;
2) Несеребро металл, проводник тока;
3) Несеребро неметалл, проводник тока;
4) Несеребро неметалл, непроводник тока.

Правда, в природе существуют металлы, кроме серебра, существуют также и неметаллы, как проводящие ток, так и не проводящие тока; но дело в том, что посылки ничего не говорят ни за, ни против существования подобных вещей. Посылки всегда связаны с выводом определенной логической связью. Если посылки верны, неизбежно верным будет вывод; если ложен вывод, столь же необходимо ложными будут и посылки (по крайней мере одна). Между тем, существуют или не существуют в действительности, скажем, неметаллические тела, проводящие ток, правильность приведенных выше посылок от этого отнюдь не зависит. Таким образом, три последних предложения не имеют никакого прямого отношения к посылкам и только затрудняют действительное решение логической задачи.

То же самое справедливо и по отношению ко всем другим примерам, приводимым проф. Щукаревым.

Посылке «люди суть разумные существа» отнюдь не противоречит предложение «не люди суть разумные существа». Но было бы нелепо рассматривать второе предложение, как вывод из первого, и полагать, что посылка «люди суть разумные существа» доказывает существование разумных существ (не людей) где-нибудь на Марсе.

Между тем прибор проф. Щукарева дает именно такие «следствия», и его метод приводит именно к такому толкованию.

Теперь обратимся опять к первой стадии решения логической задачи, которую необходимо выполнить ранее, нежели прибегнуть к помощи машины.

Для того, чтобы показать, что приведение посылок к той форме, которая может быть разыграна на логическом пианино, представляет существенную стадию решения задач, мы разберем еще один, довольно интересный пример, приводимый проф. Щукаревым. При решении этого примера машина дала совершенно неверный ответ [1]) именно потому, что равенства, разыгранные на машине, были составлены неверно.

Проф. Щукареву была предложена для решения на машине следующая задача:

«Местным (Ростов-на-Дону) мировым судьей был вынесен одному из подсудимых оправдательный вердикт, который мотивировался им следующей формулой: при разборе дела данных, исключающих отсутствие злой воли у подсудимого, не оказалось. Местные юристы утверждают, что эта формула не соответствует оправдательному вердикту, и просят проверить ее при помощи логической машины».

Решение, полученное проф. Щукаревым, заключается в следующем: a—«дело», b—«содержащее данные, исключающие отсутствие злой воли», c—«обвинение». В результате на машине получились комбинации:

(a—b. c); (a—b—c); (—a. b. c); (—a—b. c); (—a—b.—c).

т.-е. данное дело a, как не содержащее данных, исключающих отсутствие злой воли b, допускает, как обвинение c, так и оправдание «—c».

Всякое другое дело «—a», содержащее данные, исключающие отсутствие злой воли b, требует безусловно осуждения c.

[1]) Который, однако, был принят проф. Щукаревым за верный.

Всякое же другое дело «—a», также не содержащее данных, исключающих отсутствие злой воли b, допускает как обвинение c, так и оправдание «—c».

«Ростовский мировой судья был таким образом совершенно прав в своем оправдательном вердикте», прибавляет проф. Щукарев (ибо оправдание предпочитается обвинению).

Заметим, что проф. Щукарев решает не ту задачу, которая была ему предложена, т.-е. не вопрос о том, соответствует ли мотивировка вердикту, а вопрос о том, следовало ли оправдать или же обвинить подсудимого. Но и эта вторая задача решена неправильно. Указанные в тексте комбинации букв получаются тогда, когда на машине разыграны следующие посылки:

«a.=.a.—b» и «b.=.b.c».

В данном случае допущенная оператором ошибка заключается в том, что отношение между классом «содержащее данные, исключающие отсутствие злой воли», и классом «заслуживающее обвинения» есть не частичное равенство, как принял оператор, но полное равенство «b=c». Мы видели, что такого рода посылка при операциях с машиной должна быть заменена двумя посылками «b.=.b.c» и «c.=.b.c». Вот этой последней посылки и недостает в решении проф. Щукарева. После того, как все три посылки разыграны, на машине Джевонса (а не Щукарева) следует ударить по клавише a, и тогда все комбинации, содержащие «—a», скрываются, и в поле зрения останется всего лишь одна комбинация a.—в.—c, которая и указывает на необходимость оправдания, а следовательно, и на недопустимость обвинения.

Таким образом, мы видим, что машина дает правильные или неправильные ответы в зависимости от того, каким образом оператор задает вопросы, мы видим также, что машина не может полностью решать логических вопросов, но избавляет только от наиболее монотонного механического труда по выбору комбинаций.

Но решение получается гораздо скорее и проще без машины, при помощи логического исчисления. Обозначим доказанное присутствие «злой воли» буквой b. Тогда «отсутствие злой воли» выразится символом «—b»; «исключение отсутствия злой воли» будет передано формулой —(—b); и, наконец, «необнаружение данных, исключающих отсутствие злой воли», выразится формулой «—[—(—b)]». Согласно правилам логического исчисления:

$$-[-(-b)]=-b \qquad (1)$$

С другой стороны, обозначая буквой c «поступок, вызывающий обвинительный вердикт», получаем логическое равенство:

$$b=c \qquad (2)$$

На основании правил логического исчисления из выражения следует выражение:

$$-b=-c \qquad (3)$$

Наконец, на основании (1) и (3) получаем:

$$-[-(-b)]=-c \qquad (4)$$

Откуда также следует выражение:

$$-[-(-b)] \supset -c$$

т.-е. «необнаружение данных, исключающих отсутствие злой воли, требует оправдания», что и является решением вопроса. При этом получается то преимущество, что сложный термин «содержание данных, исключающих отсутствие злой воли», оказывается проанализированным. Итак, мотивировка, которую дал судья, вполне правильна, его формула соответствует оправдательному вердикту.

В то время, когда Джевонс работал над своей машиной, логическое исчисление только зарождалось и было крайне несовершенным. Механический метод решения логических задач Джевонса, несомненно, имел преимущество перед алгебраическим методом пионера математической логики Буля. Но в настоящее время алгебраический метод в логике настолько разработан и усовершенствован, что машина Джевонса уже не может иметь практического значения. Логические комбинации, нужные для решения сколько-нибудь сложной логической задачи, могут быть значительно легче найдены путем алгебраического вычисления, нежели посредством работы с машиной.

Но и логическое исчисление не оправдало тех ожиданий, которые на него возлагались, так как оно оказалось совершенно неприменимым к разрешению каких-либо практических вопросов. Еще никто не открыл посредством алгебры логики никаких новых истин, никто не прибегает к ее помощи на практике в каких-либо затруднительных обстоятельствах, и это лишний раз подчеркивает, что мышление, как таковое, не носит формального характера. Логическое исчисление нашло себе важное теоретическое применение: оно играет роль как бы логического микроскопа при исследовании постулатов и аксиом, лежащих в основе различных отраслей математики. Логическое исчисление разрабатывается в настоящее время именно в отношении к указанной цели. Все же попытки применить его на практике окончательно оставлены.

Итак, наши выводы таковы: все претензии, которые связываются с логической машиной, лишены какого-либо значения. Машина Джевонса не имеет и не может иметь никакого отношения к научной организации умственного труда; машина, сконструированная проф. Щукаревым, представляет собою шаг назад по сравнению с машиной Джевонса.

Теперь, показав, как нельзя подходить к вопросу о рационализации умственного труда, попытаемся дать этому вопросу правильную постановку.

2. Монотонный умственный труд.

Умственный труд, мыслительная деятельность не менее нуждается в научной организации, нежели труд физический. Посредством правильной организации можно точно так же в сильной степени повысить результаты умственной деятельности, избежать излишней, непроизводительной траты сил и с наименьшей затратой энергии достигнуть наибольших результатов.

Но что именно нужно понимать под словами «умственный труд». Граница между умственным и физическим трудом носит до известной степени условный характер.

Умственный труд не представляет собою особой категории, резко отделенной от труда физического. Труд научного работника в лаборатории сплошь и рядом переходит в физический; наоборот, физический труд почти всегда заключает в себе элементы умственного напряжения. И если по отношению к крайним ступеням трудовой лестницы вопрос бесспорен—напр., труд носильщика тяжестей и труд ученого,—то существует много профессий, которые трудно причислить к той или другой категории. Является физическим или умственным труд переписчицы-машинистки, приказчика в магазине и т. п.?

Труд рабочего-металлиста требует большого умственного напряжения, так как он связан с непрерывной оценкой производимой работы и с сознанием ответственности за каждое движение. Немецкий психотехник Шлезингер указывает, что изготовление частей машин, как, напр., нарезка шпинделя, шлифовка калибра и т. п., требуют от рабочего гораздо большего умственного напряжения, чем записи и подсчеты в бухгалтерских книгах. Здесь только другая область умственного напряжения.

«Если бухгалтер может работать, не пачкая своих рук и воротничка,—говорит Шлезингер,—то из этого не следует, что его умственная работа напряженнее и значительнее, чем у рабочего при станке» [1]).

Однако мы не можем настолько расширить тему и говорить о всяком умственном напряжении, связанном с какими бы то ни было трудовыми процессами. Умственный труд рабочего металлиста, о котором говорит Шлезингер, тесно связан с физическим трудом; он не отделим от последнего и должен выполняться одновременно и попутно с физическим трудом. Но во многих других случаях умственный труд приходится выделять в совершенно особую, отдельную операцию, которая в силу своей сложности уже не может быть выполнена одновременно с какими-нибудь физическими манипуляциями. Например, при обмере полей и зданий вычисления производятся уже после того, как все наблюдения и отсчеты закончены. Было бы нерационально производить одновременно измерения и вычисления. Последний пример показывает, что если физический труд и не может быть отделен от умственного напряжения, то умственный труд может быть вполне отделен от физического труда—это и будет умственный труд в собственном смысле этого слова.

Таким образом, под умственным трудом в собственном смысле мы будем понимать труд, отделенный от ручных и вообще всякого рода мускульных движений и совершаемый над умственными, только представляемыми об'ектами. Такое ограничение понятия «умственный труд» согласно также и с данными психологии.

Основная форма всякого жизненного проявления есть реакция организма, ответ или отклик мускульной и нервной системы организма на раздражения, исходящие от внешней среды, в которой находится организм. Трудовые процессы точно так же могут быть сведены к таким реакциям организма на импульсы, получаемые от внешней среды. Трудовые процессы различаются по типам тех реакций, из которых они состоят. Так, например, работа кузнеца, шахтера и т. п., требующая большого физического напряжения, сводится к реакциям мускульного типа. Реакции этого типа сводятся к тому, что работающий получает от

[1]) Шлезингер, Психотехника и наука о производстве, Гиз, 1925 г.

об'екта работы как бы сигналы, в ответ на которые он должен производить определенные интенсивные движения. Здесь главное внимание рабочего сосредоточено на своих движениях, а не на об'екте работы. Более тонкая ручная работа токаря, наборщика, переписчика и т. д. принадлежит к типу сенсорных трудовых процессов и сводится к так называемым сенсорным реакциям. Здесь внимание работающего сосредоточено именно на об'екте, подвергаемом обработке, а движения, необходимые для придания об'екту необходимой формы, подыскиваются более или менее автоматически. Мыслительная деятельность принадлежит к третьему типу трудовых процессов и сводится к так называемым ассоциативным реакциям; внимание здесь сосредоточено на представляемых об'ектах, на связи между представлениями.

При изучении реакций и трудовых процессов различного типа обнаруживается, как указывает проф. Корнилов, замечательная закономерность: мысль и движение оказываются двумя взаимно отрицающими друг друга полюсами. Отсюда вытекает закон «однополюсной траты энергии» [1]). При трудовых процессах мускульного типа, где работа мышления носит элементарный характер, мы наблюдаем следующую картину: внешнее высвобождение энергии в движениях работающих органов достигает максимума; движения весьма быстры, скорость движения и пройденный путь работающего органа весьма значительны. При сенсорных трудовых процессах работа мышления более значительна; вместе с тем интенсивность движений падает, затрата энергии посредством движений ослабевает. И, наконец, трудовые процессы сложно-ассоциативного характера, т.-е. чисто умственная мозговая работа, дают минимум внешних движений.

Таким образом, с усложнением мыслительного процесса уменьшается как затраченная в движение энергия, так и путь и скорость движения. Мыслительная деятельность и внешнее проявление движения находятся в обратном отношении друг к другу.

Нельзя одновременно заниматься сложной мыслительной работой и в то же время производить интенсивные движения. Если, например, умеренно скорая ходьба может благоприятно влиять на умственную работу, то во время бега, конечно, никакое размышление не возможно. Из закона однополюсной траты энергии следует, что если энергия интенсивно потребляется центрально при углубленной мозговой работе, то она не может в то же время получать интенсивного освобождения во внешних движениях, и наоборот.

Этого рода соображения вполне определяют нашу тему; речь идет о трудовых процессах чисто умственного, мозгового характера, которые отделены от каких бы то ни было интенсивных движений и даже несовместимы с последними. Такого рода трудовые процессы также нуждаются в рациональной организации, как и процессы физического труда, и точно так же они могут быть заменяемы специально приспособленными для этой цели машинами и аппаратами.

В лабораториях, научных кабинетах и т. п. научных учреждениях, конечно, можно достичь огромного повышения производительности труда посредством правильной организации работы,

[1]) Проф. К. Н. Корнилов, Учение о реакциях человека, Гиз. 1922 г.

посредством надлежащего размещения аппаратов для производства опытов и наблюдений, необходимых материалов, вспомогательных инструментов и проч. Но в данном случае речь идет не об этом, речь идет не о правильной организации научных наблюдений и технических изысканий, но об успешности чисто умственной мозговой работы, такой, которая должна производиться совершенно отдельно от всяких других операций и посредством которой подводятся итоги наблюдений и опытов.

Рассмотрим общие принципы тэйлоризма или научной организации труда и выделим все то, что может быть применено к изолированному умственному труду.

Подходя к какому-нибудь трудовому процессу, который должен быть рационализирован, Тэйлор ставит следующие вопросы: 1) что здесь делается, 2) как здесь делается, 3) нельзя ли это делать проще, скорее, лучше, удобнее, безопаснее.

Поэтому Тэйлор или последователь его системы точно изучают каждый рабочий процесс с целью его реформирования. Каждый трудовой процесс, каждая операция должна быть предметом обстоятельного научного изыскания, которое должно быть проведено вполне систематически. Тэйлорист разлагает каждый исследуемый процесс на составные части, на элементарные процессы, исследует каждый элементарный процесс в отдельности и заставляет проделывать указанные процессы наиболее пригодных для этой цели рабочих. При этом применяется хронометраж; в то время как образцовые тщательно подобранные рабочие выполняют работу, тэйлорист измеряет продолжительность отдельных операций при помощи контрольных часов и регистрирует полученные результаты. Так получается то, что тэйлористы называют «научным максимумом продуктивности».

Одновременно с этим тэйлорист стремится к возможно большему усовершенствованию инструментов и приемов работы. Тэйлорист стремится освободить квалифицированного рабочего от всех побочных, вспомогательных операций; все такие операции, как, например, уход за инструментами, транспорт сырья и готовых изделий к месту работы и обратно,—все это передается не квалифицированным рабочим или машине; квалифицированный же рабочий выполняет только важную, изученную им работу, которая и является его специальностью. Давать каждому работнику наиболее квалифицированную работу, на какую только он способен—это один из принципов тэйлоризма.

Последний принцип целиком должен быть применен к работникам умственного труда. Существуют два вида умственного труда: творческий труд, требующий наивысшей квалификации, и монотонный, совершаемый по шаблону, почти механический умственный труд, который может быть выполнен и менее квалифицированным работникам. Между тем высококвалифицированный работник сплошь и рядом бывает прямо завален моногонным, механическим трудом. С точки зрения научной организации труда такое использование квалифицированной рабочей силы, такое расточение умственной энергии является прямо преступным. Поэтому первая задача научной организации умственного труда заключается в том, чтобы отнять от научного работника монотонную механическую работу и тем побудить его к усиленной умственной работе высшей квалификации. Такая разгрузка научного работника от монотонного умственного труда всего

легче может быть произведена при помощи машины. При этом необходимо отметить, что в случаях применения принципов тэйлоризма к умственному труду, отрицательные и вредные стороны системы Тэйлора в значительной степени исчезают. Известно, что система Тэйлора на ряду с крупными и ценными достижениями имеет столь же крупные недостатки, препятствующие ее распространению. Отрицательная сторона системы Тэйлора заключается в том, что она заставляет рабочего трудиться слишком интенсивно; она слишком подстегивает рабочего и вымагает его силы, а в результате легко приводит к переутомлению и преждевременному изнашиванию организма. Вместе с тем эта система имеет тенденцию превращать рабочего в живую машину посредством крайней специализации, весьма далеко идущего разложения трудового процесса на элементарно простые операции, при чем рабочему приходится проделывать только одну какую-либо элементарно простую операцию, сводящуюся к выполнению некоторых простых движений. Система Тэйлора, применяемая в буржуазных государствах в интересах капиталистического класса, легко переходит в злоупотребление научным методом и весьма часто вырождается в один из способов «выжимания пота».

Но в применении к умственному труду вся эта оборотная сторона системы Тэйлора теряет свое значение. Освобождая научного работника от простой механической работы мозга и побуждая его тем самым к работе более сложного характера, мы отнюдь не заставляем его сильнее напрягать свои силы. Вследствие своеобразного характера умственного труда именно простая механическая работа является наиболее утомительной, тогда как работа высшей квалификации в большинстве случаев утомляет значительно менее.

Здесь мы подходим к проблеме монотонности труда и к проблеме утомляемости. Обе эти проблемы по отношению к умственному труду разрешаются иначе, нежели по отношению к труду физическому.

Вопрос об утомлении издавна является предметом многочисленных исследований психологов и физиологов. Утомление—это состояние организма, которое характеризуется понижением работоспособности, а также желания работать. Такое состояние организма является естественным и нормальным следствием ежедневно выполняемой работы; чувство усталости служит как бы сигналом о затраченной организмом энергии и о необходимости перейти к покою. Таким образом, чувство усталости является защитным приспособлением, предохраняющим организм от преждевременного изнашивания. При этом ежедневный отдых должен полностью покрывать расход энергии и восстанавливать силы. В случае систематической чрезмерной работы отдых не покрывает полностью расхода энергии; каждый день такой работы дает некоторый остаток утомления, при чем симптомы утомления все накопляются. Возникает состояние переутомления организма; последнее уже не проходит от обычного отдыха. Кроме того, переутомление связано с перевозбуждением организма. Такое состояние повышенной возбуждаемости на-ряду с крайним уменьшением выносливости в работе дает все симптомы болезни, называемой неврастенией, которая и есть, собственно, хроническая усталость, болезнь утомления.

Во время мускульной работы возникает усиленный обмен веществ, при чем продукты этого обмена скопляются в мышцах. Вещество мышц изменяет свой характер и становится «кислым». Эти продукты обмена веществ удаляются из организма обычными путями, т.-е. посредством промывания кровью через легкие, потовые железы, почки. Но если скорость образования продуктов обмена, зависящая от интенсивности производимой работы, превышает скорость их удаления из организма, тогда возникают более или менее значительные скопления продуктов обмена и распада веществ в организме. Но эти продукты обмена обладают ядовитыми свойствами и вредно влияют на организм. Известно, что спиртовая вытяжка из усталой мышцы, впрыснутая свежему животному, вызывает у него усталость. Таким образом, скопление продуктов обмена при интенсивной работе приводит к самоотравлению организма, которое и проявляется в состоянии усталости. Точно так же и умственная деятельность приводит к накоплению подобных ядовито действующих продуктов обмена и распада содержащих фосфор белковых веществ. В часы отдыха после работы все эти вредные вещества удаляются из организма и нормальное состояние организма восстанавливается. Прежде думали даже, что мускулы во время работы выделяют особые специфические токсины, отравляющие организм.

В последнее время ионная теория мышечных и нервных процессов, разработанная Нернстом, Лебом и П. П. Лазаревым, проливает свет на вопрос о характере продуктов обмена веществ при возбуждении нервов и мышц и о способе действия этих веществ на организм. Ионная теория раздражения имеет еще то преимущество, что она может об'яснить, почему состояние переутомления связано с перевозбуждением.

Ионная теория исходит из того, что мускулы и нервы состоят из белковой ткани, пропитанной раствором солей. Эти соли находятся в весьма разжиженном состоянии и поэтому разделены на ионы. Под влиянием различных раздражителей, как-то: электрический ток, тепло, химические агенты и т. п. происходит передвижение ионов, скопление ионов около полупроницаемых перегородок клеток, и иногда увеличение общего количества ионов, следствием чего является возбуждение мышцы или нерва.

Рассмотрим, например, ионную теорию световых ощущений. Физиология принимает, что специфическим светочувствительным веществом является так называемый зрительный пурпур. Это вещество под действием света «выцветает», т.-е. разлагается, и это разложение светочувствительного вещества вызывает раздражение окончаний зрительного нерва, что и является непосредственной причиной возникновения световых ощущений. Скорость выцветания зрительного пурпура, т.-е. количество краски, разложенной под действием света, пропорционально поглощенной энергии. Всякое фотохимическое разложение вещества в растворах сопровождается выделением электронов из нейтральных молекул. Таким образом, результатом действия света на глаз является увеличение количества ионов, пропорциональное скорости разложения краски, при чем скорость разложения, в свою очередь, пропорциональна количеству поглощенной энергии. Ионы при повышенной концентрации действуют на нервы раздражающе и вызывают возбуждение. На-ряду с этим происходят также процессы удаляющие из сетчатой оболочки продукты распада пу-

тем химических реакций, путем соединения ионов в молекулы и т. п.; эти процессы восстановляют специфическое светочувствительное вещество глаза. В темноте действуют исключительно эти вторые, восстановительные процессы.

Таким образом, мы видим, что в данном случае продукты распада, «ядовитые вещества», «токсины», вызывающие утомление глаза, представляют собою не что иное, как длящееся повышение концентрации ионов.

Если действие света очень сильно и длительно и если периоды отдыха глаза слишком коротки и недостаточны для рассасывания ионов и восстановления зрительного пурпура, получается явление сильного утомления глаза, которое сопровождается вместе с тем его возбуждением, при чем и то и другое об'ясняется повышенной концентрацией раздражающих ионов. Понятно, что при длящейся повышенной концентрации ионов глазной нерв возбужден; вместе с тем он не может с прежней чувствительностью реагировать на новые возбуждения и, следовательно, работоспособность глаза понижена. Таким образом, согласно теории, утомление органа означает его длящееся возбуждение, замедленный процесс восстановления и рассасывания ионов, что приводит к понижению его чувствительности и работоспособности.

Суб'ективные ощущения усталости далеко не всегда дают правильные показания относительно состояния организма, и во всяком случае эти показания носят весьма неточный характер. Поэтому принято как умственное, так и физическое утомление измерять посредством об'ективных методов физиологического и психологического характера. Из инструментов, служащих для измерения утомления, наиболее известным является эрограф, изобретенный итальянским ученым Моссо. Эрографический метод заключается в следующем: нижняя часть руки от локтя до кисти, а также самая кисть и пальцы укрепляются неподвижно ладонью вверх, при чем только один средний палец остается подвижным. Средний палец может сгибаться и разгибаться, и при каждом сгибании он поднимает висящую на нитке гирьку. К этому аппарату приспособлен самопишущий прибор: на вращающемся барабане получается кривая—эрограмма, на которой каждое поднятие гирьки обозначено вполне отчетливо. Испытуемое лицо должно непрерывно сгибать и выпрямлять средний палец и тем самым поднимать и опускать гирьку в течение определенного времени или же до тех пор, пока это возможно. При этом на барабане вычерчивается соответствующая эрограмма. Эрограмма какого-либо лица до и после выполнения им утомительной работы обнаруживает резкие различия. За меру утомления принимают, во-первых, число поднятий, которое в силах сделать испытуемое лицо, и, во-вторых, сумму высот отдельных поднятий. Усовершенствованные эрограммы автоматически регистрируют высоты поднятий и показывают их сумму.

При опытах с этим прибором установлено, что в высоте под'емов гирьки и соответственно в высоте петель эрограммы отражается мышечная работа и мышечная усталость. В длине эрограммы отражается работа психомоторного центра и умственная усталость.

Недостаток этого прибора заключается в трудности достигнуть строго одинакового положения руки при различных опытах,

а также в том, что в сгибании пальца принимает участие много различных мускулов; при этом найдено, что по мере возрастания утомления пальца все новые группы мускулов принимают участие в движении. Поэтому существует ряд других методов измеряющих состояние утомления: измерения дыхания и пульса давления крови, измерения длительности психических процессов, производство испытательных работ до и после утомления и т. д.

Особенный интерес вызывает влияние монотонности работы на утомляемость.

Известно, что качество и количество производимой работы в сильной степени зависит от интереса к работе, от желания работать. Между тем монотонная работа весьма скоро становится скучной, интерес совершенно утрачивается, внимание притупляется, и работу продолжают с отвращением. Результаты работы при этом понижаются гораздо сильнее, нежели они понижались бы только под влиянием одного утомления. В известных границах это справедливо по отношению к физическому труду, но особенно сильно влияет монотонность на результаты умственного труда.

Однообразная физическая работа может легко и скоро превращаться в автоматическую, т.-е. выполняться без участия воли и внимания; при этом высшие нервные центры выключаются из участия в работе. Высшие нервные центры бывают вовлечены в движение при наличности волевого напряжения; но их работа вовсе не обязательна для выполнения требуемых движений. При выполнении однообразных движений все излишние для этих движений части психофизического аппарата могут быть выключены, и движения будут совершаться автоматически даже лучше, нежели при участии воли и внимания. Но при таком разгружении центральной нервной системы достигается весьма существенная экономия сил и ослабление усталости. Между тем монотонные умственные операции только в редких случаях могут выполняться без участия воли и сознания.

Чувство монотонности, однообразия умственной работы само по себе родственно с чувством усталости. При длящейся монотонной умственной работе возникает чувство раздраженности, надоедливости, желание освободиться от докучливой работы,—одним словом, монотонная умственная работа подвергается психическому торможению, при чем возникает чувство утомления. Стремление бороться с этим чувством, напрягая волю и внимание, может легко привести к состоянию переутомления. Наоборот, если работа возбуждает актуальный интерес, если она проходит с под'емом, то человек забывает об усталости, его организм находит как бы новые силы для успешного продолжения и окончания работы.

Откуда берутся эти силы? Некоторые психологи отвечают, что они берутся из скрытых запасов организма.

«Итак, воля пробуждает новые психические силы,—говорит Оффнер [1]). Воля не создает этих сил, она только пускает в оборот новую часть имеющегося капитала, еще раз раскрывает кладовые и вынимает то, в чем организм в данный момент нуждается для выполнения работы».

[1]) Оффнер, Умственный труд и утомляемость.

По мнению Оффнера, такая повышенная трата сил должна вызвать реакцию в виде крайнего утомления, которая и должна сказаться после того, как пройдет состояние душевного под'ема.

Однако это мнение Оффнера и некоторых других психологов не выдерживает критики. Совершенно не верно, что в состоянии экстаза и в состоянии психического угнетения человек обладает одним и тем же запасом энергии и сил для совершения работы; неверно и то, что в первом случае расходуется ранее накопленный физиологический капитал, а во втором случае чувство усталости является только кажущимся, а в действительности силы остаются неизрасходованными.

Д-р Левицкий [1]) утверждает, что граница утомляемости не является чем-то абсолютным, но передвигается в зависимости от психического состояния, под влиянием экстаза в одну сторону, под влиянием угнетения, подавленности—в другую. Известно, что эмоции могут устранить чувство утомления, заставить забыть о нем. Но устранение чувства усталости означает ли об'ективно устранение самой усталости? В значительной степени—да!—отвечает д-р Левицкий. Усталость в работе, проведенной с эмоциональным под'емом, значительно меньше той, которая должна была бы быть при отсутствии под'ема или же при отрицательной эмоции.

Особенно в широком масштабе изменяются границы утомляемости опять-таки для умственного труда. Умственное переутомление возникает почти всегда в результате неприятной монотонной работы, к которой необходимо себя приневоливать; наоборот, в случае интересной работы, производимой с увлечением, можно работать весьма много без всякого вреда для организма. Вполне понятно, поэтому, что такая игра, как шахматы, требующая значительного психического напряжения, может служить действительным отдыхом для утомленных работников умственного труда.

Итак, мы приходим к тому, что граница утомляемости для умственного труда передвигается в широких пределах; монотонная умственная работа весьма суживает эти пределы и легко приводит к психическому торможению и переутомлению. Те изолированные умственные операции, о которых идет речь, только в ничтожной части могут выполняться автоматически, без участия внимания и, наоборот, почти всегда требуют значительного умственного напряжения. Таким образом, монотонный, наименее квалифицированный умственный труд оказывается наиболее утомительным. Отсюда следует, что задача рационализации умственного труда заключается прежде всего в разгрузке работника умственного труда от монотонной работы. Такая разгрузка всего легче может быть достигнута с помощью специальных машин и аппаратов, механически дающих результаты умственных операций.

Усовершенствование научных методов приводит к тому, что задачи, разрешение которых ранее требовало затраты остроумия и изобретательности, решаются однообразными приемами, механически, по шаблону. Каждое сведение решений какого-либо типа задач к простому механическому приему является большим научным успехом. Вместе с тем разрешение подобных задач

[1]) Левицкий, Умственный труд и утомляемость, изд. Цектрана, 1922 г.

становится монотонной умственной операцией. Задачи, имеющие то или иное практическое значение, приходится в настоящее время разрешать в массовом масштабе. Массовое решение задач определенного типа может быть выделено в особую специальность; однако работнику умственного труда нет никакой надобности специализироваться на выполнении какой-либо одной монотонной операции, так как к каждой такой операции может быть приспособлена специальная машина. Для того, чтобы сделать возможным введение такой машины, операция разрешения задачи должна быть разложена на элементарно простые операции и только после этого могут быть найдены те механические приспособления, которые могут заменить эти элементарные умственные процессы.

В настоящее время во всякой науке весьма далеко проведено деление на специальности, и каждый научный работник должен работать в весьма узкой специальной области. Однако узкая специализация научной работы не имеет ничего общего с монотонностью работы. Специализация в науке сводится к тому, что каждая специальная область разрастается в весьма обширный предмет. То, что стоящему в стороне кажется весьма узкой специальностью, в действительности представляет собою целый особый мир идей. Каждая «узкая специальность» имеет свою историю, своих героев, своих великих людей. Поэтому научная деятельность узкого специалиста в пределах своей специальности может быть весьма разносторонней; при условии разгрузки от механической монотонной работы, узко специальная работа может быть проведена с большим интересом и под'емом. А это имеет большое значение, так как производительность и интенсивность труда весьма сильно зависят от интереса к работе.

Во всякого рода промышленной деятельности надо различать две стороны: производительность труда и интенсивность труда. Производительность труда зависит от общей постановки производственных процессов, от правильной организации, от усовершенствованных инструментов, рациональных приемов работы и т. д. Интенсивность труда—это то количество энергии, которое организация трудового процесса требует от работника. Эти две стороны принципиально различны [1]). Улучшение постановки дела, усовершенствование инструментов может привести к тому, что при прежней затрате трудовой энергии работника количество выработанного продукта значительно увеличится.

Введение машин, заменяющих умственный труд, в сильной степени повышает производительность, при одновременном уменьшении интенсивности труда. Машина прежде всего непосредственно повышает производительность труда: она дает готовые результаты умственных операций значительно быстрее, нежели их можно получить путем мозговой работы. На-ряду с повышением производительности труда падает его интенсивность, так как то напряжение внимания, которого требовало выполнение монотонных умственных операций, оказывается более ненужным. Далее, машина еще более повышает производительность умственного труда косвенно тем, что энергия, которая ранее затрачивалась на вы-

[1]) См. Ерманский, Научная организация труда.

полнение монотонного труда, может расходоваться более целесообразно. Наконец, благодаря освобождению от монотонной работы, устраняется психическое торможение и повышается интерес к труду, а, следовательно, опять-таки увеличивается производительность.

Итак, для возможности замены умственного труда машиной необходимы следующие условия: во-первых, усовершенствование научных методов, приводящее к тому, что задачи определенного типа разрешаются однообразными механическими приемами. Во-вторых, необходимость разрешения в массовом масштабе определенного рода задач, что только и может сделать экономически возможным введение машины. В-третьих, разложение однообразных, но сложных приемов решения задач на совершенно элементарные операции. В-четвертых, развитие техники должно быть достаточным для того, чтобы могли быть сконструированы прочные дешевые и удобные аппараты.

3. Типы математических автоматов.

В заключение сделаем краткий обзор важнейших типов автоматических приспособлений, заменяющих умственный труд. При таком обзоре бросается в глаза, как уже было указано, что все аппараты, приносящие действительную пользу, имеющие применение на практике, приспособлены к выполнению весьма узкого круга специальных операций. Все инструменты, претендующие на универсальность, всякого рода бьющие на сенсацию «мыслящие машины» практически оказываются ни к чему не пригодны.

Характерным образцом весьма совершенной механической конструкции, приспособленной к выполнению специального круга операций, является арифмометр (счетная машина); точно так же характерным образцом монотонной механической умственной работы, требующей, однако, значительного напряжения, являются операции счета.

Операции счета, несомненно, имеют формальный характер; следствием этого является широкое распространение счетной машины. Мышление в целом не имеет формального характера: следствием этого является то, что логическая машина не имеет никаких применений, точно так же, как и логическое исчисление.

Устройство арифмометров основано на разложении процесса счета на элементарно-простые операции и на распределении таких операций между различными частями механизма. Было бы весьма легко об'яснить устройство арифмометра посредством того же приема, к какому мы прибегли для об'яснения устройства логической машины. Было бы легко показать, как могут быть операции счета распределены между несколькими неквалифицированными счетчиками, выполняющими элементарно простые операции, а затем показать, как эти неквалифицированные счетчики могут быть заменены счетным механизмом. Но эти технические подробности в данном случае для нас существенного значения не имеют.

Кроме счетных машин, приспособленных к выполнению четырех действий арифметики, существуют машины, приспособленные к еще более узкому кругу операций. В конторах и банках весьма распространены аппараты, приспособленные преимущественно к операции сложения, при чем здесь операция счета соединяется с печатанием слагаемых цифр и итогов.

Другим типом специальных счетных машин являются дифференциальные машины (Баббеджа и Шейца), приспособленные к вычислению математических рядов и применяющиеся для составления различного рода математических таблиц. То применение разделения труда при выполнении умственных операций, которые мы рассматривали, как вспомогательный фиктивный прием, было осуществлено в действительности и притом в грандиозном масштабе. А именно, своего рода «живой арифмометр» был организован при составлении полных логарифмических и тригонометрических таблиц, по поручению правительства первой французской республики.

В то время арифмометры хотя и существовали, но они были еще мало усовершенствованы и мало пригодны для практического употребления; все вычисления производились при помощи логарифмических таблиц. Однако капиталистическое развитие приводило к тому, что финансовые операции, строительные и экономические предприятия выражались такими огромными числами, что существовавшие логарифмические таблицы оказывались мало пригодными. Поэтому, по поручению правительства республики, был предпринят грандиозный труд составления новых таблиц. Над составлением таблиц работало целое общество квалифицированных и неквалифицированных работников, при чем самым строгим образом было применено то, что мы называем в настоящее время научной организацией труда.

Работа велась под руководством математика Прони. Все работники были разделены на три отделения. Первое отделение состояло из пяти математиков высшей квалификации. На их обязанности лежало нахождение аналитических формул для скорого вычисления по ним логарифмов. Во втором отделении работали менее квалифицированные математики; они должны были заполнять буквы в формулах цифрами и таким образом подготовлять материал для окончательного подсчета. Третье отделение заключало до 80 человек неквалифицированных счетчиков и представляло собою как бы «живой арифмометр». Эти восемьдесят человек производили только первые арифметические действия, при чем большинство счетчиков производило исключительно сложение. При этом был обнаружен интересный факт: именно наименее квалифицированные счетчики, производившие только сложение, делали всего менее ошибок. В результате были получены многозначные логарифмические и тригонометрические таблицы, обнимавшие 17 томов in folio.

Когда в двадцатых годах XIX столетия в Англии понадобилось составление новых морских таблиц, то взамен такой громоздкой кооперации математиков и счетчиков математик Баббедж предложил изобретенную им машину для вычисления различного рода таблиц. Изобретение Баббеджа основывалось на том факте, что всякие математические ряды могут быть получены путем повторного сложения, а всякого рода таблицы представляют собою не что иное, как ряды, в которых каждая последующая цифра получается из предыдущей на основании определенного закона. После же сведения вычисления рядов к сложению, действие уже легко поддается механизации. Машина Баббеджа

потребовала затраты весьма больших средств, и поэтому не была закончена; позднее Шейц сконструировал машину для вычисления таблиц по принципу Баббеджа.

Другой тип автоматических приспособлений представляют собой интеграфы или аппараты для механического интегрирования различных функций.

Существует способ решения арифметических и алгебраических задач графическим путем; вместо того, чтобы решать данную задачу путем длинных и утомительных вычислений, во многих случаях бывает выгодно выполнить некоторое геометрическое построение, которое и дает искомое решение. Точно так же путем геометрического построения могут быть получены интегралы различных функций.

Правда, графический способ дает не абсолютно точное решение задачи, но с некоторым приближением; однако на практике, все равно, весьма редко удается выразить аналитически условия задачи совершенно точно. Если же условия задачи выражены аналитически с приближенной точностью, то аналитическое решение задачи не имеет никакого преимущества в точности по сравнению с графическим решением. Кроме того, точное аналитическое решение задачи бывает возможным только в случае простых функций. Между тем преимущество графического способа решения задач заключается в том, что процесс выполнения нужного построения может быть механизирован, т.-е. произведен автоматическим аппаратом.

Устройство интеграфов основано на следующем принципе: если мы имеем кривую, представляющую графически функцию $y=f(x)$ и если точка P движется по этой кривой, то можно связать с точкою P посредством передаточного механизма другую точку Q, которая будет описывать в то же время кривую $v=\int f(x)dx+C$. При этом ордината второй «интегральной» кривой во всякий момент будет численно равна интегралу заданной кривой, т.-е. интегралу той части заданной кривой, которая уже пройдена точкой P. Таким образом, в то время как обводят штифтом контур заданной кривой, другое острие аппарата вычерчивает интегральную кривую. Кинематическое условие, связывающее движение точек P и Q, довольно просто, так что и устройство приборов, механизирующих графический способ нахождения интегралов, в принципе не является сложным. Однако и здесь мы имеем дело с тем явлением специализации аппаратов, о котором неоднократно упоминалось. Прибор, пригодный для интегрирования всякой функции $y=f(x)$, мало применим на практике. Для отдельных специальных функций, когда работа с ними носит массовый характер, устраиваются специальные интегрирующие приборы с более усложненным механизмом, которые и выполняют свою задачу с большею точностью и удобством.

Третий тип аппаратов, широко применяемых на практике, это аппараты, связанные с исследованием кривых. Во многих научных дисциплинах, как, напр., в физике, астрономии, физиологии и д., весьма большую роль играют всякого рода самопищущие приборы, дающие точный отчет о ходе тех или иных процессов. Но после того, как эти кривые получены, они должны быть подвергнуты исследованию, измерению, расшифрованию,

а это весьма кропотливая, монотонная и утомительная работа. Здесь также существуют крупные достижения в деле механизации этой монотонной работы. Наиболее замечательным из аппаратов указанного типа является гармонический анализатор кривых, автоматически разлагающий сложную кривую на ряд синосоид, согласно известной теореме Фурье. Первый анализатор кривых был построен известным физиком Кельвином; в настоящее время существует много систем подобных аппаратов, и они пользуются значительным распространением. Здесь также можно наблюдать специализацию аппаратов и приспособление их к определенным узким задачам. Были попытки сконструировать аппараты универсального типа для исследования кривых (как, например, универсальный диаграммометр Козлова), но оказались на практике совершенно непригодными.

Мы не ставим своей целью дать сколько-нибудь полный обзор всего того, что достигнуто техникой в указанном направлении. Мы рассмотрели важнейшие, наиболее употребительные типы автоматических аппаратов и убедились в том, что они имеют огромное значение для рациональной, научной постановки умственного труда. Считать без арифмометра, исследовать кривые без помощи специальных измерителей и анализаторов, прибегать во всех случаях к аналитическим приемам интегрирования и решения других задач—это значит варварски непроизводительно расточать мозговую работу. Вместе с тем мы убедились, что рациональная организация умственного труда сводится не к «механизации мышлений», которая и по существу невозможна, но именно к уничтожению загрузки мыслящего ума выполнением различного рода чисто формальных операций.

К постановке проблемы обоснования евклидовой геометрии.

З. Цейтлин.

I.

Древне-греческая концепция пространства. Постулат бесконечности. Древне-греческие мыслители, за исключением Платона и, быть может, Пифагора и Демокрита, безусловно отрицали пустоту и считали пространство неразрывно связанным с материей. Вот почему апейрон Анаксимандра и бытие Парменида, означая бесконечную единую материальную субстанцию, выражают вместе с тем и древне-греческое понятие пространства; но выражают диалектически—путем отрицания существования «чистого пространства».

Апейрон, как бесконечное и неопределенное, есть лишь абстракция от конкретной, бесконечной и определенной материи.

«Бытие Парменида,—пишет Таннери (стр. 214),—это протяженная субстанция, об'ект чувств; это картезианская материя; небытие у него—чистое пространство, абсолютная пустота, протяженность, недоступная восприятию».

Древние греки считали таким образом пространство об'ективной реальностью, единой (однородной), непрерывной и бесконечно протяженной сущностью, основной формой бытия материи, неразрывно связанной с материей.

Первый, кто совершенно отчетливо формулировал эту концепцию, был Анаксимандр. Доксограф Теофраст говорит:

«Из допускающих единое, движущееся и бесконечное (начало) Анаксимандр, сын Праксиады из Милета, ученик и последователь Фалеса, утверждает, что бесконечное есть начало и материальная причина «всего».

Таннери выставляет следующий тезис: «Анаксимандр мыслил бесконечным время, но не пространство», тезис, который необходимо решительно отвергнуть. Сам Таннери указывает: «Аристотель, а за ним Теофраст и все доксографы приписывают термину «апейрон» Анаксимандра значение бесконечного».

Таннери пытается оспорить авторитет Аристотеля на том основании, что понятия Аристотеля о пространстве «не отличаются ни ясностью, ни точностью». С этим утверждением Таннери согласиться невозможно. Аргумент Таннери, что для Аристотеля «бесконечное пространство имеет только суб'ективную ценность математического понятия, а об'ективное пространство есть лишь место материи и, как таковое, конечно, но его учению», основан на неучете формально-эклектического характера системы Аристотеля. Аристотель, этот, по замечательному выражению Бэкона, «трус и храбрец (pusillanimus simul et audax)», постоянно приспособлялся к народному мировоззрения и всячески запутывал свою философию. В действительности же Аристотель, отрицая «пустоту» (которую, по признанию самого Таннери, Аристотель считал бесконечной), рассматривал материю как бесконечное начало мира. Вот почему свидетельство Аристотеля об Анаксимандре мы считаем правильным. Это тем более так, что понятие бесконечности пространства существовало у греческих философов задолго до Аристотеля. Неужели же можно полагать, что Аристотелю оно было неясно?

Таннери пишет, например (стр. 125): «Однако, в отличие от милетского физиолога (Анаксимандра), самосский геометр (Пифагор) имел точное понятие о бесконечности пространства, которое за пределами космоса он наполнил беспредельной «пневмой». По крайней мере так понял Пифагора Аристотель. Таннери выставляет следующие важные тезисы [1]) (стр. 126):

1. К Пифагору восходит возникновение научного понятия о пространстве, как непрерывном внутри космоса и беспредельном вне его.

2. Пифагор обозначил обе стороны этого понятия (безграничное внутри космоса—неопределенное и безграничное вне космоса—бесконечное) посредством одного термина «апейрон», употреблявшегося уже Анаксимандром в более узком смысле. Таннери указывает, что пифагорейская школа «осталась верной учению о бесконечности». Он отмечает, между прочим, знаменитый аргумент пифагорейца Архита о человеке на краю неба неподвижных звезд, простирающим руку наружу.

Таннери отмечает также Ксенофана и других философов, которые допускали бесконечность материи и пространства. С другой стороны, согласно Таннери, Анаксимен и Парменид, например, отрицали бесконечность материи и пространства. Не входя в обсуждение этих утверждений Таннери (его оценку учения Парменида мы считаем безусловно неправильной, так же, как и истолкование апейрона Анаксимандра), мы констатируем лишь два факта: 1) понятие бесконечности пространства и материи было превосходно известно греческим мыслителям, 2) это понятие подвергалось оживленному обсуждению, при чем существовали различные точки зрения на этот вопрос. Мы лично полагаем, что подавляющее большинство греческих философов считали материю бесконечной и неразрывно связанной с бесконечным пространством.

Ограниченность материи и пространства соответствовала народному мировоззрению, с которым боролись философы («истина и мнение» Парменида) и к которому некоторые из них старались приспособиться путем тонких уловок, как, например, Аристотель. Как бы там ни было, но в основе «Начал» Евклида, как мы покажем, бесспорно лежит понятие бесконечности пространства. Евклид, кроме того, стоял на точке зрения, незыблемо установившейся после Зенона в широких кругах ученых и философов.

---

[1]) Мы не считаем эти тезисы полностью правильными, но в данном случае это неважно.

Таннери так характеризует эту точку зрения:

«Как и Парменид, Зенон всегда исходит из конкретного. Он понимает всякое бытие, как телесное и протяженное». «Зенон отрицал, что точки, следовательно, и линии поверхности суть вещи, существующие в действительности. Однако это вещи в высшей степени мыслимые. Итак, с тех пор положено окончательное разграничение точек зрения геометрической и физической».

Борьба Парменида против «не-бытия». Постулат непрерывности. Геометрическое пространство только абстракция («мыслимая вещь») от реально протяженной бесконечной материи. Но эта абстракция реальна постольку, поскольку она отражает действительность, ибо «слово и мысль должны быть бытием, ибо бытие есть, а небытия нет» (Парменид, см. Таннери, Приложение, стр. 72). Но абсолютная пустота есть небытие и «никоим образом нельзя доказать, что небытие существует» (Парменид, там же). Парменид заключает поэтому (Приложение, стр. 72): «Остается еще один путь, допускающий существование бытия. На этом пути находится не мало признаков, говорящих, что бытие безначально, неуничтожаемо, однородно, спокойно и бесконечно». Борьба Парменида против «небытия», т.-е. абсолютной пустоты, имеет большое значение для понимания «Начал» Евклида. Отрицание «не-бытия» не что иное, как утверждение принципа непрерывности. Древние греки уже обладали той концепцией, которая ныне известна в науке под названием «пространства Евклида» [1]).

Постулат однородности пространства. Постулат однородности «начала» или «первой материи» мира был впервые формулирован Фалесом. В нем нашла свое выражение одна из основных идей древне-греческой философии—идея единства. Самая замечательная формулировка этой идеи принадлежит Анаксимандру (апейрон), который, считая «первую материю» однородной (неопределенной), вместе с тем полагал, что основа многообразия мира—движение. С тех пор греческие философы очень много спорили по вопросу о единстве и множестве, однородном и разнородном. Парменид проповедывал, что множество это только «мнение», «видимость», «истина» же в единстве. Вся диалектика Зенона направлена была на защиту «истины» о единстве против «мнения» о множестве. Если принять во внимание идею Анаксимандра о движении, как источнике многообразия (качеств), учение Гераклита о всеобщем изменении, можно полагать, что взгляды Парменида и Зенона сильно приближались к тем, которые совершенно отчетливо формулировал Декарт. Парменид и Зенон в действительности боролись (заостряя борьбу до парадоксальности) не против множественности и движения вообще, а против метафизического понимания этих понятий. Метафизики, именно, всегда полагают, что множественность (прерывность) абсолютно противоречит единству (непрерывности), однородное—разнородному, движение—покою. Древне-греческие диалектики доказывали, что эти будто бы взаимно исключающие друг друга понятия на самом деле мирно уживаются друг с другом и равно необходимы для понимания мира.

[1]) Кассирер (см. «Познание и действительность», стр. 96) совершенно правильно подчеркивает, что «Эфодион» Архимеда показывает с полной ясностью, как там, где греческое мышление шло свободно по пути методологических открытий, оно глубоко проникалось понятием о непрерывности и предвосхитило даже основной прием анализа бесконечно-малых.

II.

В древне-греческой концепции материи и пространства проявляется материализм древне-греческой философии. Что касается диалектики, достаточно вспомнить гегелевскую оценку Зенона, как того, кто учил человечество диалектике.

Но подавляющее большинство математиков, занимавшихся и занимающихся проблемой параллельных, обнаруживают блестящее непонимание как древне-греческого материализма, так и диалектики. Математики—это вообще метафизики по профессии. Постоянное пребывание в кругу самых тощих абстракций делает математическое мышление метафизическим par excellence. Мы приведем несколько примеров этой метафизики в связи с анализом «Начал». Евклид предпосылает изложению геометрии ряд определений, постулатов и аксиом. Вот самые существенные:

Определения:

1. Точка есть то, что не имеет частей.
2. Линия есть длина без ширины.
3. Границы линии суть точки.
4. Прямая линия есть та, которая одинаково расположена относительно всех своих точек.
5. Поверхность есть то, что имеет голько длину и ширину.
6. Границы поверхности суть линии.
7. Плоскость есть поверхность, которая одинаково расположена относительно всех своих прямых.
8. Телом называется то, что имеет длину, ширину и глубину.
9. Пределы тела суть поверхности.

Постулаты.

Требуется, чтобы

1. От каждой точки до другой можно было провести одну прямую.
2. Ограниченную прямую можно было продолжить до бесконечности.
3. Из любого центра можно было описать окружность любым радиусом.
4. Все прямые углы были равны.
5. Если прямая при пересечении с двумя другими прямыми образует с ними внутренние односторонние углы, которые вместе меньше двух прямых, эти прямые, будучи продолжены неограниченно, пересекались с той стороны, с которой лежат углы, которые вместе меньше двух прямых.

Аксиомы:

1. Равные одному и тому же равны между собой.
2. Если к равным прибавить равное, то суммы будут равны.
3. Если от равных отнять равное, то остатки будут равны.
4. Целое больше своей части.

Существуют различные варианты евклидова списка определений постулатов и аксиом, но вышеприведенный мы считаем наиболее правильным. Математики, анализируя этот список, на-

ходят его чрезвычайно слабым в смысле строгого обоснования и геометрии. Вот, например, отзыв Таннери: «Совершенно несомненно, что это начало не соответствует высоким достоинствам самого сочинения: насколько расположение задач и теорем первой книги представляет собою образец законченного искусства, глубоко продуманной и методически выраженной системы, хотя, быть может, и несколько искусственной, настолько формулировка основных положений, которая должна была быть особенно тщательно установлена, страдает недостатком связности и даже странной небрежностью». Отзыв Таннери мы считаем в высшей степени удивительным. Таннери—один из самых лучших знатоков греческой философии и кому, как не ему, понять глубокую продуманность и методическую выдержанность основных положений Евклида, непосредственно вытекающих из основной древне-греческой концепции пространства. Но Таннери, оторвав систему Евклида от этой концепции, недоумевает насчет мнимой небрежности и недостатка связности. Неудивительно поэтому, что те, которые не могут соперничать с Таннери в знании древне-греческой философии, дают неправильную оценку основных положений Евклида. В. Ф. Каган пишет, например [1]), повторяя Таннери: «Основания, на которых построена его система, чрезвычайно слабы. Его основные определения не имеют никакого значения». Проф. Богомолов находит [2]), что отсутствие перечня первоначальных понятий, которые могли бы послужить твердой основой для первых же определений, делает последние одним из самых уязвимых мест «Начал». В. Ф. Каган считает чрезвычайно странным, каким образом в число постулатов попало положение о равенстве прямых углов. С. А. Богомолов подчеркивает тот недостаток, что для одних и тех же понятий дается по два различных определения, например, определение первое и третье—точки, второе и шестое—линия, пятое и девятое—поверхности. Мы считаем эту критику Евклида очень смелой. Древние греки—непревзойденные мастера систематического мышления, глубокого и тонкого логического анализа. Трудно допустить, чтобы «Начала», являющиеся гениальным итогом классического периода греческой мысли, действительно были построены на столь слабом фундаменте, как это утверждают критики. Мы покажем, что пренебрежение классической древне-греческой концепцией пространства и древне-греческой диалектикой является причиной непонимания смысла основных положений Евклида. Впрочем, дело здесь не столько в непонимании, сколько в том, что современные математики, стоящие на точке зрения чистой логики, в корне отрицают всю методологическую установку Евклида.

В. Ф. Каган, например, в речи «Задачи обоснования геометрии в современной постановке» (1908 г.) выражается так: «Выяснилось, что неудовлетворительность существующих геометрических систем, их недостаточная логическая обоснованность именно в том и коренится, что все основные понятия и постулаты так определялись, так устанавливались, что они были пригвождены к одному манекену, к одному многообразию, к так называемому эмпирическому пространству».

[1]) См. «Основания геометрии», т. I.
[2]) «Основания геометрии», стр. 11.

В. Ф. Каган полагает, что «математические теории представляют собой, действительно, строго формальные дисциплины, продукт свободного творчества человеческого духа, руководимого лишь соображениями целесообразности, а не необходимости» (Основания геометрии, т. I, стр. 61), что «геометрия не связана с той системой образов, которую, быть может, тоже неправильно, называют эмпирическим пространством», что она, напротив, «представляет лишь ряд соглашений, которыми мы удобно выражаем обширную категорию соотношений между физическими телами» (Речь, стр. 32). В этих формулировках с полной отчетливостью выявляется различие метода Евклида и метода современных математиков-логистов. Эти математики не только строят неевклидову геометрию, но и геометрию антиевклидову.

* * *

Нет возможности что-либо понять в основных положениях Евклида, если не принять во внимание, что они направлены против учения пифагорейцев. Пифагорейцы впервые выдвинули понятие абсолютной пустоты («небытие») и полагали, что точка есть единица, занимающая положение в пространстве, т.-е. метафизический атом. Таннери утверждает, что «небытие (абсолютная пустота) было прибавлено к бытию только атомистами». Но тогда непонятна решительность, переходящая в парадоксальность, с которой Парменид ополчился на «небытие». Мы считаем, что пифагореизм и метафизический атомизм—доктрины родственные и что учение Парменида и диалектика Зенона направлены были именно против атомизма пифагорейцев. Сам Таннери указывает, впрочем, что «отрицание Зеноном множественности направлено против понятия точки у пифагорейцев». Из этого понятия «непосредственно вытекает, что геометрическое тело есть множественность, сумма точек, как число есть множественность суммы единиц» (Таннери, стр. 250).

Евклид же определяет тело, как то, что имеет длину, ширину, глубину. Из этого определения видно, что в основе Евклидовой концепции пространства лежат понятия протяженности (непрерывности) и направления. Пространство есть абстракция от реально непрерывной (протяженной) трехмерной материи. Из такого понимания пространства непосредственно вытекает то понимание точки, линии и поверхности, которые мы находим в определениях Евклида. Мы уже отметили трехкратную двойственность (определения точки, линии и поверхности), которая имеется у Евклида. Случайно ли Евклид три раза повторяет двойное определение геометрических понятий? Мы считаем утверждение о случайности слишком смелым, так как оно в конечном счете сводится к тому, чтобы считать Евклида человеком, не имевшим никакого понятия о греческой философии. Но Евклиду эта философия была прекрасно известна и в его определениях имеется вполне ясный смысл, который нетрудно обнаружить.

В противовес учению пифагорейцев Евклид полагает, что точка не что иное, как абстракция от трех измерений пространства (длины, ширины и глубины), т.-е. абстрактное огри-

цание понятий протяженности и направления: точка есть то, что не имеет частей. Если же отрицать глубину и ширину, мы получим абстрактное понятие линии: линия есть длина без ширины (и глубины). И вот, чтобы не было никаких сомнений в том, как следует мыслить понятие точки, Евклид дает второе определение того же понятия: точка есть граница линии, т.-е. устанавливает понятие непрерывности. Точка Евклида есть то, что мы ныне называем дифференциалом и геометрия Евклида «дифференциальная геометрия». Такое же двойное определение дается для линии и поверхности. Таким образом, Евклид в своих двойных определениях основных геометрических понятий хотел подчеркнуть свою антипифагорейскую точку зрения.

Антипифагореизм Евклида хорошо обнаруживается в его определениях прямой и плоскости:

1) Прямая линия есть линия, которая одинаково расположена относительно всех своих точек.

2) Плоскость есть поверхность, которая одинаково расположена относительно всех своих прямых.

Смысл этих определений очевиден. Точка—граница линии, следовательно, точки любой линии являются границами смежных частей. Евклидово определение прямой равносильно, стало быть, следующему: прямая есть линия, которая одинаково расположена относительно всех своих частей.

Точно так же плоскость в противоположность, например, цилиндру не только состоит из одинаково расположенных смежных частей, пересекающихся по прямой (прямая—граница поверхности), но вся плоскость одинаково расположена по отношению ко всем своим прямым, иначе говоря, относительно всех своих частей.

* * *

Если расположить определения Евклида в логический ряд, мы получим ряд ступеней абстракции: первая ступень—пространство, вторая ступень—поверхность, третья ступень—линия, четвертая и высшая ступень—точка, соответствующая полному отрицанию основных понятий протяженности и направления. Последние понятия являются тем фундаментом, на котором воздвигнуто здание Евклидовых определений.

Установив основные определения, подчеркнув свое понимание основных терминов, Евклид делает следующий методологический шаг и в постулатах формулирует свои основные гипотезы о природе пространства, т.-е. реальной формы бытия материи. При анализе постулатов Евклида очень важно принять во внимание различие между постулатом и аксиомой. Это различие часто упускается из виду, но оно имеет фундаментальное значение. В своем истолковании различия мы будем опираться на Аристотеля, который бесспорно является величайшим авторитетом в такого рода вопросе.

Аристотель указывает, что аксиома есть то, что истинно само по себе, в силу самого значения терминов, постулат же есть то, что, не будучи аксиомой в вышеуказанном смысле, принимается все же без доказательства. Аристотель приводит пример аксиомы: если от равного отнять равное, то и остатки будут

равны. Из этого примера[1]) видно, что греки под аксиомой разумели истину чисто логического, формального характера, под постулатом—истину характера опытного, т.-е. требование природы вещей. Если вспомнить теперь основную выше охарактеризованную древне-греческую концепцию соотношения материи и пространства, согласно которой пространство является лишь абстракцией от об'ективно существующей материи, смысл постулатов Евклида становится очевидным. Евклид считал, что понятие пространства, которым он обладал, соответствует природе вещей, является требованием, постулатом самой природы материи. Однородность, непрерывность, трехмерность и бесконечность пространства—это истины не аксиоматического, т.-е. формально-логического, характера, а истины природы и опыта. Евклид и древне-греческие философы не могли бы, конечно, об'яснить, из какого опыта получено, например, понятие бесконечности пространства, но, по правде говоря, они мало задумывались над вопросом, который во всей отчетливости был поставлен лишь в новое время Декартом и Кантом. Вопрос этот имеет большое значение для строгого обоснования геометрии, и мы к нему еще вернемся. Пока же отметим, что уже сама методологическая установка Евклида является громадным научно-философским шагом вперед в деле обоснования геометрии. При всей гениальности древне-греческих философов смешно было бы требовать от них постановки таких вопросов, для решения которых не было еще научных данных даже во время Декарта и Канта, данных, которые появились лишь в XIX веке благодаря прогрессу космологии, геологии и теории эволюции организмов.

* * *

Пять евклидовых постулатов являются различными формами выражения одних и тех же гипотез, именно гипотез однородности и бесконечности пространства. Первый постулат: от каждой точки до другой можно провести одну прямую, выражает гипотезу однородности пространства[2]). В самом деле из каждой точки можно провести в пространстве бесконечное множество линий и прямых. Если через данную точку и любую другую проходит только одна прямая, то этим утверждается абсолютное единообразие пространства.

Второй постулат выражает пространственную бесконечность.

Третий постулат (из любой точки любым радиусом можно провести окружность) формулирует одновременно как бесконечность («любой радиус»), так и однородность (радиус и окружность линии со специфической однородностью) пространства.

Четвертый постулат опять-таки выражает гипотезу однородности. Мы отметили выше, что некоторые математики полагают, будто бы четвертый постулат легко доказуем. Гильберт (см. «Основания геометрии», стр. 16) утверждает, что Евклид неправильно поместил четвертый постулат в число аксиом. Гильберт дает доказательство постулата (теорема 16). Замечание Гиль-

[1]) Еще лучше пример аксиомы: целое больше части. Само собой разумеется, что с материалистической точки зрения указанное различение весьма относительно.

[2]) Подчеркиваем, что мы имеем здесь в виду не «прямую», так как ее «не определяют» аксиоматики, а прямую Евклида.

берта чрезвычайно характерно. Прежде всего Евклид поместил положение «все прямые углы равны между собой» не в число аксиом, как выражается Гильберт, а в числе постулатов. Но дело-то в том, что Гильберт в противность Евклиду не делает никакого различия между постулатами и аксиомами в геометрии. Гильберт хочет построить основание геометрии на фундаменте чистой логики. Вот почему для Евклида, исходный пункт которого реальное пространство, а не система логических аксиом, положение о равенстве прямых углов является постулатом. С точки зрения Евклида доказательство Гильберта не имеет никакого значения, ибо оно основано исключительно на системе «произвольно» принятых определений и аксиом. Ибо что, собственно говоря, утверждает Евклид в четвертом постулате? Что все, т.-е. взятые в любом месте пространства, прямые углы можно совместить наложением. Но если наше пространство, как это учит, например, теория Эйнштейна, неоднородно и свойства его зависят от скопления гравитационных масс, то прямые углы Евклидовой области (на далеком расстоянии от тяжелых масс) никогда не будут равны прямым углам не-Евклидовых областей (вблизи тяжелых масс), подобно тому, как прямые углы плоскости не равны прямым углам сферы.

Перейдем, наконец, к последнему знаменитому пятому постулату. Многие удивляются сложной форме, в которой будто бы выражен этот постулат. Но утверждение о сложности является непониманием, или, вернее, нежеланием, понимать предпосылки и метод Евклида. Мы сейчас увидим, что на самом деле пятый постулат является простым и естественным выражением основной Евклидовой концепции пространства. Чтобы уразуметь формулировку этого постулата, необходимо отметить прежде всего понятие пересечения. С точки зрения Евклидовой концепции пространства и его определений понятие пересечения эквивалентно понятию различной направленности. Евклид определяет поэтому параллельные прямые, как такие, которые лежат в одной плоскости, но не пересекаются: иначе говоря Евклид разумеет под параллельными линии одинаково направленные. Таким образом, если в абсолютно однородном и бесконечном пространстве две прямые образуют разные углы с третьей прямой, то они различно направлены, т.-е. пересекаются. Отсюда понятна форма, которую Евклид придал пятому постулату. Евклид пользуется понятиями прямого и непрямого (острого) углов, которые сразу же дают понятие различия углов без обращения к понятию меры. Не трудно показать, что отрицание пятого постулата Евклида (при допущении параллельных, т.-е. бесконечности пространства) ведет к отрицанию однородности пространства. В самом деле, возьмем прямую, перпендикуляр к ней и точку на прямой. Будем проводить из взятой точки ряд наклонных: некоторые из них, взятые под достаточно малыми углами, пересекут перпендикуляр. Первая наклонная, не пересекающая перпендикуляра, будет расположена под определенным углом,—углом параллельности. Не трудно тогда показать, что угол этот зависит от расстояния взятой точки от основания перпендикуляра. Таким образом, каждая точка прямой в зависимости от самого расстояния будет иметь собственный угол параллельности. При допущении постулата однородности пространства представляется немыслимым принять подобного рода изменение угла параллельности в зависимости от расстояния. Это мы более подробно покажем в дальнейшем.

Таким образом, геометрическая система Евклида базируется на совокупности трех постулатов—непрерывности, однородности и бесконечности пространства. Само собою разумеется, что постулаты Евклида будучи специфическим выражением постулатов однородности и бесконечности, связаны с определениями и, стало быть включают в себя постулат непрерывности. Исследования показали, однако, что в состав постулатов Евклида входит не сам принцип непрерывности, а так называемый принцип Архимеда, который является обязательным для всякого непрерывного пространства. Сущность принципа Архимеда такова: если у нас имеется отрезок (или число) a и больший отрезок (число) A, то всегда можно найти число n, чтобы anа было больше A.

Отрицание принципа Архимеда является эквивалентным отрицанию постулата непрерывности, ибо во всяком непрерывном пространстве имеет силу принцип Архимеда.

Здесь необходимо подчеркнуть следующее. Математики под принципом непрерывности разумеют его выражение в т. н. аксиоме непрерывности Дедекинда. Аксиома эта является математическим обоснованием иррационального числа и выражением той непрерывности, которую мы встречаем в теореме геометрии Евклида о несоизмеримости некоторых отрезков (например, диагонали квадрата с его стороной).

Под неархимедовой «прерывностью» разумеют поэтому отрицание аксиомы Дедекинда [1]). Прерывность эта очень искусственна и заключается в том, что Евклидов пространственный континуум «рассекается» и в него вводятся новые точки. Количественным выражением этих новых точек являются неархимедовы числа, искусственность которых прямо показывает, что перед нами чисто логическое изобретение. Мы не будем заниматься критикой понятия неархимедова континуума. Для нашей цели важно лишь то, что отрицание постулата Архимеда приводит к отрицанию той непрерывности, которая имеет место в пространстве Евклида и которая, по нашему мнению, является единственно реальной.

III.

С точки зрения вышеразвитых положений ясен ответ на вопрос о «доказуемости» пятого постулата Евклида. Постулат этот «недоказуем» (логически) в том смысле, что «недоказуемы» выражаемые им качества пространства, являющиеся не «логическими теоремами», а «постулатами опыта». Но пятый постулат «доказуем» в ином смысле. Можно именно показать, что его отрицание ведет к частичному или полному отрицанию основных Евклидовых гипотез о природе пространства.

Что в основе евклидовой геометрии лежат гипотезы непрерывности и бесконечности, это более или менее понимали все мыслители, занимавшиеся проблемой пятого постулата. Но одни эти гипотезы недостаточны для обоснования геометрии Евклида.

[1]) Неархимедова прерывность, как это показали Веронезе и Леви-Чивита, может поэтому быть непрерывностью в смысл Кантора. Последний, именно, называет свои трансфинитные числа «новыми иррациональностями».

Необходима еще гипотеза однородности. И вот эта именно гипотеза постоянно упускалась из виду. Лишь немногие умы смутно сознавали эту основу геометрии Евклида. Так, Д'Аламбер в одной из своих геометрических статей указывает, что весь вопрос заключается в «удачном определении» прямой линии и линий параллельных. Аналогичные воззрения высказывались Фурье и Монжем. Валлис и Карно утверждали, что теория параллельных непосредственно связана с предположением существования «подобных фигур». Особенно интересны взгляды Лапласа, который очень отчетливо выдвинул гипотезу однородности пространства, исходя из закона всемирного тяготения Ньютона (см. Exposition du Systeme du Monde, 5-я книга). Согласно Лапласу, закон Ньютона имеет своим следствием то, что «вселенная, сузившаяся до размеров, занимаемых атомом, представляла наблюдателю ту же картину»... Здесь в форме принципа подобия выражен постулат однородности. Интересно отметить, что главным образом французы нащупывали правильный путь к решению вопроса о параллельных. Это обстоятельство, несомненно, связано с влиянием школы Декарта, метод которого неизбежно ведет к вышеохарактеризованному пониманию проблемы.

Подавляющее же большинство ученых, главным образом математиков, не делало и до сих пор не делает никакой попытки к всестороннему философскому анализу основ геометрии, вращаясь исключительно в сфере узких логико-математических понятий, базирующихся на смутной интуиции. Такой метод естественно приводит к вращению в порочном круге. Но бесплодность бесчисленных попыток доказать этим методом Евклидов постулат привела к отчетливому выявлению основных элементов проблемы.

Саккери. Большое значение имеет в этом отношении труд итальянца Саккери: «Евклид, очищенный от всякого пятна» (1733).

Основная идея Саккери такова. Если взять четырехугольник с двумя прямыми углами и примыкающими к ним равными сторонами, то в геометрии Евклида два остальных угла будут также прямыми, при чем независимо от нее легко доказать равенство этих углов при равенстве боковых сторон. Саккери выдвигает в соответствии с этим три гипотезы:

а) гипотезу прямого угла—соответствует геометрии Евклида и пятому постулату;

б) гипотезу тупого угла;

в) гипотезу острого угла.

Чтобы доказать постулат Евклида, необходимо доказать невозможность двух последних гипотез.

Саккери и пытается дать такого рода доказательство.

Для опровержения гипотезы тупого угла Саккери предварительно доказывает, что при этой гипотезе, как и при гипотезе прямого угла, верен пятый постулат. Но так как из этого постулата вытекает, что сумма углов четырехугольника равна четырем прямым, то получается очевидное противоречие с гипотезой тупого угла. Каковы же основные постулаты, которыми пользуется Саккери в своем доказательстве? Это постулаты бесконечности и непрерывности. Ден показал, однако, что некоторые теоремы Саккери независимы от этих постулатов, а другие требуют лишь постулата бесконечности и постулата Архимеда.

Постулат же Архимеда не тождественен с постулатом непрерывности. Важно здесь однако то, что во всяком непрерывном пространстве и, следовательно, в пространстве Евклида обязательно должен иметь место постулат Архимеда.

Ден построил так называемую неархимедову (нележандрову) геометрию, в которой сохранен постулат бесконечности, но устранен постулат Архимеда. Пространство Дена прерывное. В нем сумма углов треугольника больше двух прямых. Ден построил также так называемую полуевклидову геометрию, в которой отрицаются постулаты Евклида и Архимеда, но в которой сумма углов треугольника равна двум прямым. Этим доказано, что теорема: сумма углов треугольника равна двум прямым не равнозначуща постулату Евклида. Обстоятельство это не трудно понять, если обратить внимание на то, что треугольник является фигурой конечной, а в постулате Евклида фигурирует бесконечность. Можно, однако, ввести в понятие треугольника понятие бесконечности, пользуясь постулатом Гаусса, который указал, что положение: «существует прямолинейный треугольник, площадь которого больше любой заранее заданной площади», эквивалентно постулату Евклида.

Для опровержения гипотезы острого угла Саккери также пользуется основными постулатами Евклида. Сущность его рассуждений сводится к тому, что гипотеза острого угла ведет к понятию асимптотических прямых. Но асимптотические прямые (прямые, непрерывно сближающиеся до точки пересечения в бесконечности), как доказывает Саккери, должны иметь общий перпендикуляр в бесконечно удаленной общей точке, а это, по словам Саккери, «противоречит природе прямой линии».

Мнимое доказательство Саккери,—говорит Р. Бонола,—основано, таким образом, на распространении на бесконечность известных свойств, оправдывающихся для фигур на конечном от нас расстоянии».

Но ведь распространение свойств конечных фигур на бесконечность и составляет существо постулатов однородности и бесконечности пространства, так что с нашей точки зрения доказательство Саккери не мнимое, а действительное.

Ламберт. Идеи, аналогичные идеям Саккери, развивал Ламберт (1728—1777).

Для опровержения гипотезы тупого угла Ламберт пользуется постулатом Архимеда, при чем у него, как и у Саккери, постулат этот выражен в форме, включающей также постулат бесконечности (см. Р. Бонола, стр. 38).

При исследовании гипотезы острого угла Ламберт делает замечательное открытие, что отрицание Евклидова постулата приводит к утверждению зависимости площади многоугольников от суммы его углов, а именно: площадь многоугольника должна быть пропорциональна так называемому избытку или недостатку, т.-е. разности между 2 (n—2) прямыми углами (2 прямыми для треугольника) и суммой углов многоугольника. Если бы Ламберт имел отчетливое понятие о постулатах пространства, он сразу же увидал бы, что утверждение такой зависимости приводит к отрицанию этих постулатов: постулата однородности (гипотеза острого угла), постулата бесконечности (гипотеза тупого угла в архимедовой геометрии), постулатов однородности и непрерывности (гипотеза тупого угла в неархимедовой геометрии).

Насколько близко Ламберт стоял к такому пониманию вопроса, видно из впервые формулированного им понятия об «абсолютной мере». Как мы уже указали выше, отрицание постулата Евклида «при допущении параллельных (гипотеза острого угла вообще и гипотеза тупого в неархимедовой геометрии) ведет к утверждению зависимости углов параллельности от расстояний (длин). Так как величина угла имеет абсолютную меру (величина «полного угла» вокруг точки конечна и равна четырем прямым), то, установив такого рода меру (отношение к абсолютному или полному углу), мы устанавливаем абсолютную меру для длин, связанных с углами. Вопрос этот мы подробнее осветим при разборе учения Лобачевского, пока же приведем следующее заключение Р. Бонола: «отрицая существование абсолютной единицы для отрезков, мы должны были бы вместе с Ламбертом отбросить и третью гипотезу».

Что это значит? Это значит, что третья гипотеза противоречит постулату однородности. В одновременно бесконечном однородном пространстве не может существовать абсолютной единицы длины. Что касается постулата непрерывности, то постулат этот противоречит абсолютной единице меры только в случае гипотезы тупого угла в неархимедовой геометрии; при этой гипотезе (и одновременном допущении бесконечности) отрицается постулат Архимеда и, следовательно, непрерывность, ибо, как мы уже указали, во всяком непрерывном пространстве имеет силу Архимедов постулат.

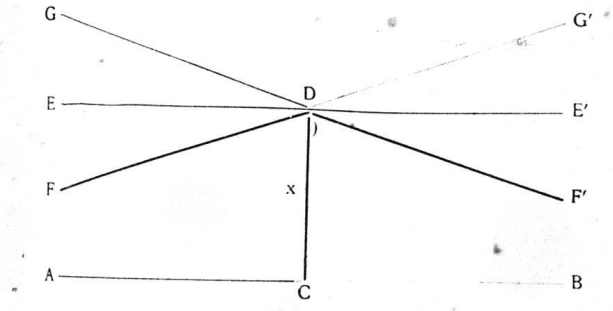
Таким образом, абсолютная единица длины противоречит постулатам бесконечности и однородности при гипотезе острого угла, постулатам бесконечности (архимедова геометрия), однородности и непрерывности (неархимедова геометрия) при гипотезе тупого угла.

Лежандр. Замечательным является то, что различные исследователи вопроса о пятом постулате, совершенно не зная друг о друге, давали тождественные решения, исходя из тождественных предпосылок. Так, Лежандр (1752—1833), сто лет спустя после Саккери, самостоятельно пришел к тому же расчленению проблемы, хотя в видоизмененной формулировке. Как указывает Р. Бонола, Саккери сам дал эту формулировку в виде следствия своих трех гипотез, а именно: сумма углов треугольника или больше двух прямых (гипотеза тупого угла), или равна двум прямым (гипотеза прямого угла), или же меньше (гипотеза острого угла).

Лежандр начинает именно с анализа суммы углов треугольника. Пользуясь постулатом Архимеда (в форме, включающей постулат бесконечности), Лежандр сразу же отбрасывает гипотезу тупого угла и формулирует т. н. первую теорему Лежандра—Саккери: сумма углов треугольника или равна или меньше двух прямых. Лежандр дает два доказательства невозможности последнего предположения. Первое доказательство базируется на постулате однородности. Лежандр доказывает, что гипотеза острого угла (сумма углов треугольника меньше двух прямых) приводит к тому неизбежному следствию, что длины являются функциями углов. Лежандр об'являет такое утверждение нелепостью, что было бы правильным, если бы Лежандр показал связь гипотезы острого угла с постулатом бесконечности. Ибо если пространство (например, поверхность шара) однородно и конечно, то существует

абсолютная мера длины. Таким образом, доказательство Лежандра неудовлетворительно. Так же неудовлетворительно и другое доказательство, в котором Лежандр пользуется постулатом Архимеда. Доказательство основано на предложении, заключающем в скрытом виде пятый постулат и совершенно невыявляющем постулатов однородности и бесконечности. Лежандр оказался здесь гораздо слабее Саккери и Ламберта.

Геометрия Лобачевского—Больяи. Не имея возможности останавливаться на работах таких ученых, как Вахтер, Тауринус, Швейкарт (о Гауссе мы скажем в дальнейшем), мы перейдем к Лобачевскому и Иоанну Больяи, которые совершенно независимо друг от друга и почти одновременно создали систему неевклидовой геометрии, известной под именем гиперболической системы Лобачевского—Больяи. Система эта соответствует гипотезе острого угла Саккери. Самое важное достижение Лобачевского—Больяи это то, что они дали точную математическую формулу, выражающую зависимость длин от углов и, стало быть, неоднородность неевклидова пространства. Чтобы понять эту формулу, необходимы следующие предварительные сведения:



Пусть AB прямая, CD перпендикуляр к ней. В системе Евклида через точку D можно провести только одну параллельную DEE′. В системе Лобачевского—Больяи таких прямых бесчисленное множество, но они все заключены в пределах некоторого угла GDF, при чем прямые DF и DF′—являются «пограничными», отделяющими «параллельные» прямые от «непараллельных». Что существует только одна пара (DF и DF′) пограничных параллельных, это доказывается ныне на основании принципа непрерывности (аксиома Дедекинда), но Лобачевский—Больяи просто постулировали это предположение. Укажем здесь, что Гильберт доказывает в одной работе независимость геометрии Лобачевского—Больяи от постулата Архимеда и, следовательно, от принципа непрерывности. Мы не будем обсуждать здесь этого вопроса в виду его сложности,—он не имеет особенного значения для нашей темы.

Угол α между перпендикуляром CD и «параллельной» Лобачевский называет «углом параллельности» и обозначает через $\Pi(x)$, чтобы выразить этим, что угол этот является функцией расстояния x. Формула Лобачевского—Больяи такова [1]):

[1]) Функция tg имеет, разумеется, чисто аналитическое определение.

$$\operatorname{tg}\frac{1}{2}\alpha = \operatorname{tg}\frac{1}{2}\Pi(x) = a - x,$$

где a—постоянная. Лобачевский выбором подходящей единицы меры делает a=e, где e—основание натуральных логарифмов; у Больяи постоянная обозначена через $e^{\frac{1}{k}}$, где k—т. н. постоянная Гаусса. Упомянем здесь, что формула Лобачевского—Больяи была по существу выведена еще Тауринусом. Формула эта с большой наглядностью показывает неоднородность пространства Лобачевского—Больяи. Еще нагляднее это видно из факта, установленного Тауринусом и Лобачевским, что геометрия плоскости Лобачевского—Больяи полностью соответствует геометрии поверхности сферы мнимого радиуса т. н. логарифмо-сферической геометрии, в которой обычные косинусы сторон сферического треугольника (стороны эти выражаются в радианах) заменены т. н. гиперболическими косинусами. Не останавливаясь на интересных подробностях геометрии Лобачевского—Больяи, которые для наших целей несущественны, отметим лишь еще один важный вывод, полученный Лобачевским. Лобачевский показал, что для треугольников с бесконечно-малыми сторонами можно брать с точностью до бесконечно-малых выше второго порядка, вместо формул пангеометрии формулы обычной тригонометрии. Так как понятие бесконечно-малого является в данном случае относительным (конечная, но весьма малая величина), то смысл утверждения Лобачевского тождественен со смыслом постулата однородности—бесконечно-малые пространства можно считать и считают обычно однородными.

Гаусс, Миндинг, Бельтрами. Одним из выдающихся творцов неевклидовой геометрии является Карл-Фридрих Гаусс. Гаусс совершенно самостоятельно пришел к мысли о возможности геометрической системы, независимой от пятого постулата. Гаусс, однако, не считал возможным что-либо опубликовывать по данному вопросу и высказывался о нем лишь в частных письмах. Обычно говорят, что им руководила в данном случае боязнь «крика беотийцев». Едва ли только это было причиной большой сдержанности Гаусса. Гаусс видал чрезвычайную сложность вопроса. «Мне кажется,—говорит он в одном письме,—что мы, кроме ничего не выраженной словесной мудрости метафизиков, знаем очень мало или даже не знаем ничего о сущности пространства». Мы покажем в дальнейшем, что в этих словах содержится недооценка метафизики Канта.

В письмах Гаусса имеется целый ряд замечаний, указывающих на то, что характерной особенностью гиперболического пространства (Лобачевского) Гаусс считал неоднородность (предел площади треугольника, абсолютная мера длины и т. п.). Большое значение для развития неевклидовой геометрии имел знаменитый мемуар Гаусса «Общие изыскания о кривых поверхностях». В этом мемуаре Гаусс дает определение важного понятия меры кривизны в данной точке поверхности (Гауссова кривизна). Если провести через нормаль к данной точке нормальные сечения поверхности, то полученные на поверхности кривые будут иметь различную кривизну. В т. н. двух главных сечениях кривизны достигают наибольшего и наименьшего значения

в данной точке. Гауссовой мерой кривизны называется произведение мер кривизны главных сечений. Это произведение, т.-е. Гауссова мера кривизны, может иметь положительное, отрицательное и нулевое значение, соответственно чему точки поверхности различаются, как эллиптические, гиперболические и параболические. Эти названия обусловлены тем, что кривизна нормального сечения определяется уравнением, в состав которого входит алгебраическая форма, которую можно привести к форме кривой второго порядка, называемой в данном случае индикатрисой. Примером поверхности с эллиптическими точками и положительной кривизной является поверхность эллипсоида, сечения которого дают эллипсы, т.-е. кривые с положительной кривизной. Т. н. гиперболический параболоид, форма которого напоминает седло, имеет гиперболические точки и отрицательную кривизну. Поверхность седла в одном сечении дает кривизну, соответствующую спине лошади, а в другом—телу всадника; так что произведение кривизн будет отрицательным. Поверхность цилиндра—это поверхность с параболическими точками и нулевой кривизной, так как главные сечения дают окружность (линия положительной кривизны) и частный случай параболы—пару прямых, т.-е. линий нулевой кривизны.

Значение понятия гауссовой меры кривизны видно из следующей теоремы Гаусса: если две поверхности могут быть посредством изгибания без гнутия и растяжения наложены друг на друга, то в совмещающихся точках кривизна должна быть одна и та же. Так, плоскость и цилиндр имеют одну и ту же нулевую меру кривизны, а потому могут быть наложены друг на друга. Миндинг, Кодацци, Бельтрами подробно исследовали вопрос, при каких предпосылках необходимое условие Гаусса является также достаточным. Все эти исследования связаны с другим важным понятием геометрии поверхностей—понятием элемента длины. Если координаты x, y, z точек поверхности выражены в функциях двух параметров u, v: $z = f_1(u, v)$, $y = f_2(u, v)$, $z = f_3(u, v)$, то элемент длины выражается формулой $ds = \sqrt{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}$, где E, F и G—определенные функции параметров u, v. Гаусс показал, что поверхности с одинаковым элементом длины имеют в соответствующих точках одинаковую кривизну. Изучение квадратичной формы, определяющей элемент длины, приобрело, таким образом, решающее значение для изучения геометрических свойств поверхности. Особенно важно изучение поверхностей постоянной гауссовой кривизны. На таких поверхностях возможно свободное перемещение фигур и, следовательно, пользование евклидовым методом наложения; такие поверхности имеют характер «плоскостей» и дают возможность сравнить геометрию кривой «неевклидовой плоскости» с геометрией плоскости Евклида.

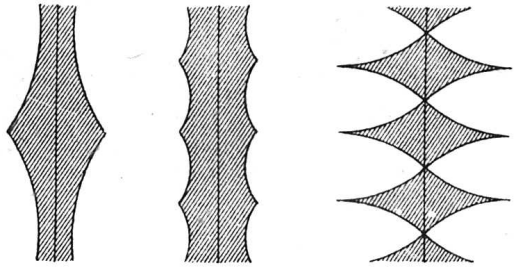
Миндинг первый изучил поверхности постоянной кривизны. В частности им изучена замечательная поверхность вращения отрицательной кривизны т. н. псевдосфера, различные формы которой изображены на рисунке (см. стр. 110).

Миндинг первый указал, что геометрия поверхностей постоянной отрицательной кривизны получается из сферической геомет-

рии, если обычные тригонометрические функции заменить гиперболическими. Он вывел формулу, совпадающую с основной тригонометрической формулой Лобачевского. Замечание Миндинга было подробно разработано Кодацци. Вполне отчетливо вопрос был выяснен Бельтрами в знаменитой работе «Опыт истолкования неевклидовой геометрии» (1868 г.).

Название мемуара прямо указывает на задачу, поставленную в нем Бельтрами. Бельтрами стремился найти поверхность постоянной отрицательной кривизны, на которой полностью осуществлялась бы плоская геометрия Лобачевского. Он нашел, что геометрия псевдосферы совпадает лишь с ограниченной частью плоскости Лобачевского, но найти поверхность, эквивалентную этой плоскости, ему не удалось.

Гильберт впоследствии установил, что в евклидовом пространстве не существует правильных аналитических поверхностей [1]), на которых полностью осуществлялась бы геометрия не-



евклидовой плоскости, в частности плоскости Лобачевского — Больяи. Вот как об'ясняет Гильберт этот факт:

«По исследованию Бельтрами поверхность постоянной отрицательной кривизны осуществляет собой часть плоскости Лобачевского (неевклидовой плоскости), если за прямые на плоскости принять геодезические линии поверхности, а за длины и углы на плоскости принять действительные длины и углы на поверхности. Однако среди поверхностей постоянной отрицательной кривизны, исследованных по настоящее время, нет ни одной, которая простиралась бы во все стороны непрерывно с непрерывно меняющейся плоскостью. Напротив того, известные нам поверхности отрицательной кривизны имеют особенные линии, за пределы которых продолжение поверхности при непрерывном изменении касательной плоскости невозможно. Вследствие этой именно причины осуществить всю плоскость Лобачевского на одной из известных поверхностей постоянной отрицательной кривизны оказывается невозможным».

Гильберт доказывает, что вообще не существует правильных аналитических поверхностей постоянной отрицательной кривизны.

Суть дела сводится к тому, что плоскость Лобачевского, будучи, вообще говоря, неоднородной, сохраняет все же то свойство, присущее евклидовой плоскости, что на ней нет особых

[1]) Т.-е. таких, которые не имеют особых точек и линий.

точек и линий. Важно, однако, не это, а самый факт невозможности построения правильной аналитической поверхности отрицательной кривизны. Факт этот зиждется на абсолютной однородности, единообразии и бесконечности пространства Евклида и на относительном, стало-быть, значении понятия кривизны.

Либман установил следующую теорему: «Единственной правильной аналитической поверхностью постоянной положительной кривизны является сфера».

Если переменить характеристику направления кривизны, то сферу можно считать поверхностью постоянной отрицательной кривизны, ограничивающую бесконечный об'ем. Но сфера поверхности конечная, а плоскость Лобачевского—бесконечна; если теперь «отрицательную кривизну» сферы назвать «абсолютной отрицательной кривизной», то несовместимость геометрии плоскости Лобачевского с геометрией поверхности такой кривизны очевидна. Отсюда также понятно, почему плоскость Лобачевского несовместима с «плоскостью» обычных поверхностей постоянной отрицательной кривизны; такие поверхности, обладая «относительной кривизной», необходимо связаны с «линиями разрыва» и, стало быть, с нарушением единообразия поверхности «абсолютной отрицательной кривизны» (сферы): поверхности постоянной «относительной» кривизны (псевдосферы) можно рассматривать как состоящие из частей поверхности постоянной «абсолютной» отрицательной кривизны (сферы).

Гильберт лишь в математической форме выразил этот факт, вытекающий из природы евклидова пространства.

Риман. Крупнейшее значение в истории развития неевклидовой геометрии имел мемуар Римана «О гипотезах, лежащих в основании геометрии», опубликованный Дедекиндом в 1868 г. Ныне, в связи с теорией относительности, идеи Римана приобрели громкую известность. Мемуар Римана часто цитируется, но столь же часто неправильно изображается методологическая установка Римана. Чтобы получить правильное понятие об этой установке, необходимо знать обще-философские воззрения Римана, изложенные в ряде фрагментов (см. B. Riemann. Ges. Mat. Werke. Anhang). Особенно замечателен фрагмент, касающийся воззрений Канта на понятие причинности и Ньютона на понятие гипотезы (см. Causalität, стр. 492). Риман соглашается с Кантом, что понятие причинности не может быть получено исключительно путем абстракции от явлений; но Риман решительно отвергает априорность и доопытность понятия причинности, указывая, что такого рода воззрение ведет к «выплескиванию ребенка вместе с водой из ванны».

Цитируя знаменитое ньютоново поучение с лозунгом «Hypotheses non fingo» 2-го издания «Начал», искаженных под давлением Бентли-Котса, Риман подчеркивает, что слово гипотеза у Ньютона имеет совершенно не тот смысл, который ему придают ныне. «Ньютон,—говорит Риман,—был очень далек от той вздорной мысли (ungereimten Gedanken), будто бы об'яснение явлений может быть достигнуто путем абстракции». «Различие, которое Ньютон делал между аксиомами и гипотезами, мне кажется неправильным» (nicht haltbar), говорит Риман; ибо «закон инерции также гипотеза: если бы материальная точка была одна в мире и двигалась с определенной скоростью, она сохраняла бы эту скорость».

В своей работе «Наука и гипотеза» мы документально доказали, что такова была именно точка зрения Ньютона. Аксиомы Ньютона, как он сам это указывает в письме к Котсу, соответствуют постулатам Евклида и материалистическому понятию гипотезы.

Мы видим таким образом, что основная идея философии чистого описания (наука без гипотез, построенная исключительно на «абстракции от явлений», т.-е. их экономичного описания) является с точки зрения Римана идеей «вздорной»; вздорным является, стало быть, воззрение на математику как на «свободный продукт человеческого духа», «условное соглашение», выбор которого определяется «экономией мышления». Риман не пытался, однако, об'яснить истинную природу гипотезы, ее связь с об'яснением явлений и природой мышления. Он только подчеркнул тот несомненный факт, что причинное, например, отношение «мы должны извлекать из опыта; но мы не должны отказываться от оправдания и дополнения нашего понимания данных опыта путем гипотез (Nachdenken)».

Вышеуказанные философские идеи у Римана раз'ясняют методологическую установку его мемуара. Риман поставил себе целью выяснить математическое выражение гипотез, лежащих в основе геометрии, как науке о реальном пространстве.

Результат, к которому пришел Риман, таков:

математически определяющую роль в вопросе о природе пространства играет выражение для элемента длины. Риман принимает за общее выражение элемента длины формулу

$$ds = +\sqrt{\Sigma a_{ij}\, dx_i\, dx_j} \quad \text{или} \quad ds^2 = \Sigma a_{ij}\, dx_i\, dx_j$$

где dx_i и dx_j дифференциалы от n координат пространства (многообразия) n измерений, a_{ij} — произвольные функции, Σ — знак суммирования.

В евклидовом пространстве $a_{ij} = 1$, $dx_i = dx_j = dx$ или dy или dz, так что $ds = +\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ или $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$.

Риман выделяет затем специальный класс пространств, которые он называет п л о с к и м и (параболические согласно терминологии Клейна) и в которых коэффициенты a_{ij} величины постоянные. Этот класс определяется квадратичной формой

$$ds^2 = \Sigma dx_i^2,$$

ибо можно доказать, что всякая квадратичная форма с постоянными коэффициентами может быть преобразована в сумму квадратов.

Далее Риман разлагает общее выражение для квадрата элемента длины на сумму двух слагаемых

$$ds^2 = \Sigma dx_i^2 + K,$$

в которой первый член выражает плоское пространство, а второй — у к л о н е н и е данного пространства от плоского.

Эта величина K играет определяющую роль в математическом выражении для т. н. р и м а н о в о й к р и в и з н ы пространства. Если K=0 и i=3, мы получаем трехмерное пространство Евклида.

Если перевести на язык философских понятий математические формулы Римана, легко обнаружить, что они выражают постулаты однородности, бесконечности и непрерывности пространства.

Постоянство кривизны и коэффициентов в формуле для элементов длины является выражением однородности пространства. Равенство кривизны нулю есть выражение пространственной бесконечности. В самом деле, Риман впервые установил важное различие между б е з г р а н и ч н ы м и б е с к о н е ч н ы м; сфера, например, безгранична, но не бесконечна. Но безграничное, конечное пространство есть пространство замкнутое, т.-е. пространство, обладающее абсолютной кривизной. Если же кривизна равна нулю, пространство не может быть замкнутым, а должно быть открытым, т.-е. бесконечным. Вообще говоря, если не забывать диалектического смысла самого понятия кривизны, то будет очевидным, что нулевая кривизна означает бесконечность.

Дифференциальная форма элемента длины выражает, наконец, постулат непрерывности, ибо само понятие дифференциала базируется на понятии непрерывности.

В связи с принципом непрерывности отметим еще одно чрезвычайно важное указание Римана, то именно, что только в пространствах постоянной кривизны возможны с в о б о д н ы е д в и ж е н и я. Эта фундаментальная идея приобрела исключительную роль в учениях об обосновании геометрии Гельмгольца и Софуса Ли. Ее главное значение заключается в том, что она, увязывая геометрию с механикой, обосновывает постулат непрерывности в геометрии Евклида. Статически рассматриваемая геометрия эта требует лишь постулата Архимеда, который не эквиваленген принципу непрерывности. Гильберт, например, в 1-м издании своих «Оснований геометрии» сделал ошибку, смешав постулат Архимеда с постулатом непрерывности. Во 2-м издании он эту ошибку исправил, дополнив постулат Архимеда т. н. «аксиомой полноты», которая вместе с постулатом Архимеда эквиваленгна постулату непрерывности (Дедекинда). Эта непрерывность получается сама собой, как только мы вводим в геометрию движение, ибо понятие движения немыслимо без понятия непрерывности. Заметим здесь, что математики под «движением» в геометрии разумеют известное «преобразование координат», совмещающее одни точки с другими. Не отрицая эвристического значения такой концепции, мы подчеркиваем, что наше движение есть реальное движение, а не движение математическое и, следовательно, предполагает постулат непрерывности. Геометрия не есть продукт «свободного творческого духа», а часть учения о реальном пространстве и как таковая она связана в первую очередь с механикой, т.-е. наукой о реальном движении. Так, между прочим, понимал геометрию творец механики—Ньютон.

Г е о м е т р и я Р и м а н а. Классифицировав пространства по характеру их кривизны, Риман первый обратил внимание на пространства постоянной положительной кривизны, геометрия которых называется римановой в отличие от евклидовой геометрии пространств нулевой кривизны и геометрии Лобачевского—Больяи кривизны отрицательной. Что геометрия Лобачевского—Больяи есть геометрия пространства постоянной отрицательной кривизны, это доказал Бельтрами в мемуаре «О б щ а я т е о р и я п р о с т р а н с т в п о с т о я н н о й к р и в и з н ы», появившемся в следующем году после опубликования работы Римана. Мы отметили выше теорему Гильберта, отрицающую существование псевдосферы, вполне осуществляющей геометрию плоскости Лобачевского.

Бельтрами построил искусственное «аналитическое пространство» n измерений, геометрия которого при n=3 вполне совпадает с геометрией Лобачевского. Геометрия двухмерного аналитического пространства Бельтрами совпадает с геометрией плоскости Лобачевского.

Впрочем, как указывает В. Ф. Каган, приведенное утверждение необходимо принять с некоторыми оговорками. Мы на этом останавливаться не будем, так как вопрос о «непротиворечивости» геометрии Лобачевского—Больяи для нас принципиально ясен.

Геометрия Римана, как геометрия пространств положительной кривизны, характерна, разумеется, тем, что в ней «прямые»-замкнутые линии и, следовательно, вообще нет «параллельных». Согласно Клейну существует два типа римановой геометрии—сферическая и эллиптическая. В сферическом типе две «прямые» пересекаются в двух точках, как это, например, имеет место на сфере, где «прямыми» являются дуги больших кругов.

В эллиптической системе две прямые пересекаются в одной точке.

Не останавливаясь более подробно на римановой геометрии, отметим только смысл термина «эллиптическая геометрия». Термин этот принадлежит Клейну, который различает три основных типа геометрий—параболическую, гиперболическую и эллиптическую. Названия эти обусловлены свойствами прямых соответствующих геометрий. В евклидовой геометрии считают вообще, что прямая имеет одну бесконечно удаленную точку, пара параллельных, стало быть,—две сливающихся; так как пара параллельных—частный случай параболы, то отсюда название параболической геометрии для системы Евклида. Точно так же пара пересекающихся прямых, имеющих две бесконечно-удаленные точки, является частным случаем гиперболы; в геометрии Лобачевского—Больяи «прямая» (кривая) имеет две бесконечно удаленные точки (существование двух параллелей)—отсюда название гиперболической геометрии. Эллипс же совершенно не имеет бесконечно-удаленных точек—отсюда название «эллиптическая геометрия» для римановой системы, в которой «прямые» замкнуты и нет «параллельных».

Те же названия можно интерпретировать с точки зрения понятия кривизны: параболические, гиперболические и эллиптические пространства имеют, подобно одноименным поверхностям, соответственно нулевые, отрицательные и положительные кривизны.

Гельмгольц. В том же году, когда появилась работа Римана, Гельмгольц опубликовал замечательный мемуар «О фактах, лежащих в основании геометрии». Гельмгольц выдвигает в нем большой важности идею о том, что геометрические свойства пространства определяются совокупностью присущих ему движений.

Мы видели выше, что Риман за основу своих исследований принимает определенную квадратичную форму для элемента длины. Спрашивается, однако, почему элемент длины должен зависеть от такой именно формы, а не какой-либо иной? На этот вопрос Риман дает следующий ответ: «исследование такой более общей категории по существу не потребовало бы других принципов, но заняло бы много места и времени, не давая существенно нового освещения». В связи с общей методологической установкой Римана этот ответ вполне понятен. Задача Римана заключалась ведь в том, чтобы исследовать гипотезы, лежащие в основе евклидовой геометрии, а потому он считал вполне правомерным пользоваться методом предварительной индукции, обобщая обычное выражение для элемента длины. Если взять для этого элемента более общую форму, то для выяснения основных гипотез геометрии Евклида все равно придется эту форму соответствующим образом ограничивать и приспособлять путем преобразований. Гельмгольц пошел иным путем,—путем, именно, постулирования известной совокупности возможных в пространстве движений.

Гельмгольц выдвигает следующие основные гипотезы:

1. Пространство представляет собою непрерывное многообразие n измерений, т.-е. каждая точка (в евклидовом смысле) определяется совокупностью n координат.

2. В пространстве существует «свободное движение твердых тел».

Под «твердым телом» Гельмгольц разумеет такое, в котором координаты каждой пары точек связаны соотношением, остающимся неизменным (инвариантным) при движении. Так, в обычном евклидовом пространстве неизменным остается «расстояние» R между двумя точками: $(x_1\ y_1\ z_1$ и $x_2\ y_2\ z_2)$ «твердого тела»:

$$R = \sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$$

Под «свободным движением» твердых тел Гельмгольц понимает всякое движение, которое не нарушает «твердости» тел.

3. Пространство монодромно, т.-е. обладает абсолютной однозначностью движений. Монодромия пространства аналогична монодромии функции. Монодромной или однозначной функцией называется такая, значение которой зависит лишь от значения переменной, но не от того способа (пути), которым мы к этому значению пришли, каждому значению переменной соответствует одно и только одно значение функции. Точно так же в монодромном пространстве движение однозначно определяется значениями параметров движения. Так, если в «твердом» теле нашего пространства закрепить две точки и вращать это тело, то положение тела будет однозначно определяться параметром (независимой переменной) углового расстояния от определенной оси: при том же значении угла тело займет то же положение, так что при вращении тело будет постоянно возвращаться в исходное положение. Вращение в монодромном пространстве является циклическим движением. При помощи этих гипотез Гельмгольц доказывает, что элемент длины должен выражаться корнем квадратным из квадратичной формы:

$$ds = \sqrt{\Sigma a_{ij}\,dx_i\,dx_j}$$

Идеи Гельмгольца были в подробной математической форме развиты Софусом Ли в его «Теории групп преобразований» (1888—1893). На исследованиях Ли мы останавливаться не будем, так как они не дают ничего принципиально нового для нашей темы.

Отметим лишь общее значение исследований Ли. Он придал проблеме Гельмгольца следующую форму: найти те непре-

рывные пространственные группы преобразований, которые обладают свойством движений.

Как мы указали выше, математики под «движениями» разумеют определенные преобразования координат, которые совмещают одни точки с другими, преобразуют одни геометрические об'екты в другие. Ли принимает, что для обоснования евклидовой геометрии группы преобразований должны быть непрерывными. Необходимо ли это? На примере ошибки Гильберта мы показали, что это не так, что можно построить геометрию, «почти тождественную» с геометрией Евклида. Дедекинд говорит, например: «Если пространство имеет вообще реальное бытие, то ему нет необходимости быть непрерывным. Бесчисленные его свойства оставались бы теми же самыми, если бы оно было разрывным».

«И если бы мы знали наверно, что пространство не обладает непрерывностью, то, при желании, нам все-таки ничего не могло бы помешать сделать его непрерывным через мысленное заполнение его пробелов». Здесь Дедекинд выражается как математик-идеалист, обуянный математической гордыней и никогда не задающий себе вопроса, откуда, собственно говоря, у нас взялось понятие непрерывности. Из понятия целого числа, на фундаменте которого построено современное понятие числа, извлечь понятие непрерывности можно лишь при помощи тех сложнейших рассуждений, которые дал сам Дедекинд в своей работе «Непрерывность и иррациональные числа». Спрашивается, как мог бы Дедекинд математически обосновать понятие непрерывности, если бы он заранее не имел этого понятия и не поставил бы себе целью такое обоснование? Для этого необходимо было бы настоящее чудо, именно, чтобы из бесчисленного множества возможных математических высказываний механически сложилось то, что ныне известно под названием аксиомы Дедекинда. Но дело-то в том, что на свете чудес не бывает, и «если пространство вообще имеет бытие», то в нем вообще имеет бытие движение—не математическое движение, а реальное, которое и является живым источником понятия непрерывности.

Мы считаем поэтому прямое постулирование Гельмгольцем непрерывности пространства доказательством его живого чувства реальности. Математика, вращаясь в себе самой, не в состоянии породить понятия непрерывности, наоборот, математическая непрерывность является простым отражением и выражением непрерывности материальной.

Итак, в основе евклидовой геометрии лежит концепция пространства, как однородной непрерывной и бесконечной формы бытия материи. Каково происхождение этой концепции? На это можно ответить словами Энгельса («Диал. Пр.», стр. 135—«Согласие между мышлением и бытием»): «Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств, расширяет суб'ект опыта, делая им не индивида, а род». Мозг, выкристаллизовавшись из недр материи, правильно отражает ее форму бытия.

Новое средневековье.

(К характеристике современного феодального социализма [1]).

И. Луппол.

> Так возник феодальный социализм частью жалоба, частью пасквиль, частью отголосок прошлого, частью угроза будущего, по временам метко поражающий буржуазию горьким, остроумным и едким суждением, но всегда производящий комическое впечатление полною неспособностью понять ход новейшей истории.
>
> Аристократия потрясала нищенской сумой пролетариев, как знаменем, чтобы собрать вокруг себя народ. Но, последовав за нею, он тотчас же замечал на ее спине старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным смехом.
>
> К. Маркс и Ф. Энгельс, «Коммунистический манифест».

1.

В третьей главе «Коммунистического Манифеста» К. Маркс и Ф. Энгельс, как известно, дают краткую, сжатую, необычайно выпуклую характеристику тех социально-политических течений и теорий, которые имели место в различных странах Европы в сороковых годах прошлого столетия. Каждое из этих течений выработало более или менее последовательно свой классовый взгляд на современную ему действительность, каждое такое течение сформулировало свою философско-историческую концепцию, каждое, наконец, сформировало свой социально-политический идеал. Этот социальный идеал, представление о конкретном, практическом и вместе с тем идеальном общественном строе, позволил Марксу и Энгельсу назвать любое из таких течений «социализмом», поскольку для самих основоположников

---

[1]) В основу статьи положен доклад, прочитанный на заседании секции исторического материализма и диалектического материализма Института Научной Философии.

марксизма таким идеалом уже в то время являлся научный коммунизм.

Нет надобности напоминать, что Маркс и Энгельс, исходя из классовой точки зрения пролетариата, олицетворявшего революционные производительные силы общества, классифицировали эти течения по рубрикам социализма реакционного, консервативного или буржуазного и критически-утопического. Нас не интересует сейчас истлевший прах исторических вожаков этих течений. Теоретически они были погребены «Коммунистическим Манифестом», практически они сошли с мировой сцены через два—три десятилетия.

Однако,—что, именно, нас и интересует в данную минуту,—вместе с их смертью не утратила и для наших дней своей свежести, казалось бы, имеющая лишь историческое значение третья глава «Манифеста». Казалось бы, много воды утекло за восемьдесят лет, исполненных бурными, подчас кровавыми, перипетиями классовой борьбы, и все же третья глава «Манифеста» со своими яркими характеристиками продолжает оставаться актуальной и помогает осмысливать многообразие современных социально-политических исканий и построений.

Разгадка этого явления заключается в том, что, несмотря на далеко шагнувшую вперед эволюцию капиталистического общества, основные классы его и их оценка тенденций исторического развития в основном остались прежними. Мы и теперь вправе говорить о современном нам феодальном социализме, о современном буржуазном социализме, наконец, о современном социализме утопическом. Конечно, и в этом единстве есть различие. Крот истории славно рыл в течение восьмидесяти лет.

В плоскости чисто исторической капиталистическое общество вступило в эпоху империализма и пролетарских революций. От ничтожного по размерам, но, конечно, не по значению, первого опыта диктатуры пролетариата, Парижской Коммуны, история перешла к грандиозному размаху Союза Советских Социалистических Республик. В плоскости теоретической за это время не только вполне сформировался и развился марксизм, но дает свой первый бой и впитавший все идейное и практическое богатство марксизма ленинизм.

Пред лицом таких событий не могут не перестраивать по форме своих рядов и новые разновидности старых социализма и «социализма». Их обнаруживающие признаки жизни эпигоны вынуждены считаться как с историей последних восьмидесяти лет, так и с их теорией, детищем, выросшим из нескольких страничек «Коммунистического Манифеста», до необ'ятных пределов, именно, с марксизмом.

Всякий, выступающий в наши дни с собственным социально-политическим «откровением» и заслуживающий в той или иной

степени того, чтобы о нем говорили,—всякий эпигон социализма феодального, буржуазного или утопического обязан, прежде чем он приступит к построению своего социального идеала, так или иначе посчитаться с марксизмом.

Эта необходимость настолько об'ективна, что сознается современными подобными «социалистами». Возьмем ли мы М. Уильяма, прекрасного представителя современного буржуазного социализма, восхищенного дешевыми автомобилями Форда и, по существу, пытающегося теоретически обосновать фордизм, как социальную теорию [1]); возьмем ли мы Л. Делиньера, характерного представителя современного утопического социализма, взывающего к методам действия старого утопизма [2]),—оба они принуждены начать с критики марксизма, и прежде всего его философских и теоретико-исторических положений. Было бы очень интересной и благодарной задачей обозреть по рубрикам, установленным в «Манифесте» К. Марксом и Ф. Энгельсом, все разновидности современного «социализма». Это не только показало бы неувядающую свежесть «Манифеста», но было бы и лучшим способом выявить классовую сущность современных эпигонов. Особенно знаменательно то, что в «Коммунистическом Манифесте» исчерпывающе предуказаны все основные разделы такой работы. Не говоря уже о мелкобуржуазном и христианском социализме, даже «немецкий или истинный социализм» не сошел в могилу без компенсации. «Сотканный из умозрительной паутины, расшитый причудливыми цветами краснословия, смоченный слезами чувствительного умиления покров» его возродился ныне в Америке в лице Г. Уотона; элементы его есть у Г. Лукача.

Несомненно, наиболее неожиданным и пикантным является возрождение в наши дни реакционного социализма, именно, социализма феодального, по классификации Маркса и Энгельса. Это—самый почтенный по социологическому возрасту мертвец. Первое появление его, тогда живого, было закономерно и исторически понятно. После якобинских громов Великой Французской Революции, уже в эпоху политической реакции и при победном шествии капитализма выступил феодальный социализм во Франции в лице Жозефа де-Местра и Луи де-Бональда.

Выступил он с критикой нового капиталистического строя, но не во имя строя будущего, новейшего, а во имя старого уже к тому времени отжившего строя средневекового. Патриархально-феодальные иллюзии предносились очам Бональда и де-Местра сквозь густую вуаль католической мистики. Для де-Местра восставшая против средневековья революция преисполнена

[1]) См. «Social Interpretation of History» by M. Willam, 1923, и нашу статью в «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 8—9.

[2]) См. «Delivrons-nous du marxisme» par L. Desliniéres, 1924, и нашу статью «Падение социализма от науки к утопии» в «Под Знам. Маркс.» 1926 г., № 3—4.

сатанинских сил, она провиденциальна и ниспослана свыше за грехи людей. Провиденциальность революции является залогом того, что даже революционеры действуют для славы Франции, истребляя друг друга; «революция должна сама себя пожрать», победителями должны оказаться аристократы, не взирая на то, что «эмигранты ничто и не могут ничего».

Место нового в то время капиталистического общества, разрушающего феодальную идиллию и возглавляемого parvenu без рода, без племени, должно занять общество дореволюционное, но отнюдь не предреволюционное, отравленное духом безверия и уничтожения. Это, видите ли, в глазах реакционера де-Местра было бы шагом назад, реакцией. Нужно отступить еще дальше, в средние века: такой глубокий шаг был бы, с точки зрения де-Местра, шагом вперед, он явился бы «завоеванием революции». Назад к средневековью —таков призыв де-Местра после буржуазной социальной революции конца XVIII столетия. И вот, несмотря на то, что мы переживаем уже пролетарскую социальную, т.-е. социалистическую, революцию, этот же призыв раздается со стороны современных феодальных социалистов. Современный феодальный социализм есть лишь облаченный в новые одежды, принявший лишь новые формы «социализм» де-Местра и Бональда.

Кто же является родителями, повитухой и нестуном этого нового запоздавшего на сто лет со своим рождением уродливого детеныша? Он не мог родиться в сверхкапиталистической семье автомобилей и тракторов Форда или среди небоскребов Нью-Йорка; его не могли произвести на свет ни французский крупный или мелкий рантье, ни немецкий клейнбюргер. Их социальная установка не выходит за предел капитализма ни в ту, ни в другую сторону.

Он мог быть зачат только в дворянских имениях России да в подобных им юнкерских поместьях Пруссии. Долго зрел и культивировался этот плод в необ'ятном чреве «святой Руси», пока, уже после пушек Октября, не разразились тяжелые, болезненные роды в чужой, зарубежной обстановке после длительных авантюрных и дорожных приключений родильницы. Западноевропейский капитал принял ублюдка в свое лоно и заботливо нестует его и терпимо относится ко всем теоретическим шуточкам этого enfant terrible. Лучше уж ушибленный при самом рождении своем, с явными атавистическими признаками ублюдок, чем здоровый красный крепыш как сказочный богатырь, не по дням, а по часам растущий на Востоке.

Итак, помещичье-дворянская семейка, и за рубежом окруженная целой сворой лакеев, услаждающих господское ухо сладкими перепевами православно-славянской мистической филосо-

фии,—вот та среда, в которой родился феодальный социализм наших дней. Лакейская корпорация его теоретиков насчитывает в числе своем имена «заслуженных деятелей науки», «плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и повсюду православных», а этих «заслуженных» окружает еще плеяда молодых старателей второго поколения, «их же имена ты весь, господи».

Как говорится, среди присутствующих мы заметили много старых знакомых: здесь Н. Бердяев, в детстве неосторожно игравший с огнем марксизма и ныне старательно замаливающий эти грехи молодости в каждогодно выпускаемых молитвенниках; здесь и С. Франк, скинувший за рубежом последние одежды либерализма и разгуливающий теперь в одних исподниках «Живого знания»; здесь и средневековый фанатик Л. Карсавин, простирающий свои руки инквизитора к Джордано Бруно; здесь и «чистый философ» Н. Лосский, своим обоснованием интуитивизма прокладывающий всей братии путь в четвертое измерение вселенной; здесь и неудачливый приват-доцент Б. Вышеславцев, сменивший действенную стихию Фихте на «русскую стихию» у Достоевского; здесь и смиренный иерей С. Булгаков с непосвященным еще иподиаконом И. Ильиным.

«Наши за границей» разместились в порядке и затянули свой литургический концерт. Нам нет нужды останавливаться на каждом из них в отдельности, ибо роли в концерте распределены и общий тон задают лишь первые скрипки. Если Н. Лосский занялся высокими гносеологическими вопросами и погрузился в «непосредственное восприятие трансцендентного мира», то С. Франк в последнем своем выступлении принял на себя задачу критики «основ марксизма», предоставив Л. Карсавину и еще больше Н. Бердяеву область философии истории и практических социальных идеалов. Последнее вполне понятно, потому что теория не может быть оторвана от практики, и у наших феодальных социалистов их практический общественный идеал теснейшим образом связан с рассуждательством на тему о смысле природы и истории.

Критика основ марксизма оставлялась за последнее время в стороне, как нечто само собой разумеющееся, на что не стоит тратить времени, как нечто такое, что не заслуживает внимания тех, кто шагнул уже в «четвертый план бытия». Но тяга молодежи к материалистическому мировоззрению заставила зарубежных героев заняться и этим неблагодарным делом. С. Франк принял на себя эту миссию в специальной работе, в популярной форме обращенной, именно, к «молодежи, выросшей под идейным влиянием или давлением духовной атмосферы, господствующей

в России со времени революции 1917 года» [1]). Эта работа, впитавшая в себя основы философии истории современной бердяевщины, призвана расчистить путь для положительных построений других. Итак, при некотором разнобое по частным вопросам «наши за границей» совместными усилиями при мудром разделении работы трудятся над обоснованием и построением феодального социализма.

2.

В том, что наши рыцари имеют идейными отцами творцов феодального социализма его классического периода, не может быть никаких сомнений. Сам Н. Бердяев еще в 1923 году поведал об этом в своей «Философии неравенства». Жозеф де-Местр,—писал он там,—«пережил страшный опыт революции, и от этого произошло углубление всей католической мысли»; Ж. де-Местр со своей апологией мистического средневековья является для Бердяева идеалом мыслителя: «Явление Ж. де-Местра было самым замечательным явлением французской революции» [2]). Де-местризмом проникнута и одна из последних работ Бердяева «Новое средневековье».

Де-Местр не был, как известно, единственным представителем феодального социализма. К нему примыкал и Луи Бональд, явлением того же порядка был и христианский романтизм Шатобриана. Все эти святые отцы реакции черным по белому записаны в святцах Бердяева. Говоря о феодальном социализме, Маркс и Энгельс имеют в виду и его английскую разновидность в лице Т. Карлейля. Как на подбор и этот отец значится у Бердяева в качестве лучшего историка Великой Французской Революции, поелику он видел в ней «последствия неверия, потери органического центра жизни, наказание за грехи».

Для Бердяева проблемы гносеологии—давно превзойденная ступень. Гораздо ближе его сердцу божественная онтология. Он нашел свою истину в интеллектуальном интуитивизме, в мистическом умозрении, и потому считает себя свободным от обязанности обосновывать свою философию нового средневековья. Он не говорит, а вещает, не доказывает, а провозглашает, не предполагает, а пророчествует. «На всякой революции,—вещает этот новый Иеремия,—лежит печать безблагодатности, богооставленности или проклятия». «Революция по духовной своей природе есть разрыв отчей и сыновней ипостаси (через ижицу! *И. Л.*). Она разрушает

[1]) С. Л. Франк, Основы марксизма, Евразийское книгоиздательство, Берлин 1926.

[2]) Н. Бердяев, Философия неравенства, Письма к недругам по социальной философии, Обелиск, Берлин 1923, стр. 14.

тайны единства св. троицы в мире, в истории, в обществе» [1]). Революция «безблагодатна» потому, что она выступает против власти. О власти же, как это хорошо знает Бердяев, было прекрасно написано еще у ап. Павла: «Власть имеет онтологическую основу и она восходит к первоисточнику всего, что имеет онтологическую реальность. Онтология власти исходит от бога». Всякая же власть иерархична, ибо еще в священном писании сказано: «Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе». Бердяев не приводит этого речения, но он крепко держится за него и даже пытается, исходя из своих позиций, найти ему об'яснение: «В аристократизме есть божественная прихоть и произвол, без которых невозможна космическая жизнь, красота вселенной» [2]).

Эта аргументация естественной иерархии от «красоты вселенной» и «божественной прихоти» напоминает страничку из переписки Б. Спинозы. Некий «доктор прав» Гуго Боксель обратился к Спинозе с просьбой изложить свое мнение о природе привидений и духов; когда Спиноза спокойно ответил ему, что существование духов—не более как выдумка «ребят, глупцов или сумасшедших», то Боксель аргументировал тем, что «существование духов приличествует великолепию и совершенству вселенной». На это Спиноза скромно отвечал между прочим, что «великолепие есть не столько свойство об'екта, сколько явление, происходящее в воспринимающем суб'екте», что он не видит оснований, почему именно духи и привидения должны способствовать великолепию вселенной, а не чудовища в виде центавров и грифов, в реальность которых никто не верит. Так и Бердяеву можно было бы скромно возразить, что он не приводит никаких доказательств в пользу того, что именно неравенство должно украшать вселенную.

Апокалиптические и кликушеские вещания Бердяева убедительны только для того, кто сам уже свихнулся в мистику. В глазах же того, кто еще не расстался с здравым смыслом, эти вещания только забавны.

Вот поэтому-то С. Франк и увидел необходимость, сделав вид, что он об'ективен и беспристрастен, подвергнуть критике основы марксизма и прежде всего исторического материализма. Он не обнаруживает воочию своей солидарности с Бердяевым, но всю свою критику строит так, чтобы подвести читателя к выводам, уже предсказанным Бердяевым. Поэтому и мы вправе познакомить наших читателей с этими теоретиками феодального социализма, взяв их за одни скобки.

[1]) Ibid., стр. 92.

[2]) Ibid., стр. 108.

Нужно прямо сказать, что критика марксизма является самой жалкой частью современного феодального социализма, этого самого жалкого социально-политического учения наших дней. В особенности это касается логической критики марксизма.

Однако наши рыцари печального образа имеют в запасе и критику историческую. Соприкосновение их в далеко минувшие дни с марксизмом не прошло для них даром в том смысле, что они пытаются подвести под марксизм социально-исторический базис, чтобы сделать отсюда необходимые для себя выводы. «Экономический,—как выражается С. Франк,—материализм, хотя и с некоторым преувеличением, но верно передает, так сказать, стиль жизни в новейшую капиталистическую эпоху западно-европейских стран»,—таков принципиальный тезис наших рыцарей [1]).

Исторический материализм,—говорит Бердяев,—не был теоретической выдумкой, он отразил какую-то действительность. Эта действительность есть действительность капиталистического общества и «социализм Маркса—плоть от плоти и кровь от крови буржуазно-капиталистического общества, явление внутри этого общества... Он духовно остается в той же плоскости. Социализм буржуазии до самой своей глубины и никогда не поднимается над уровнем буржуазного чувства жизни и буржуазных идеалов жизни» [2]).

Исторический материализм есть, стало быть, порождение капиталистического строя, и, как таковое, он никогда не способен выйти за его пределы. Но как же быть в таком случае с отрицанием марксистами принципа частной собственности на средства и орудия производства, этого устоя капиталистического строя, и с сохранением его согласно идеалу феодального социализма? Об этом умалчивается, ибо это разрушает всю стройную концепцию наших рыцарей. Не этот устой буржуазного общества является бельмом на глазу у наших критиков и не за него отвергают они капиталистический строй. «Они упрекают буржуазию гораздо более в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она создала пролетариат вообще,— это было сказано еще около восьмидесяти лет назад.

Социализм,—говорит Бердяев,—связал свою судьбу с пролетариатом, с детищем буржуазии. Положение рабочего класса в капиталистическом обществе,—соглашается он,—бедственное, заслуживающее сочувствия и помощи. «Но,—видите ли,—в душевном типе этого класса нет особенно высоких черт. Он,—по компетентному сообщению Бердяева,—лишен творческой избыточности». Пролетариат, оказывается, низший человеческий тип, без благо-

[1]) С. Франк, Основы марксизма, стр. 23.
[2]) Н. Бердяев, Философия неравенства, стр. 150.

родных черт, т.-е., конечно,—оговаривается Бердяев,—они могут быть у отдельных рабочих, но для этого у них не должно быть пролетарского сознания. Вместо того, чтобы показать истинный социально-исторический смысл и содержание формулы «марксизм есть порождение капитализма», Бердяев показал социально-исторический смысл теории феодального социализма, он слишком поспешно показал на своей спине «старые феодальные гербы».

Привязав марксистский социализм к капитализму, наши рыцари оказываются перед новой задачей. Так как ни для кого не секрет, что капитализм закономерно, хотя и не мирно, вырос из феодализма, то теперь требуется доказать, что последний никак по природе своей не мог породить капитализма. Те досадные события и явления, какие имели место в Западной Европе в XVII и XVIII столетиях, были какой-то игрой духов или духа. О закономерном развитии не может быть и речи. В лучшем случае события совершались в согласии с учением неоплатоников либо путем эманации, «истечения», либо путем греховного «отпадания». «Первой,—сообщает все тот же Бердяев,—отпала от святынь буржуазия» и за нею пошел «пролетариат». Это «отпадение от святынь» невежественные люди и называют в темноте своей рождением капитализма.

Бердяев для вящшего ущемления истории берет даже в кавычки название обоих классов. Если уж говорить начистоту, «буржуазия» и «пролетариат», это—абстракции, «фикции, отравившие нашу жизнь», однако они психологически реальны. Они, видите ли, не онтологичны, и все же приходится признать, что в них образ человеческий и даже божеский, ибо «сотворены они по образу и подобию божию».

Однако Бердяев понимает сам, что, витая среди онтологических, вневременных и внепространственных сущностей, он не подвинется далеко в решении своей задачи. Поэтому он начинает говорить более земным языком: «Индивидуализм, атомизация общества, безудержная похоть жизни, неограниченный рост народонаселения и неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабление духовной жизни,—все это привело к созданию индустриально-капиталистической системы, которая изменила весь характер человеческой жизни, весь стиль ее, оторвав жизнь человеческую от ритма природы» [1]). Все эти факторы,—только бы не развитие производительных сил и не рост классовых противоречий внутри феодализма,—и привели, по Бердяеву, к капиталистическому строю, к греху, который, как известно, порождает

[1]) Н. Бердяев, Новое средневековье, Размышление о судьбе России и Европы, Обелиск, Берлин 1924, стр. 29.

всегда другой грех, в данном случае коммунизм Маркса и Энгельса.

О «безудержной похоти» капитализма, о всех тех разрушениях, которые внес он в патриархальные и феодальные отношения, достаточно говорили еще Маркс и Энгельс во второй главе «Коммунистического Манифеста». Все это и было последствием установления капиталистического строя. Но у Бердяева и Франка все стоит на голове.

Франк согласен с Бердяевым по вопросу о происхождении капитализма. Поскольку он взял себе в удел теоретическую критику марксизма, у него это представлено в еще более отчетливой форме. Подводя «базис» под марксизм и вместе с тем критикуя материалистическое учение марксизма, Франк заявляет, что «то, что марксизм считает последствием капитализма, есть на самом деле не его последствие, а его причина». Новейшие исследования ученых, видите ли, «неопровержимо показали», что «капитализм родился... из сурового религиозного духа, для которого путь спасения лежал не в молитве и вере, но и не в делах милосердия, а в угрюмом упорном трудолюбии».

Итак, религиозный дух был причиной всех грехов капитализма. Не говоря уже о странной «прихоти» этого духа, как же понять вольнодумство и атеизм XVII и XVIII столетий? По Франку, все обстояло очень просто: «Затем, по мере ослабления вообще религиозных верований в Европе, жажда наживы ради нее самой, поклонение золотому тельцу все более и более вытесняли все иные, нравственные мотивы человеческих отношений». Какой странный этот «религиозный дух»! Усиливаясь, он порождает капитализм, и, ослабляясь, он вновь порождает и укрепляет этот же самый капитализм. Но Франку все на потребу; он полагает, что вышеприведенными фразами он доказал свой тезис: «Не потому человек обездушел, что жил в капитализме, а потому он попал в плен к капитализму, что обездушел» [1].

В преподавательской практике, при первоначальном, по необходимости элементарном изложении основ материализма и идеализма, говоря о теле и «душе», о материи и «духе», подчас невольно задумаешься над слабыми сторонами популярного изложения философских вопросов. Ведь не может же быть, думаешь, что современный идеалист так неприкрыто будет отстаивать спиритуализм, так откровенно говорить о «духе» и об'яснять все и вся при помощи этого самого духа. Но когда просмотришь писания «наших за границей», наших распоясавшихся за рубежом онтологистов, то увидишь, что и в самом элементарном изложении философии марксизма нет никаких преувеличений на счет всеоб'ясняющего духа идеалистов. Каждая страница работы С. Франка об основах марксизма пестрит «духом», если не во всех числах, то, по крайней мере, во всех падежах. Нужно признать, что такие приемы критики марксизма, обращенной к молодежи, во всяком случае далеко не педагогичны.

[1] С. Франк, Основы марксизма, стр. 13.

3.

Найдя в капитализме социальный базис марксизма и не поняв в этом отношении что к чему, С. Франк переходит к логической критике марксизма. Ему и Бердяеву нужно доказать, что марксизм не выдерживает критики и что социализм Маркса и Энгельса есть тот же капитализм. Философия марксизма, диалектический материализм, благосклонными критиками оставляется совершенно в стороне, ибо нельзя же считать всерьез один абзац в брошюре С. Франка, посвященный этому вопросу. Из него мы узнаем, что материализм Маркса и Энгельса «остается доселе как бы официальной философией марксизма», что Маркс и Энгельс «заимствовали у немецкого философа Гегеля его учение об ограниченности и относительности всех рассудочных человеческих понятий, превратив его в релятивизм».

Чрезвычайно удобный, недорого стоящий, в полном смысле слова дешевый способ критики: приписать своему противнику неприемлемые для него взгляды и затем критиковать эти взгляды. И вот мы узнаем, что если релятивисты хотят быть последовательными, то они должны признать относительным и свое учение, ergo учение марксизма тоже относительно, не заключает в себе истины и т. д., и т. п. Но какое, собственно, отношение имеют все эти разговоры к марксизму? Когда марксизм отождествлял себя с релятивизмом и возможно ли об'ективно такое отождествление?

Как известно, марксизм подвергает релятивизм резкой критике. Для марксизма относителен и релятивизм, т.-е. относительно различие между относительным и абсолютным, т.-е. в известном смысле мы можем говорить и об абсолютном, поскольку абсолютная истина слагается из истин относительных; таково вкратце диалектическое решение марксизма по этому вопросу. Вместо этого С. Франк в погоне за отысканием противоречий в марксизме ломится в открытую дверь, доказывая, что «материализм противоречит релятивизму».

Далее С. Франк заявляет, что «некоторые марксисты обосновывали этот релятивизм или, как обыкновенно выражаются марксисты «диалектику» на новейшем учении прагматизма». Мы не знаем, каких «некоторых марксистов» имеет в виду С. Франк, но он должен был бы знать, что тот, кто становится прагма-

тистом, перестает быть марксистом, он должен был бы знать, что в ортодоксально марксистской литературе имеются специальные работы, направленные против прагматизма. Впрочем, что можно ждать от нашего критика, для которого разницы между релятивизмом и диалектикой нет. Подменив марксизм релятивизмом и прагматизмом, он, естественно, быстро разделывается со своим противником. В надежде же на какую молодежь писал свою книгу С. Франк?

В философской части своей критики Франк находит в марксизме еще одно противоречие,—противоречие между материализмом и социализмом. Это достигается привычными приемами. Сначала он определяет марксизм как учение о «слепых силах материи», не исключая и человека, затем определяет социализм, как «царство добра и любви», и, наконец, спрашивает, откуда же возьмутся в слепой и мертвой материи начала добра и разума[1]). Раз'яснять всю нелепицу и все убожество такой критики и вообще таких представлений было бы без нужды скучным занятием, лишь унижающим современного советского читателя.

Бердяев поступает проще и короче. Материализм и безбожие социалистов,—говорит он,—от капиталистического общества! Бердяев не хочет потрудиться хоть несколько проанализировать пути развития капитализма. Он поистине производит «комическое впечатление полной неспособностью понять ход новейшей истории». Если материализм пролетариата от буржуазии, то нужно хоть поставить вопрос: от какой буржуазии. Если социализм Маркса не способен выйти за пределы капитализма, то где же в настоящее капиталистическое время буржуа—материалисты и атеисты? Не буржуазия ли крепко держится сейчас за религию и не потому ли она так терпимо относится к Франкам и Бердяевым? В своем материализме современный пролетариат имел предшественников в лице буржуазии, но буржуазии революционной, когда она еще не стояла у государственной власти. Между тем «феодалист» Бердяев все валит в одну кучу, ибо он упрекает буржуазию не только в том, что она породила диалектический материализм пролетариата, но и в том, что некогда она породила материализм вообще.

«Социализм есть лишь дальнейшее развитие индустриально-капиталистической системы, лишь окончательное торжество заложенных в ней начал и всеобщее их распространение»[2]). Соответственно этому и С. Франк заявляет, что «экономический материализм» есть отражение буржуазного нигилизма и «культ буржуазности». Этот «культ буржуазности» Франк видит в «экономическом

[1]) С. Франк, Основы марксизма, стр. 43.
[2]) Н. Бердяев, Новое средневековье, стр. 131.

об'яснении истории». Исторический материализм сей рыцарь печального образа понимает, если понимает,—до невозможности плоско и пошло. Взятый с этой точки зрения марксизм сводится к указанию: «В карман норови, в карман!».

Вчуже обидно становится за своих противников. Неужели ни шагу вперед за последние двадцать—двадцать пять лет! Неужели вся ученость критиков с именами сводится к тому, чтобы твердить азы и пережевывать все одну и ту же жвачку в течение нескольких десятков лет! И однако это так. Буржуазность марксизма они видят в том, что марксизм при уразумении социальной действительности исходит из экономики данной общественной структуры, что при всяком историческом прогнозе он исходит из анализа соотношения производительных сил и производственных отношений, из анализа данной ситуации классовой борьбы,—в том, наконец, что марксизм переносит и в социалистический строй все достижения капиталистической техники. В этом «чистые духом», незапачканные копотью фабричных труб наши «феодалисты» видят «отпадение от божества» и прочие ужасы.

На это теоретическим агнцам феодального социализма можно было бы возразить, что марксизм и при изучении феодализма также исходит из экономики общества; однако на основании этого они вряд ли согласятся, что между феодализмом, как системой, и марксизмом, как теорией, есть что-либо общее. Не говоря уже о том, что понимание исторического материализма, как теории суб'ективных корыстных целей, есть полное невежество, нужно сказать, что оно отражает именно природу господствующего при феодализме и капитализме меньшинства, является суб'ективным преломлением исторического материализма в голове этого меньшинства и не имеет ничего общего с об'ективным содержанием марксизма. И когда Франк с авторитетным видом заявляет, что ни крестовых походов, ни господствующей роли церкви нельзя об'яснить из экономических причин и интересов, он способен вызвать в любом рабфаковце неудержимый хохот. Как раз эти явления и события давным-давно об'яснены уже буржуазными историками. Это—аберрация, которая вряд ли имела место даже в головах заправил и идеологов «крестовых походов» или, точнее, вооруженных торгово-капиталистических экспедиций на Восток.

Свою логическую критику С. Франк строит путем отыскивания в марксизме «неразрешимых» антиномий. Однако эти неразрешимые противоречия рассыпаются как карточные домики при первом же прикосновении анализа. Эти противоречия или нарочито приписываются марксизму, или являются плодом невежества автора, или, наконец, свидетельствуют об узко формаль-

ном, метафизическом складе мышления критика. Посмотрим же, что это за противоречия.

«Противоречие» первое: марксизм подвергает критике буржуазное зло, марксизм сам проповедует его. Тезис верен, антитезис неверен. Нелепо говорить, будто марксизм проповедует «корысть как нормальное, всеобщее и необходимое свойство человеческой природы». Марксизм отрицает «вечные» свойства «человеческой природы», будучи мировоззрением глубоко историческим. Секрет этого противоречия в том же, в чем и формулы «В карман норови!»: в невежестве автора.

«Противоречие» второе: марксизм требует «чистой научной созерцательности, совершенного бесстрастия при осмыслении общественных явлений». Марксизм «вопиет и проповедует, что капитализм есть зло и неправда, а социализм—добро и правда». Антитезис верен, тезис полностью не верен. Марксизм отвергает предубежденный априорный подход к изучаемому явлению. Он требует спокойного и об'ективного изучения социальной действительности. Но марксизму нелепо приписывать лозунг Спинозы: «не плакать, не смеяться, а понимать». Так думал когда-то П. Струве. Это только первый шаг, но, «познав» какое-либо явление, хотя бы тот же капитализм, нельзя «не плакать и не смеяться». В силу своей классовой принадлежности и классовой психологии будешь или «плакать» или «смеяться» по поводу этого познанного явления, т.-е., на основе об'ективного анализа оценив данное явление, будешь действовать или за него, или против него. Секрет этого «противоречия» в недиалектическом формальном складе мышления критика.

«Противоречие» третье: марксизм проповедует аморализм (готтентотская мораль),—марксизм проповедует «суровый моральный ригоризм, требующий от человека самопожертвования». В абстрактной форме не верны ни тезис, ни антитезис. Марксизм не «аморален», марксизм не проповедует морали. Противоречие это диалектически снимается в понимании морального, нравственности с классовой точки зрения. «Нравственность, это—то, что служит разрушению старого эксплоататорского общества и об'единению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов» (Ленин). Эта конкретная мораль есть применение метода диалектического материализма к вопросам этики. Секрет «противоречия» в рассудочном, формальном мышлении критика.

«Противоречие» четвертое: марксизм есть «противоестественное и ложное сочетание аморализма или морального пессимизма (вера, что злые и корыстные побуждения суть единственный сильный и прочный двигатель человеческих действий) с наивным моральным оптимизмом—плодом рационалистического сен-

тиментализма XVIII века». Здесь неверны оба члена антиномии. Тезис возвращает нас к первому «противоречию»; антитезис просто не верен. Рационалисты, как потом и наши народники, говорили об «уклонении» человечества от правильного состояния, о необходимости вернуться к идеалу. Марксисты стоят на точке зрения развития, конечно, не провиденциального, а являющегося результатом сложной борьбы внутри общественных структур. Марксизм не абстрактно-оптимистичен. Но если капитализм был неизбежным шагом вперед по сравнению с феодализмом, то таким же шагом вперед явится и социализм. В таком «оптимизме» нет ничего рационалистического или сентиментального, а есть об'ективная истина, уже подтверждаемая историей.

«Противоречие» пятое: «общий итог противоречивости марксизма заключается в противоречивом сочетании в нем эволюционизма с революционизмом». Вовсе не нужно быть диалектиком, чтобы сочетать эти два принципа. Кто сказал Франку, что признание «медленного, как бы микроскопически накапливающегося и ни от чьей умышленной воли не зависимого развития» не может сочетаться или исключает возможность и даже необходимость революционного вмешательства в постепенный ход эволюции? Поистине, выдуманная антиномия!

«Противоречие» шестое: противоречивое сочетание в марксизме общественного реализма и утопизма. Сам Франк сводит эту антиномию к уже известной нам антиномии пессимизма и оптимизма. Тем самым он облегчает нам задачу. Странно только то, что прежде пессимизм приравнивался Франком к аморализму, к проповеди «готтентотской» морали, а теперь это называется реализмом! Приравнивать же утопизм к оптимизму нет никаких оснований даже в чисто логической плоскости. Это понятно только в глазах феодального социалиста Франка, которому его классовая природа не позволяет отделять утопизм от коммунистического мировоззрения. Это—то, что Ф. Бэкон назвал бы idola theatri.

«Противоречие» седьмое: «марксизм противоречиво сочетает органическое общественное жизнепонимание с неорганическим». Этим Франк хочет сказать, что марксизм, с одной стороны, рассматривает общество как о р г а н и з м, который живет и развивается «изнутри», по присущим ему законам, а с другой—как м е х а н и з м, «устроенный по определенному, извне внесенному в него порядку». Здесь опять не верны ни тезис, ни антитезис. Общество для марксизма—ни организм, ни механизм; общество есть совокупность производственных отношений, взятых в их целом. Ни при помощи биологических категорий (общество—организм), ни при помощи категорий механики (общество—механизм) мы не поймем того, что совершается в обществе; адекватное познание его возможно лишь с помощью категорий исто-

рического материализма. Если в дни юности С. Франка эти методологические вопросы не привлекали особого внимания марксистов, то в наши дни они достаточно уже разработаны. Поэтому-то всякое отождествление диалектического материализма с материализмом механическим свидетельствует о значительной отсталости ученых критиков. Никто не навязывает обществу законов извне, общество развивается по специфическим социально-историческим законам, которые не совпадают в полной мере с законами развития животных организмов. Тем самым снимается и седьмое противоречие.

«Противоречие» восьмое и последнее: марксизм есть атеистическое учение, марксизм есть религиозное учение. С. Франк дает чрезвычайно глубокомысленное различение между атеизмом и религией. Вторая «верует в то, во что и надлежит веровать, и полна неверия к тому, что и требует неверия». Атеизм же, «не веря в то, во что следует веровать, обращает свои неиспользованные силы веры на то, во что нельзя веровать». Давно известно, что тавтология не есть определение, но в данном случае забавно не это. Забавно то, что верующий автор никак не может представить себе людей неверующих; для него каждый атеист непременно должен был бы покончить самоубийством. Это уж такие зады, которые были опровергнуты еще в конце XVII и в XVIII веке не только материалистами, но и скептиком Бейлем, и деистом Юмом.

Франк не в состоянии понять, что возможно существование атеистов, что возможно атеистическое мировоззрение. А если так, то, стало быть, и марксизм религия, религия человекобожия, которая верит в человека, в то, «во что нельзя веровать». Соответственно марксизм есть религия языческая, а сам Маркс «был воплощением ветхозаветного пророка, вместе с тем и в еще большей степени был воплощением дьявола искусителя»! Словом, трепещите, языци, и покоряйтесь!

Религиозные шоры Франка приводят к совсем смехотворным выводам, достойным лишь деревенской кликуши. СССР, осуществление учения марксизма, не может быть ничем, кроме теократии. Но назвать диктатуру пролетариата теократией все-таки неловко, это ведь должно привести к определенным политическим выводам, ибо «несть власти аще не от бога», ибо, как мы знаем уже от Бердяева, «онтология власти исходит от бога». Выхода из тупика нет. Но религиозно-верующий человек всегда найдет выход, если не в трехмерном мире, то в «четвертом плане бытия». Бог имеет своим коррелатом сатану. Стало быть, марксизм есть религия сатаны. Если, по словам Бердяева, во всякой власти священный гипноз, то, по его же словам, в СССР—демонический гипноз. Если СССР не может

по своей «онтологической» сущности быть теократией, то, стало быть, СССР есть сатанократия. Всякие комментарии излишни. В СССР—сатанократия, а у алжирского бея под носом шишка, так говорит Бердяев-Поприщин.

4.

Согласно принципу разделения труда Франк и Бердяев отмежевали себе определенную область. Теория познания, или гносеология, их не интересует. Однако это вовсе не означает, что их, в особенности Бердяева, онтологические и социально-философские конструкции лишены гносеологических основ; напротив, они только и возможны при условии известных теоретико-познавательных предпосылок. Разработку этих предпосылок взял на себя небезызвестный Н. Лосский, выпустивший в 1924 году в том же издательстве «Обелиск» третье «переработанное и дополненное» издание «Обоснования интуитивизма». В этой книге Н. Лосский, если не по теме, то по мировоззрению, обнаружил полное единство взглядов с Франком и Бердяевым. Таким образом, Н. Лосский является гносеологическим отцом своих онтологических ребят, старшим и наиболее отчаянным головорезом из которых является Н. Бердяев.

В задачу нашей статьи не входит изложение и критика благоглупостей Н. Лосского. В двух словах мы хотим наметить только гносеологические корни Бердяева. «Философское направление,—пишет Лосский,—обосновываемое нами, можно назвать мистическим» [1]). «Наша теория знания заключает в себе... утверждение, что мир не—я (весь мир не—я, а также сверхмировое начало), познается так же непосредственно, как мир я».

Это краткое положение является сутью всей «теории познания» Лосского, вся она сводится к нему и не заключает в себе ничего иного. Так как доказать это положение невозможно, то всю книгу в 276 страниц наполнена учеными высказываниями автора по всевозможным побочным вопросам.

Нашим феодальным социалистам вся многообразная действительность, включая и «сверхмировое начало», дана непосредственно в интуиции. Что делать с этими ясновидцами? Как с ними спорить? Можно, конечно, поставить им ряд вопросов, например, вопрос об истине, о критерии достоверности их собственных знаний. Этот вопрос, как будто, должен их интересовать, поскольку они ведь не могут не стремиться к достоверному знанию.

[1]) Н. Лосский, Обоснование интуитивизма, Обелиск, Берлин 1924, стр. 93.

Ответ их оказывается явно неудовлетворительным. Интуитивизм Лосского базируется отнюдь не на чувственной интуиции. Это, конечно, вполне понятно, ибо, скажем, «сверхмировое начало», т.-е. божество, никак не может быть дано в чувственном созерцании. Даже Бердяев не решится утверждать это. Вместо интуиции чувственной Лосский и «иже с ним» выдвигают интуицию нечувственную, интеллектуальную, чистое умозрение или спекуляцию, как пишет и сам Лосский.

Один из «недугующих и страждущих», И. Ильин, посвятил целую статью выяснению связи между философией и жизнью. В первой половине статьи Ильин настаивает на том, что «философское знание есть опытное знание». Он указывает на то, что даже крайние рационалисты и априористы в своей философии не могут обойтись без опыта. Все это здраво и трезво, но давно известно, что следует бояться данайцев, даже дары приносящих. Все дело в том, что понимать под «опытом». Ильин пишет: «Однако это совсем не означает, что всякий опыт есть чувственный опыт, т.-е. что он состоит в восприятии вещи телесными «чувствами». Бесспорно: всякий чувственный опыт есть опыт; но далеко не всякий опыт есть опыт чувственный. И вот, философия творится именно нечувственным опытом; в этом вторая аксиома философской методологии» [1]).

По Ильину, старая эмпирическая формула: nihil est in intellectu, quod non fuerit aute in sensu не верна даже с добавлением Лейбница: nisi intellectus ipse, «ибо дело не только в том, что сам познающий интеллект имеет нечувственную природу, но в том, что дух человека может и должен иметь дело с нечувственными содержаниями и,—через них,—со сверхчувственными предметами» [2]). Таким образом, при ближайшем рассмотрении «опыт» И. Ильина оказывается все той же спекуляцией.

Спекуляция—единственное прибежище современных онтологистов, ибо содержание ее проверке не поддается. Спекуляция как новых, так и старых интуитивистов и мистиков есть прекрасное убежище для всяческого суб'ективизма и произвола знания, ибо, приняв умозрение за источник познания, никто не сможет доказать, что, напр., Лосскому не дано в умозрении «сверхмировое начало», а Бердяеву, скажем, все три ипостаси христианского бога.

Стремясь представить свое знание об'ективным, Лосский задается вопросом, что есть истина, и отвечает на него, что

[1]) «София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии», под ред. Н. Бердяева, 1, Берлин 1923. Статья И. Ильина, «Философия и и жизнь», стр. 70.

[2]) Ibid., стр. 74.

истина есть «сама действительность в различенной форме». Об этом определении можно сказать то же самое, что некогда Мальбранш сказал о боге=субстанции Спинозы: определение в общем приемлемое, но то употребление, которое из него делает автор, совершенно неприемлемо. Разница в том, что спинозовское определение бога, приемлемое для Мальбранша, имело совершенно материалистическое содержание. Определение же истины у Лосского, формально приемлемое для материалиста, получает у Лосского совершенно мистическое содержание, ибо для него действительность, бытие включает и «сверхмировое начало».

Естественно, что Лосский должен в таком случае определить и критерий истины, только тогда конкретизируются его воззрения. Как и у всякого, кто в метафизике не отошел от интуитивизма, у Лосского этот критерий насквозь суб'ективен. «Критерием истины,—говорит он,—может быть только наличность самой познаваемой действительности, наличность познаваемого бытия в знании» [1]).

Одним из самых слабых мест в теории познания Спинозы было утверждение, что для уверенности в истине не нужно ничего иного, кроме обладания этой самой истиною. Такое положение является чистой тавтологией и сводится к тому, что истина есть истина. Кроме того, любопытные вещи творятся с этим самым «обладанием» и с этой самой «наличностью». «Если критерий истины какого-либо представления в «обладании», «наличности» этого самого представления, то как быть, когда рядом стоящий заявляет, что он не «обладает» «наличностью» того же самого представления. Существует ли в данном случае об'ект этого представления? Когда-то Декарт утверждал, что ему «дана» идея бога, но рядом стоящий Гоббс искренно отвечал, что ему идея бога «не дана» и что Декарт вообще не представил об'ективных оснований «данности» идеи бога.

Декарт думал утвердить свою позицию, полагая, что нашел критерий истины в очевидности, в «ясных и отчетливых» идеях, но дело не подвигалось вперед ни на шаг, так как в силе оставались суб'ективность и произвольность, «ясности и отчетливости». То, что для одного было дано ясно и отчетливо, то для другого было смутно и неразборчиво. Очевидно, что уже в XVII веке необходимо было искать иной критерий истины и, стало быть, иной путь знания. Лосский же и в XX веке стоит все на той же точке. «В самом деле,—говорит Лосский,—что, если не указанный нами критерий, нужно разуметь под очевидностью, которую Декарт считает высшим показателем истины?» Но Лосский делает еще шаг назад к средневековью, упре-

[1]) Ibid., стр. 258.

кая Декарта за материалистические элементы метафизики, за слишком сильное различение об'екта и суб'екта. Еще бы, Лосский принципиально признает «минуты полного слияния человеческого существа с богом, минуты экстаза, когда человек чувствует и переживает бога так же непосредственно, как свое я».

Лосский понимает, что чистое умозрение, когда «можно» своими «умственными очами» видеть и знать все, что угодно, принципиально делает излишним логический момент. Он стремится спасти его, пространно пытаясь доказать, что одной данности хотя бы и «сверхмирового начала» недостаточно, что оно еще должно предстать «в различенной форме». Именно для этого и должна служить логика как теория суждений. Логика Лосского есть старая почтенная формальная логика, основанная на принципах тождества, противоречия и исключенного третьего.

Любопытно, что Лосский отдает себе отчет в формальном характере логики, что он тоже стремится к логике реальной. Он понимает, что логика должна быть связана с определенными теоретико-познавательными принципами. Посылки суждений имеют свою базу не в логике, а вне ее. Лосский хочет реальной логики, но так как реальность он полагает в онтологическом «реализме», так как он оказывается идеалистом, в числе своих предков насчитывающим и Шеллинга, то базою для его логических посылок является все тот же интеллектуальный интуитивизм. Общее и частное для него одинаково единичны, различий между ними нет никаких. Общее для него «не может считаться чем-то логическим или рациональным по преимуществу».

Хотя сам Лосский старательно избегает онтологических проблем, но из его теории знания совершенно недвусмысленно вытекает онтология Бердяева, и никакой другой онтологии проистечь не может.

Так как, как было уже сказано, интуитивизм в самом себе таит все возможности суб'ективных и произвольных конструкций, то Лосский не может точно указать, к каким *деталям* придут в области онтологии его последователи, будут ли им, к примеру сказать, «даны» в интуиции три ипостаси божества, или только одна. «Мы,—пишет Лосский,—пользуемся учением о непосредственном восприятии трансцуб'ективного мира для целей гносеологии и ставим решение вопроса в зависимости от столь общих оснований и так далеко от онтологии, что в результате получается учение, вовсе не предрешающее вопроса о том, каков этот непосредственно воспринимаемый мир по существу» [1]).

[1]) Ibid., стр. 184.

Ясно, что из гносеологии Лосского никак не может следовать материалистическая картина мира. Не усмотрев в практике критерия истины, положив его в «очевидности» содержания нечувственной интуиции, он открыл дверь исключительно для онтологии самого дурного пошиба, для онтологии средневекового идеализма. Не мудрено, что в эту широко раскрытую дверь бешено устремился Бердяев со своими бредовыми конструкциями.

5.

Лосский, это—гносеологический фон современного феодального социализма. Сам он держится все время за сценой.

Франк, «покончив» со своей критикой марксизма, также исчезает со сцены и уступает место специалисту по онтологическим и философско-историческим вопросам, Бердяеву. Но Бердяев пребывает еще в «четвертом плане бытия» и спуститься оттуда ему не так просто. Прежде чем перейти к рассмотрению судеб исторического процесса, он должен обосновать самое историю, он желает показать, что в ней истинно, реально, а что только так, одна видимость. Он говорит как посаженый отец у Чехова: «Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное. Ты, давая огня—понимаешь?—огня, который натуральный, а не умственный». Нужды нет, что сам Бердяев «натуральность» принимает за «умственность», и наоборот. Сперва кажется как будто общество как общество, все на месте: и три измерения есть, и закономерность есть, все как следует; но все это только кажется. На самом деле это—не истинное общество, недостоверное. Истинно иное общество, «благодатное». «Общество,—пишет он,—есть явление природы (!), и закономерность его связана с закономерностью природы. Общество благодатное, побеждающее природную закономерность, принадлежит уже иному плану, иному измерению; оно есть четвертое измерение общества по сравнению с теми тремя его измерениями, в которых протекает закономерная социальная жизнь» [1]). Если посмотреть, как выражается Бердяев, «с более глубокой точки зрения», то в обществе трехмерном действует «божественная правда» из четвертого измерения, однако эта правда, хотя она и божественна, принуждена преломляться в трех измерениях, «в темной и греховной природе».

Если кто добивается истинного познания, тот на крыльях нечувственной интуиции должен вознестись в четвертое измерение. Тогда ему будет видно, что «царство божие всегда за

[1]) Н. Бердяев, Философия неравенства, стр. 163.

историей и над историей, но не в истории. Оно есть всегда четвертое измерение по сравнению с тремя измерениями истории».

Побывавший в четвертом измерении Бердяев призван определить, какое из общественных явлений имеет вечное, непререкаемое, ноуменальное, четырехмерное бытие и какое—лишь бытие временное, спорное, феноменальное, трехмерное. По смыслу философии Бердяева это возможно, ибо «существуют прорывы в историческая действительности в высшую духовную действительность, переливы энергии трех измерений в четвертое измерение» [1]).

Классифицируя по такому признаку все общественные явления, Бердяев творит тем самым суд и расправу: одно явление вечно, другое преходящее. Однако по странной случайности он применяет при этом отборе столь ненавистную ему классовую точку зрения. Так, мы уже знаем, что пролетариат, напр., не имеет онтологической реальности. Демократия и притом даже буржуазная демократия «лишена онтологических основ», «она не имеет в себе ничего ноуменального и природа ее чисто феноменалистическая»! Напротив, «аристократия есть порода, имеющая онтологическую основу, обладающая собственными, незаимствованными чертами». Аристократия, как об этом достоверно известно Бердяеву, «сотворена богом и от бога получила все качества».

Соответственно проводится и классификация политических направлений. Даже либералы не удовлетворяют Бердяева, ибо они «сделали декларацию прав человека и оторвали ее от декларации прав бога». В этом первородный грех либералов, и за него они лишены онтологической природы. Иное дело консерватизм—«одно из вечных религиозных и онтологических начал человеческого общества».

Так как феноменальное бытие недостоверно и преходяще, то отсюда уже виден социально-политический идеал бердяевщины, в котором остаются лишь онтологические сущности с их проекцией в трехмерном мире. Но так как трехмерный мир все-таки подчиняется известной закономерности, при чем Бердяев настаивает на «натуралистическом» характере этой закономерности,—очевидно, чтобы было «крепче»,—то он испытывает потребность поведать откровение и в этой области. Тем самым с высот онтологии он спускается в низины философии истории.

Не приходится указывать, что и в этой области им руководит все та же интеллектуальная интуиция, все та же безудержная спекуляция. Впрочем, он пользуется и другим, научным методом. Мы сейчас увидим, что это за метод.

[1]) Ibid., стр. 232.

Бердяев и иже с ним хотят понять современную социальную действительность и разгадать тенденцию ее развития. Крупнейшим социальным явлением современности является, несомненно, российская пролетарская революция. Она стоит на дороге Бердяева и преграждает ему путь. Не видя впереди себя ничего, кроме социалистической революции, он с надеждой поднимает глаза горé и видит над собой звезды. Вероятно, отсюда он и делает вывод: «Ориентироваться в русском коммунизме можно лишь по звездам. Чтобы понять смысл русской революции, мы должны перейти от астрономии новой истории к астрологии средневековья» [1]). Средневековая астрология — вот та наука, которая отныне руководит Бердяевым и Карсавиным.

Следуя за этой руководительницей, Бердяев быстро ориентируется в тенденциях исторического процесса. На своем пути он сразу же попадает на след Жозефа де-Местра и не сходит уж больше с этой дороги. Как мы уже знаем, Ж. де-Местр после Великой Французской Революции приглашал человечество вернуться к средним векам. Это же делает и Бердяев с Франком. Но своим суб'ективным желаниям они хотят придать видимость об'ективного процесса. Нашу эпоху Бердяев называет концом новой истории и началом н о в о г о с р е д н е в е к о в ь я. Этим он хочет «проблематически начертать идеальные черты и тенденции нового типа общества и культуры». По Бердяеву, мы выступили «из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную». В этом отношении он сближается с О. Шпенглером, Кайзерлингом и Шпаном.

Итак, Бердяев не видит дороги вперед; он показывает истории,—как выражается в одном месте Маркс,—«свое a posteriori» и полагает, что «перед» истории там, где у Бердяева после поворота на сто восемьдесят градусов оказалось лицо. Такая позиция и такая точка зрения понятны, если вспомнить, идеологом какого класса выступает Бердяев. Современной аристократии не остается пред лицом весьма недвусмысленного хода истории ничего другого, как вспоминать как хороши, как свежи были розы в то далекое время, когда их предки были безраздельно господствующим классом, когда лицо земли украшали монастырские обители, рыцарские замки и помещичьи усадьбы, на задворках которых «лишенные творческой избыточности» крепостные крестьяне подвергались порке. Одаренный поэтическим воображением, С. Франк называет это время «прошлым д а в н и м, когда на Руси являлось множество святых, когда бездомный нищий находил себе приют и пищу в монастырях, когда странноприимство и милостыня считались необходимой обязанностью каждого человека и даже самые злые и холодные люди не могли изба-

[1]) Н. Б е р д я е в, Новое средневековье, Берлин 1924.

вить себя от исполнения этой обязанности из страха общественного порицания или церковной эпитимии»[1]).

Итак, взоры наших феодальных социалистов устремлены назад. Но позади российской пролетарской революции лежит последняя стадия финансового капитала. Эта эпоха, конечно, не удовлетворяет феодальных социалистов, ибо хотя она и дореволюционна, но она предреволюционна. И к тому же,—как спрашивает Бердяев,—«много ли есть онтологически реального в буржуа, банках, в бумажных (!) деньгах, в чудовищных фабриках...?» Ни дать, ни взять Бональд, который прямо заявлял, что большие города, кредит, банки,—все это от дьявола, а каменный уголь не только производит копоть и распространяет неприятный запах, но и наводит уныние. Капитализм,—говорит Бердяев,—не сакральное, а секулярное общество. Итак, не капитализм, дальше, мимо!

Но дальше симптоматически стоит Великая Французская Революция, положившая на континенте начало промышленно-капиталистическому строю. Значит, опять эта «печать богооставленности, проклятия?»—дальше, мимо! Дальше стоит вновь предреволюционная эпоха просвещения. Но уже Ж. де-Местр сказал, что к ней возвращаться нельзя. Значит, опять мимо, еще дальше!

Таким образом, Бердяев благополучно прибывает к средним векам, к феодализму. Только здесь находит он тихую пристань. Феодализм в эпоху пролетарских революций для Бердяева—шаг вперед, своего рода завоевание революции. Он оговаривается: он призывает к новому средневековью, а не к старому. Как некогда после средних веков произошел возврат не к старому античному миру, а к так называемому Возрождению, так и теперь должен произойти возврат к новому, возрожденному средневековью.

Всякому ясно, что это новое бердяевское средневековье не может быть старым, ибо ничего в истории в точности не повторяется. И, однако, этот свой идеальный строй Бердяев называет именно средневековым, желая тем самым указать на сходные, общие черты. Бердяевщина делает это сознательно, открыто, ибо она тем и отличается от других разновидностей реакционного социализма, что показывает на своих спинах старые феодальные гербы. Наш рыцарь со смаком перечисляет все достоинства феодализма: «варварство, грубость, жестокость, насильничество, рабство, невежество, религиозный террор», но все это такие мелочи, которые не могут итти в счет. Феодализм обладал целым рядом положительных сторон: «средние века были эпохой религиозной по преимуществу, были охвачены тоской по небу,

[1]) С. Франк, Основы марксизма, стр. 12.

которая делала народы одержимыми священным безумием... в это варварское время созрел культ прекрасной дамы и трубадуры пели свои песни». Ну, неужели рабочий класс не соблазнится мелодиями трубадуров, не пожелает ради этого перестроить общество на принципах феодализма.

А перестройка потребуется большая. Любопытно все-таки посмотреть поближе на современный феодальный социализм. Как мыслит он себе организацию нового средневекового общества, отделенного от старого всем развитием и содержанием капитализма. Мы были бы несправедливы к читателю, если бы не познакомили его с этим заключительным звеном мировоззрения современных феодалов.

6.

Прежде всего техника и экономика «нового» общества. Возьмем, например, машинный способ производства. Проблема машины, узнаем мы,—глубокая метафизическая проблема. Машина,—заявляет нам средневековый инженер Бердяев,—есть, несомненно, «распятие органической природы», но она, к счастью, убивает плоть, а не дух. Нельзя отрицать машину во имя отсталых форм хозяйства. Итак, машину придется оставить. На то и новое средневековье, а не старое.

Принцип частной собственности «в вечной своей основе» сохранится, но он, видите ли, будет ограничен и одухотворен. Вообще частная собственность на землю более «одухотворенное» отношение, чем национализация. Все хозяйство будет построено иерархически. Что сие значит—неизвестно. Надо думать, что в своем феодально-социалистическом раю Бердяев думает возродить средневековую феодальную иерархическую лестницу, ибо общественная жизнь, как и космическая, иерархичны, к тому же, добавляет Бердяев, неравенство религиозно оправдано. Раз так, значит и спорить не о чем.

Бердяев допускает, что придется организоваться в хозяйственные союзы и корпорации, принцип конкуренции—заменить принципом кооперации. Что это будет за кооперация, можно судить, приняв во внимание всю концепцию Бердяева в целом.

С рабочим вопросом наш теоретик предвидит некоторые затруднения. «Народы,—говорит он,—трудно будет вновь принудить к той дисциплине труда, которая господствовала в капиталистических обществах», тем не менее он не отказывается от того, чтобы покончить с этим вопросом, его придется поставить и разрешить «в психической среде». Что сие означает, тоже неизвестно. Как видно из дальнейшего, Бердяев считает, необходимым «сотрудничество классов», последнее же может быть достигнуто лишь в «духовном перерождении».

Сотрудничество классов не исключает универсального иерархизма. В области политической «естественный иерархизм жизни должен вступить в свои права и личности с большим онтологическим весом, с большей одаренностью и годностью должны занять подобающее место в жизни. Без духовной аристократии жизнь не может процветать» [1]). До сих пор мы не знали, что онтологические сущности могут взвешиваться на весах и обладают определенным весом, во всяком случае такие весы имеются в распоряжении у Бердяева.

Но поскольку возможен «прорыв» из четвертого плана бытия в три первых, то, оказывается, онтологический вес «духовной аристократии» подвергается довольно просто измерению на обыкновенных весах. В будущих феодальных учреждениях «ценз по существу своему должен быть духовным. Но духовный ценз, — добавляет Бердяев, — имеет и материальные признаки своего выражения» [2]). Кто же поверит после этого тому же Бердяеву, когда он говорит, что аристократия «будет скорее психологической, чем социологической категорией»?

Быть может, читателю интересно знать, какова же должна быть политическая надстройка над бердяевским социализмом? Он и здесь не прячет своих феодальных гербов. Парламенты отомрут окончательно.—«Новое средневековье неизбежно будет в высшей степени народно, но совсем не демократично». Демократия есть порождение индустриально-капиталистической системы, она связана с господством буржуазного строя, и потому не гоже феодальному социалисту перенимать ее. «Народ,—говорит Бердяев,—не может сам собой править, он нуждается в правителях и потому «вполне возможно, что единство обществ и государств в новом средневековье выльется в формы монархические. Народные массы сами могут пожелать монарха, узнают своего вождя и героя».

Дальше итти некуда, все карты открыты и над феодальными гербами виднеется уже императорская корона... Монархии эти,—раз'ясняет и утешает Бердяев,—будут не современного, а средневекового типа. При благосклонном их содействии будут процветать науки и искусства: теософические учения, оккультные науки, магия, астрология [3]). Религия опять станет «общим, всеобщим, всеопределяющим делом». В сакральном обществе с сакральным государством будет и сакральная культура.

Таков общественный идеал феодального социализма наших дней. Он не далеко ушел от идеалов Ж. де-Местра и Бональда, и потому к нему относится все то, что около восьмидесяти лет назад было написано Марксом и Энгельсом. Авторы «Коммунистического Манифеста» не ведали, когда писали, что их характеристика будет актуальна через столько десятков лет.

[1]) Н. Бердяев, Новое средневековье, стр. 49.
[2]) Н. Бердяев, Философия неравенства, стр. 140.
[3]) Н. Бердяев, Новое средневековье, стр. 57.

Конечно, современный феодальный социализм нельзя брать всерьез, его не стоит опровергать шаг за шагом, его можно только показывать в музее феодального быта. Рядом с заржавленным мечом Карла V, туфлей Григория VII, щипцами Фомы Торквемады и в лучшем случае алхимическими препаратами доктора Фауста следует положить свитки писаний Бердяева и Франка. Это—их законное и ими заслуженное место.

Каутскианство в теории империализма[1]).

(Из теоретической эволюции соц.-дем. центра).

Э. Лейкин.

(Окончание [2]).

III. Торжество трезвости.

Известно следующее определение империализма, выдвинутое Каутским накануне войны:

«Империализм—продукт высоко развитого индустриального капитализма. Он состоит в стремлении каждой промышленной капиталистической нации к подчинению и к присоединению к себе все большей аграрной области, не взирая на то, какими нациями она заселена. Чтобы понять это стремление, следует прежде всего уяснить себе взаимодействие сельского хозяйства и промышленности при капиталистическом способе производства. Дабы упростить рассмотрение, мы в дальнейшем отвлекаемся от добывающей промышленности—горного дела, которая занимает среднее положение между сельским хозяйством и обрабатывающей промышленностью» («N. Z.» 32—2, стр. 909—«Der Imperialismus»).

Итак, 1907—1909 г.г. похоронены! Да и могло ли быть иначе после того употребления, которое из тезиса о нереализуемости прибавочной ценности сделала Красная Роза? Нет, нет—не в разложении «третьих лиц», которое составляло основу каутскианских построений 1907 г., конститутивный признак современного капитализма. Первопричина во «взаимодействии сельского хозяйства и промышленности при капиталистическом способе производства». Но позвольте, ведь только первые шаги Каутского в первозданном тумане «новой индустриальной системы», слепые и неуверенные, проходили под знаком индустриально-аграрных контроверз капиталистического способа производства! Ведь это же похоже на стариковский возврат к младенчеству! Пусть так, но не забудем, что новые времена приносят новые песни. В 1901 г. Каутский считал: «Не должно, однако, думать, что здесь идет речь об очень далеком будущем». Скоро «базис для разделения труда между индустриальным и аграрным государством окажется слишком узким». А перед войной «образумившийся» Каутский приходит к выводу, что «решительно ошибочны те теории, которые уже для ближайшего будущего устанавливали перспективы такого конца»...

[1]) От редакции. Статья дискуссионная. В критике Каутского тов. Лейкин переоценивает момент единства мирового хозяйства и недостаточно последовательно в отдельных местах вскрывает антимарксистскую сущность каутскианской теории империализма.

[2]) См. № 11 за 1926 г.

Ядром теоретических изысканий Каутского об империализме становится, начиная с 1910 г. (статья в «Neue Zeit» о книге Гильфердинга), идея неравномерного развития сельского хозяйства и промышленности при капитализме. Точнее: идея недостаточного роста сельского хозяйства для потребностей, форсируемого капитализмом промышленного развития. Лучше всего эта теория сформулирована незадолго до войны в следующих словах (об империализме):

«Чтобы промышленность могла расти, сельское хозяйство должно в равной мере расширять свое производство и свое население; оно должно увеличивать массы сырья и жизненных продуктов в той же мере, в какой возрастает потребность в них со стороны промышленности; и оно в равной мере должно потреблять все больше индустриальных продуктов, посредством которых покупаются продукты сельского хозяйства. Как это возможно, если накопление капитала в промышленности идет гораздо быстрее, нежели в сельском хозяйстве?

То, что Мальтус считал естественным законом народонаселения... оказывается экономическим законом капиталистического накопления, не менее, однако, мучительным, чем мальтусовский. Закон этот гласит, что промышленное население данного района растет в отношении 1, 2, 4, 8, 16, в то время как его сельско-хозяйственное население остается неизменным или уменьшается. И одновременно товарная масса на одного рабочего растет в промышленности быстрее, чем в сельском хозяйстве. Действительно, накопление капитала оказалось бы, если и не невозможным, то все же весьма затрудненным и замкнутым в узкие границы, если бы капиталистическая промышленность какого-либо города, промышленного района или государства ограничивалась той сельской областью (в качестве поставщика и покупателя), которая была к услугам этой промышленности при ее возникновении. Капиталистическое накопление в промышленности только в том случае может беспрепятственно итти вперед и свободно развиваться, если постоянно будет расширяться сельскохозяйственная территория, служащая ей в качестве поставщика и покупателя» («N. Z.» 32—2, стр. 916).

Весьма поучителен способ доказательства этого нового варианта старой теории.

1) Прежде всего приводится ряд известных положений об отставании сельского хозяйства от промышленности. При этом (характерно!) на первое место выдвигаются естественно-технические причины—органический характер сельскохозяйственного производства [1]) и ограниченность земли, вследствие которой расширение одного хозяйства должно-де означать одновременное и соответственной величины сужение другого хозяйства, так что сельскохозяйственных рабочих не может увеличиться [2]). Лишь в «Размножении и развитии и т. д.», написанном в 1910 г., имеется марксистский анализ отставания сельского хозяйства при капитализме (частная собственность на землю, рента, наемный труд).

[1]) В 1910 г.—ст. о Гильфердинге; в 1914 г.—ст. об империализме.

[2]) В 1914 г.—ст. об империализме.

В статье же об империализме (1914) неожиданно выставляется и тут же приобретает значение одного из решающих факторов соображение, что сельскохозяйственная продукция значительно менее разнообразна промышленной и не подвержена моде» (стр. 915).

2) Но последствия отставания с. х. оказываются особенно тяжелыми потому, что «при высвобождении промышленности от сельского хозяйства последнее остается основой всего хозяйственного процесса. Без постоянного притока новых сельскохозяйственных продуктов нельзя прожить ни одного мгновения. Напротив того, в нужде мы могли бы довольно длительное время выдержать отсутствие целого ряда промышленных продуктов» (стр. 914—915).

3) И вот «в капиталистической промышленности со всей силой действует такой фактор, который в сельском хозяйстве и при капиталистическом производстве сохраняет лишь небольшое значение: конкуренция, борьба различных предприятий за сбыт. Промышленник должен гораздо упорнее бороться за сбыт своих изделий, чем сельский хозяин. Поскольку последний встречается с затруднениями в сбыте, они касаются больше торгового посредника, чем других сельских хозяев. И положение при этом все больше ухудшается для промышленности, поскольку ее капитал накопляется все быстрее, а сельское хозяйство все больше отстает, поскольку возрастает промышленное население, требующее все больше средств питания и сырья, поскольку, напротив того, сельское население, а в связи с этим и его совокупный спрос на индустриальные товары все уменьшается» (стр. 915).

Вывод: «Интенсивность промышленной конкуренции представляет следствие того, что стремление к накоплению капитала и к расширению производства, а также возможности для этого значительно больше в промышленности, чем в сельском хозяйстве; из следствия эта движущая сила становится в свою очередь одной из могущественнейших причин, увеличивающих различие между индустрией и сельским хозяйством».

Вот все. Так доказывается и отсюда выводится теория аграрных придатков самим автором.

* * *

Между тем ближайшее рассмотрение аргументации Каутского (а мы ее привели всю целиком и притом словами автора) показывает, что она своего назначения не выполнила. В самом деле, чтобы доказать необходимость для капитализма аграрных придатков, необходимо (и достаточно) доказать следующие два положения:

Первое.—Что сельское хозяйство при капитализме неизбежно отстает от промышленности.

Второе.—Что в природе капиталистического воспроизводственного процесса заложена такого рода устойчивая пропорция между промышленностью и сельским хозяйством, которая нарушается этим отставанием. Это положение в свою очередь распадается на две самостоятельные проблемы: во-первых, следует доказать наличие такой пропорции, и, во-вторых, если это доказано, остается еще доказать, что капиталистический способ производства не обладает никакими средствами эту жизненно необходимую ему пропорцию воссоздавать.

Можно, конечно, многое возразить против тех доводов, коими Каутский обосновывает первое из этих двух положений. Так, в статье, посвященной Гильфердингу, безнадежно спутаны две различные вещи—отставание сельского хозяйства в ходе промышленного цикла и отставание сельского хозяйства на протяжении истории капиталистического способа производства. Затем, стопроцентной пошлостью приходится считать тезис о том, что «сельское хозяйство остается основой всего хозяйственного процесса». Далее, чего стоит эта аргументация от моды, выписанная из ходкого буржуазного учебника по «экономике промышленности, торговли и сельского хозяйства». А эта «марксистская» концепция о капиталистическом сельском хозяине, не ведающем конкуренции, и о греховной конкурентной интенсивности промышленников, как следствии райской невинности сельских хозяев. И т. д.

Но не это горе-теоретизирование нас здесь интересует. Отставание сельского хозяйства—непреложный закон капиталистического способа производства. Больше того: капиталистическая промышленность развивается не только быстрее сельского хозяйства, но в значительной мере за счет недоразвития сельского хозяйства. Доразвиться сельское хозяйство может только в переходную от капитализма к социализму эпоху; правильное экономное направление этого длительного процесса составляет одну из сложнейших исторических задач диктатуры пролетариата. Пока же существует капитализм, всякое движение вперед означает ухудшение положения сельского хозяйства, а не его улучшение, как то полагает «марксист» и «теоретик» Каутский, в 1914 г. забывший свои 90-е годы («Аграрный вопрос»). Создает ли это отставание сельского хозяйства затруднений для капиталистического развития? Конечно, создает. Во-первых, специфические условия воспроизводства органических веществ служат одним из факторов кризиса. Во-вторых, присущая капиталистическому способу производства недоразвитость сельского хозяйства представляет внушительное ограничение возможных сфер приложения капитала. Но оба эти затруднения еще не означают, «что капиталистическое накопление в промышленности только в том случае может беспрепятственно итти вперед, если она постоянно будет расширять сельскохозяйственную территорию, служащую ей в качестве поставщика и покупателя». Чтобы доказать теорию аграрных придатков, требуется доказать еще второе из указанных выше положений. Т.-е. требуется доказать наличие имманентных капиталистическому способу производства устойчивых пропорций между промышленностью и сельским хозяйством, нарушаемых отставанием сельского хозяйства, и неисправимость таких нарушений. Каутский, конечно, видит, что недостаточно поговорить об отставании сел. хозяйства, чтобы доказать необходимость аграрных придатков. И вот, он не задумывается заявить: «Для об'яснения того, каким образом при капиталистическом способе производства возможно восстановление равновесия между производством и потреблением, мы должны произвести дальнейшее разделение производимых продуктов по их материальным особенностям. К разделению средств производства и средств потребления (из II тома «Капитала». *Э. Л.*)

мы должны еще прибавить различие между продуктами промышленности и продуктами сельского хозяйства» (ст. о Гильфердинге, «Основные проблемы и т. д.», 2 изд., стр. 448—449).

Сказано, конечно, важно. Не менее важно, чем говорили (и говорят) ревизионисты, приступая к «дополнению» Маркса. Но, боже правый, какое убожество за этой важностью! Ведь стоит только серьезно подумать, чтобы понять, что тот способ деления общественного производства, который Маркс избрал во II томе «Капитала», представляет метод синтезирования вещественных и ценностных элементов капиталистического производственного (и воспроизводственного) процесса, взятого в общественном масштабе. Разве не ясно, что отрасли I и II представляют, с одной стороны, основные категории процесса производства, как такового, и, с другой стороны, основные же категории ценностно образующего процесса в капиталистическом обществе? Как же можно рядом с этими в полном смысле функциональными категориями капиталистического производственного процесса поставить деление на промышленность [1]) и сельское хозяйство, т.-е. деление, не имеющее абсолютно никакого отношения к специфичности капиталистического производства, ни в материальном его содержании, ни в его ценностной форме?

Свое «дополнение» к марксову анализу Каутский берется обосновать. В приведенных выше обильных выписках из его статьи 1914 г. заключено все, что он имеет сказать. Даже беглое рассмотрение этого доказательства необходимости аграрных придатков вскрывает три единственных приема автора. Уделим им некоторое внимание.

Первый прием.—«Экономическим законом капиталистического накопления» об'является закон народонаселения, состоящий в том, что «промышленное население данного района растет в отношении 1, 2, 4, 8, 16, в то время как его сельскохозяйственное население остается неизменным или уменьшается». Поистине невежественное извращение марксизма! Известное привлечение роста населения к об'яснению капиталистического накопления, произведенное Отто Бауэром в полемике против Р. Люксембург, должно быть квалифицировано как глубокое понимание марксизма рядом с этим мальтузианством патентованного знатока Маркса. Но каким же путем этот закон народонаселения становится экономическим законом капиталистического накопления? А таким, что ценностная масса товарных потоков между промышленностью и сельским хозяйством рассматривается, как функция сельского населения (но не хозяйства) [2]). Выше

[1]) У Каутского даже одна обрабатывающая промышленность!

[2]) Напомним два места из уже приведенных цитат. «Чтобы промышленность могла расти, сельское хозяйство должно в равной мере расширять свое производство и свое население; оно должно увеличивать массы сырья и жизненных продуктов (читай: увеличивать свое производство. *Э. Л.*) в той же мере, в какой возрастает потребность в них со стороны промышленности; и оно в равной мере должно потреблять все больше индустриальных продуктов (читай: увеличивать число покупателей. *Э. Л.*), посредством которых покупаются продукты сельского хозяйства». Еще ярче эта же мысль, что потребителем городских товаров в деревне является население, но не хозяйство, выражена страницей раньше: «уменьшается сельское население, а в связи с этим и его совокупный спрос на индустриальные товары». Каутский даже не видит, что, несмотря на уменьшение сельского населения, может возрастать товарная масса с.-х. продукции.

мы видели, как на базе этой теории народонаселения и в неразрывной с нею связи проповедуется мысль о том, что при капитализме «сельское хозяйство остается основой всего хозяйства». Невероятно, но факт: по Каутскому русское крестьянство является куда лучшим рынком городской промышленности, чем менее многочисленное крестьянство Соединенных Штатов.

Второй прием. Исключается добывающая промышленность. «Чтобы упростить рассмотрение, мы в дальнейшем отвлекаемся от добывающей промышленности—горного дела, которое занимает среднее положение между сельским хозяйством и обрабатывающей промышленностью». На основе этого отвлечения строится следующее рассуждение. Обилие капиталов, технические условия и условия конкуренции гонят вперед промышленность. Но в своем безудержном стремлении она наталкивается на малоподвижную границу в виде отстающего производства сельскохозяйственного сырья. И вот мы у желанной цели—необходимость аграрных придатков победно выступает даже перед слепым. Но... победа эта куплена дорогою ценою троекратного греха. Во-первых, невозможно найти какой-либо смысл (теоретический, да и просто здравый) во всех возможных смыслах этого «среднего положения» горного дела [1]).

Во-вторых. Допустим, что имеется экономический смысл в выделении горного дела, как некоей средней отрасли производства. Но можно ли эту среднюю отрасль выкидывать за борт при анализе условий общественного воспроизводственного процесса? Нельзя же, в самом деле, абстрагировать от одного из трех слагаемых, когда исследуются закономерности их суммы. Это уже не научная абстракция, а похоже на сознательное извращение, на подтасовку.

И в-третьих. Самое существенное во всей этой истории, однако, то, что исключительно благодаря своему отвлечению от горного дела Каутский мог так невозмутимо вывести теорию аграрных придатков. Между тем, как раз в наше время, экономику которого эта теория призвана об'яснять, наблюдается исключительно интенсивный рост удельного веса горного сырья в сравнении с сельскохозяйственным. Это явление находится в тесной связи с усиленным в наше время ростом органического состава общественного капитала, и в особенности—основной части постоянного капитала. Но и в области оборотной части последнего современная химическая промышленность,—взять одну лишь обработку каменного угля (краски, масла, медикаменты)!—и метал-

[1]) Значит ли это, что сельско-хозяйственный продукт, прежде чем попасть на фабрику, проходит через промежуточное горнило горного дела? Или: что «население» горного дела (горнорабочие) растет быстрее сельского, но медленнее городского? Или: что горное дело в процессе общественного воспроизводства не имеет самостоятельной функции, а выполняет отчасти роль обрабатывающей промышленности, отчасти же функцию сельского хозяйства?

Если же подойти со стороны организации производственного процесса и сочетания элементов производственного аппарата, то с этой точки зрения еще Маркс противопоставлял горное дело обрабатывающей промышленности и современному земледелию, которые он, таким образом, ставил на одну доску. В I томе «Капитала» читаем: «За исключением добывающей промышленности, которая, как горное дело, охота, рыболовство и т. д. (земледелие лишь постольку, поскольку оно возделывает в первую очередь девственную почву), находит свой предмет труда в природе, все отрасли промышленности имеют дело с такими предметами, которые представляют сырой материал, т.-е. предмет труда, уже профильтрованный процессом труда, которые сами уже являются продуктами труда. Так, например, семена в земледелии» (М. 1923, Гиз, стр. 152).

лургия легких металлов (алюминий), открывающая широкие перспективы для замены дерева и т. д., представляют новейшие этапы процесса «освобождения человека из-под власти органического мира». Зомбарт, которому принадлежит последнее выражение, и который прекрасно изучил фактическую сторону дела, с полным правом утверждает: «Неорганическое вещество является знамением нашего времени» [1]). А Каутский позволяет себе теоретизировать насчет сырьевой проблемы современности, выбросив предварительно из поля зрения горное дело! И плоды этого «теоретизирования» выдаются за марксизм! Поразительно, как легко люди научаются прикрывать невинностью свою недобросовестность. Мы, видите ли, хотим упростить рассмотрение и потому не станем утруждать вас, любезный читатель, привлечением таких чисто-промежуточных отраслей, как горное дело...

Таковы три особенности второго приема, помощью которого Каутский пытается обосновать теорию аграрных придатков.

Третий прием. Вспомним следующую фразу, дважды нами цитированную: сельское хозяйство «должно увеличивать массы сырья и жизненных продуктов в той же мере, в какой возрастает потребность в них со стороны промышленности; и оно в равной мере должно потреблять все больше индустриальных продуктов, посредством которых покупаются продукты сельского хозяйства». В подчеркнутых нами словах и состоит третий прием Каутского. Каутский здесь устанавливает, что должно существовать равенство (в ценностном выражении) того, что сельское хозяйство отдает промышленности, и того, что оно получает от промышленности. Этот довод выгодно отличается от двух первых своей несомненной бесспорностью. В самом деле, едва ли кому придет в голову что-нибудь возражать против той «мысли», что для того, чтобы сохранилось в неизменности равновесие между промышленностью и сельским хозяйством, не должна нарушаться ценностная эквивалентность перемещающихся между ними товарных масс. И это, конечно, относится не только к сельскому хозяйству и промышленности. В равной мере эта истина остается справедливой при любом другом делении общественного хозяйства, скажем, при отнесении в одну группу только машиностроительной промышленности, а в другую всех остальных отраслей хозяйства. К сожалению, эта идея столь же бесплодна, сколь и бесспорна. Ее недостаток ничтожен: она просто проходит, не задевая, мимо того, о чем идет дело. Говоря о необходимости равновесия товарных потоков между промышленностью и сел. хозяйством, она замалчивает вопрос о закономерностях, которым подвержены изменения величины потоков и, таким образом, отказывается понять закон развития этого равновесия.

Но именно по линии последнего вопроса должен был бы итти анализ Каутского, если бы он имел серьезное намерение продумать и обосновать теорию аграрных придатков. Ибо наличие в природе капиталистического способа производства устойчивых пропорций между промышленностью и сельским хозяйством, без которых не может происходить капиталистическое накопление, не доказывается же, в самом деле, трюизмом об эквивалентности обмена. Но, не доказав существования этих устойчивых пропорций, нельзя доказать необходимости для капитализма аграрных придатков. Трагикомедия каутскианской теории состоит в том, что исходный тезис, без которого ее нельзя построить, недоказуем по той простой причине, что он неверен. Каутский вопрошает тут же после вышеприведенной фразы: «Как это (т.-е. пресловутое равенство продаж и покупок. *Э. Л.*) возможно, если накопление капитала в промышленности идет гораздо быстрее, чем в сельском хозяйстве?» А очень даже просто. Бедный (хитрый) Каутский не замечает (не хочет замечать) пустячка,—что параллельно более интенсивному накоплению в промышленности все больше возрастает товарное обращение внутри самой промышленности,—все большая, следовательно, доля промышленных товаров покупается и реализуется, минуя сельское хозяйство...

Мы рассмотрели, достаточно полно теоретическое содержание каутскианской идеи аграрных придатков. В ряде существенных положений теория эта в своем новом издании представляет полный отход от марксизма—по методу, по выводам, даже по словоупотреблению. В других своих частях она пытается нарочитой важностью изложения и самоуверенностью выводов перекричать простейшие законы формальной логики. Еще в других частях она надеется ловким маневром снять решающий, но для нее неразрешимый вопрос. В общем же новое издание старой теории не идет глубже старого издания. Но если ошибки последнего отчасти искупаются новизной (для того времени) изучаемых явлений, широким, суммарным охватом и революционной свежестью научного подхода, в котором звучат традиции марксизма, то нелепости издания 1910—1914 г.г. порождаются и усугубляются старческой забывчивостью, профессорским педантизмом, циничной самоуверенностью «непогрешимого авторитета», мелкой нечестностью официозного теоретика и природным для ревизионизма эклектизмом, который Каутский удивительно успешно впитывает в себя как раз в рассматриваемое время. Но надо всем этим царит тот особый род лицемерия, который в тиши кабинета перерабатывает «реальную политику» оппортунизма в надуманные конструкции, и прячет их за напыщенной почти-революционной декламацией, и который—по существу—сам себя обманывает и так жалко-бессилен перед лицом живой жизни. Последнюю он охотно заменяет системой абстрактных категорий, так как они гораздо легче, чем сложная реальность, переносят всевозможные сочетания, которым их подвергает теоретик, обосновывая оппортунистическую практику. Этот вид лицемерия составляет научный характер теоретиков социал-демократического центризма [1]).

[1]) Политич. эконом. промышл., изд. «Просвещение», стр. 19.

[1]) Он недурно сказался и в следующем зигзаге каутскианской идеи аграрных придатков, который довольно стильно довершает картину. «Действительно, накопление капитала – пишет Каутский в цит. ст. 1914 г.—оказалось бы если и не невозможным, то все же весьма затрудненным и замкнутым в узкие границы, если бы капиталистическая промышленность какого-либо города, промышленного района или государства ограничивалась той сельской областью, которая была к услугам этой промышленности при ее возникновении». Читатель в недоумении. Как, в самом деле, понять это неожиданное «если и не невозможно, то все же весьма затруднено», после того как вся теоретическая работа направлена на то, чтобы доказать именно невозможность капиталистического развития без аграрных областей? Между тем нет ничего необыкновенного в этом ходе Каутского: центрист готовит себе тыловые по-

III.

Мы выяснили несостоятельность попытки Каутского привести теоретико-экономическое доказательство в защиту идеи аграрных придатков. Чтобы состряпать для нее эклектическое «обоснование», ему потребовалось неслыханно надругаться над фактами и предпринять форменное извращение основных положений марксистской политической экономии. Удивительно ли, что получившаяся в результате таких упражнений теория находится в противоречии с теми явлениями, которые она призвана об'яснить. С полным правом Ленин говорит: «Для империализма характерно как раз стремление к аннектированию не только аграрных областей, а даже самых промышленных (германские аппетиты на счет Бельгии, французские—на счет Логарингии)», Каутский «произвольно и неверно выдвигает аннексии аграрных областей» (Империализм как нов. эт. капитализма).

Но—и это следует всегда помнить—основная задача официозного теоретика II Интернационала: доказать, что империализм—это не больше, чем одна из возможных политик капитализма, предпочитаемая некоторыми группами капиталистов, но противоречащая жизненным интересам всей капиталистической системы в целом [1]). Экономическую теорию аграрных придатков он строит как научное обоснование для этой своей политической задачи. Для Каутского вопрос стоит таким образом:

«Составляет ли империализм последнюю возможную форму проявления капиталистической мировой политики или же возможна еще другая форма? Другими словами: предлагает ли империализм единственно возможную еще форму, в которой может происходить в рамках капитализма взаимное обращение между промышленностью и сельским хозяйством?» («N. Z.», 33—2, стр. 919—920, курсив наш).

А несколькими страницами раньше прямо говорится: «Постоянное стремление капиталистических индустриальных наций к расширению сельскохозяйственной области, состоящей с ними в отношениях обмена, может, однако, принимать самые различные формы. Доказать, что это стремление составляет жизненное условие капитализма, еще далеко не значит доказать, что какая-либо из этих форм может означать неизбежную необходимость

зиции, чтобы отступить со своей теорией, ежели к этому вынудит напор действительной жизни. Мы увидим, что запасными позициями Каутскому не довелось, однако, воспользоваться: напор жизни оказался сильнее даже, чем могли выдержать резиновые формулировки центристской теории.

[1]) Было бы, конечно, с полбеды, если бы имелось в виду доказать, что есть некоторые слои капиталистов, которых в империалистической политике не заинтересованы, которых она даже разоряет, но что стержневые, решающие капиталистические группы, воплощающие и, так сказать, вобравшие в себя основной «интерес» современной капиталистической системы, нуждаются в империалистической политике, которую они проповедуют и которую они проводят в жизнь. Такого рода теоретическое построение следовало бы ругать за недостаточное углубление в экономическую природу современного капитализма, за немарксистское выпячивание политики, когда дело идет о совершенно новой и своеобразной экономической системе. Авторам такого рода построений следовало бы указывать на опасную прореху, которая в их построениях имеется и в которую при злой воле можно протащить противопоставление империалистической политики новейшей экономике. Но официозный теоретик II Интернационала не относится к числу таких авторов.

(unerlässliche Notwendigkeit) для капиталистического способа производства. Особой формой рассматриваемого стремления является империализм. Ему предшествовала другая форма, свобода торговли. Полстолетия тому назад последняя, подобно тому, как ныне империализм, рассматривалась как последнее слово капитализма» (там же, стр. 917).

Ниже мы скажем несколько слов о невероятной путанице представлений, сконденсированной в этих немногих строках. А сейчас закончим ход мыслей Каутского. В сущности, он совсем прост. Раз империализм есть не больше, чем одна из различных форм стремления капитализма в аграрные страны, раз «империализм есть стремление каждого крупного государства к расширению собственной колониальной империи в противовес другим подобным же империям, и представляет только одно из различных средств способствовать расширению поля капитализма», раз империалистические конфликты являются, таким образом, столкновением крупных капиталистических держав только на почве их отношения к третьим, к внешним для капитализма странам, то—разве так уже немыслимо соглашение крупных держав и их совместные действия против этой внешней, но одинаково враждебной, одинаково преграждающей им путь, силе? С вдохновением начинает здесь работать мысль мещанина. Во-первых, «империалистическая форма» самая невыгодная с коммерческой стороны. Чего стоят одни вооружения вперегонку, а затем войны! [1]). Во-вторых, это самая опасная для капитализма форма. Взять хотя бы рост недовольства в более развитых аграрных странах, который направляется не против той или другой империалистической державы, а против всех их вместе взятых. А растущее сопротивление рабочих промышленных стран против новых налогов? И т. д... Мещанин убежден, что от здравого смысла капиталистов зависит их политика. Он им поможет уяснить себе их «подлинный» интерес, который так удачно совпадает и с его, мещанина, интересом: поменьше налогов, поменьше вооружений, мир—и мирное (т.-е. без столкновений с «культурным» соседом) подчинение колоний. Мещанин верит, что здравый смысл восторжествует, ибо «с чисто-экономической точки зрения не исключено, что капитализм доживет еще до одной новой фазы, перенесения картельной политики и на внешнюю политику, до фазы ультра-империализма».

«Чисто-экономическая точка зрения»—это товарный обмен промышленности капиталистических стран с сельским хозяйством отсталых стран. Она честно выполнила свое назначение. Она обосновала возможность ультра-империализма! Но здесь мы должны обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство.

Попросим читателя еще раз просмотреть вышеприведенную тираду Каутского о возможности различных форм хозяйственного общения между индустриальными и аграрными странами. Говоря о невероятной путанице (заметании следов?), царящей в этих фразах Каутского, мы имели в виду следующее:

[1]) «Еще со времени балканской войны соперничество в вооружении, как и колониальная экспансия, достигло такой высоты, которая угрожала быстрому росту накопления, а след. вывоза капиталов, т.-е. экономической основе империализма» («N. Z.» 33—2, стр. 920).

Допустим, что теория аграрных придатков верна. Допустим, поэтому, что внешняя политика капитализма на всех этапах его развития определяется отношением промышленной страны к аграрной [1]). Для марксиста в таком случае было бы бесспорно, что существуют различные формы капиталистической политики, соответствующие различным стадиям капиталистического развития. Критерий необходимости той или иной формы капиталистической внешней политики марксист брал бы из предварительного изучения производственных особенностей соответственной стадии капиталистического развития. Без такого изучения невозможно было бы понять смену различных типов отношений промышленной и аграрной страны, т.-е. (допуская идею Каутского) смену форм внешней политики капитализма. Каутский же извращает эту само собой разумеющуюся для марксиста постановку. С пафосом обрушивается он на того, кто полагает возможным доказать, что «какая-либо из этих форм может означать неизбежную необходимость для капиталистического способа производства». Деланный пафос, ибо кто же утверждал такую чепуху, будто империалистическая политика сопутствует капиталистическому способу производства на протяжении всей его истории? [2]).

Каутскому понадобилось подменить марксистскую постановку проблемы, ибо она не дает обосновать ультра-империализм даже посредством теории аграрных придатков. Обосновать возможность ультра-империализма можно было бы только обосновав возможность новой хозяйственной формы капитализма, которой будет соответствовать и новая, мирная, форма эксплоатации колоний, т.-е. форма, не сопровождающаяся борьбой эксплоататорских держав друг с другом. А это значит, что сама по себе теория аграрных придатков, будь она даже святой истиной, еще недостаточна для обоснования возможности ультра-империалистической фазы капитализма. Но Каутский находит выход! Он производит совсем «пустяковую», почти незаметную, перетасовку. Вопрос о различных стадиях капиталистической системы (и экономических, и политических) он подменяет вопросом о различных формах политики капитализма. «Мы не имеем никаких оснований полагать, что без военного занятия Египта торговля с ним выросла бы меньше под влиянием простого веса «экономических факторов». «Стремления капитала к расширению» «лучше всего могут быть достигнуты не насильственными методами империализма, а мирной демократией». Оторвав, таким образом, политику от экономики, превратив свою теорию аграрных придатков в «чисто-экономическую», по его терминологии, теорию, Каутский с торжеством заявляет, что ультра-империализм возможен, потому что с «чисто-экономической точки зрения» он не невозможен!

Мы у конца последнего теоретико-экономического рейса идеолога II Интернационала. Его результаты унизительно плачевны. Понадобилось сколотить нелепейшую и извращеннейшую из всех, какие знает история марксизма, теоретическую схему о жизненной необходимости для капитализма аграрных придатков. А когда схема была построена, оказалось необходимым изгнать из нее и те жалкие намеки на реальные отношения, которые она в себе еще могла скрывать. Она была об'явлена «чисто-экономической теорией», т.-е. чистой абстракцией [1]). После этого она уже не оказывала никакого сопротивления тем упражнениям, на которые ее предназначил теоретик ультра-империализма. Но, и превращенная в безжизненную абстракцию, она жестоко отомстила за себя—она оказалась пригодной для обоснования лишь возможности ультра-империализма, и даже Каутскому не удалось подвергнуть ее такому добавочному превращению, при котором она бы давала право говорить о неизбежности ультра-империализма.

Мог ли Каутский удовлетвориться этими горькими плодами своего теоретического похода? Разумеется, нет. Вскоре мысль мещанина снова заработала, на этот раз, правда, совершенно в ином направлении. Однако, прежде чем заняться этим новым теоретическим маршрутом, следует отметить еще одну сторону экономических взглядов Каутского.

* * *

Достойно внимания, что работа Гильфердинга осталась без влияния на основные взгляды Каутского. Это особенно замечательно потому, что в ней заключались богатые источники для построения теории ультра-империализма. Известно, как умело использовал их сам Гильфердинг после империалистической войны. Но строгость теоретической мысли никогда не принадлежала к сильным сторонам Каутского,—между тем именно такая логическая строгость в развертывании теоретической схемы проходит по всей книге Гильфердинга. Впрочем, положения «Финансового капитала», вообще, не привились в социал-демократических рядах, и общепризнанной, так сказать, партийной теорией современного капитализма, как до книги Гильфердинга, так и после нее, оставалась каутскианская теория, которая, как мы могли видеть, обладала незаменимым свойством,—перестраиваться и менять свое обличие в соответствии с господствовавшим партийным «духом». Насколько книга Гильфердинга осталась чуждой социал-демократии, может свидетельствовать, например, тот факт, что в 1915 г. не какой-нибудь рядовой член партии, а Кунов (в полемике с Каутским) мог забыть (или сделать вид, что забыл) о ее существовании, и заявлять, что он не знает ни одной социал-демократической попытки разобраться в современных банках!

Надо ли говорить, что Каутский возносил работу Гильфердинга до небес? Но как далеко осталась она от его понимания, показывает уже одно то, что свою теорию аграрных придатков он считал, «быть может, во многом дополнением хода мыслей Гильфердинга» (Основные проблемы политич. экон., 2 изд., стр.

---

[1]) Что именно так представляет себе дело Каутский, очень хорошо видно, например, из его об'яснения возникновения империализма все в той же статье 1914 г.

[2]) Этим занимались, как известно, только те буржуазные ученые, которые относят империализм за счет природы человека, но ведь они, таким образом, приравнивают капитализм всем предшествовавшим и будущим общественным формациям. Не против них же направлен огонь Каутского.

[1]) «Если понимать под чисто-экономической точкой зрения «чистую» абстракцию, тогда все, что можно сказать, сведется к положению: развитие идет к монополиям, следовательно, к одной всемирной монополии, к одному всемирному тресту. Это бесспорно, но это совершенно бессодержательно» (Ленин, Империализм).

438) [1]). Следует, однако, поближе познакомиться с этой стороной эволюции Каутского, остановившись хотя бы на основных вопросах книги Гильфердинга.

Первое.—Стержнем книги Гильфердинга является идея организационного развития и совершенствования капиталистического способа производства, находящего в форме финансового капитала свою высшую ступень. Между тем, Каутский в 1918 г. (Bemerkungen zur Übergangswirtschaft, 163) считает: «Высота капиталистической организации неравнозначна с высотой капиталистического способа производства. Последний достиг своей высшей точки в Англии. Напротив, господство картелей и банков значительно сильнее развилось в других странах».

Второе.—О финансовом капитале Каутскому пришлось больше всего говорить в «Национ. гос. и т. д.», в 1915 г. Вот что мы читаем там: «Кто желает выяснить себе исторические действия капитала, должен ясно различать отдельные виды его». «Промышленный капитал, класс индустриальных предпринимателей, первоначально обнаруживал иные тенденции, чем торговый и финансовый капитал». «Финансовый же капитал, класс крупных заимодавцев и банкиров, стоит за увеличение абсолютной государственной власти, за насильственное [2]) проведение его требований, касающихся внутренней и внешней политики» (стр. 25—26). Своей цели купец «легче всего достигает путем об'единения с финансовым капиталом—союз значительно более старый, чем союз между промышленным и финансовым капиталом» (стр. 33). Итак, для Каутского финансовый капитал не всеобщая форма капитала в определенную историческую эпоху, а один их трех видов [3]) капитала (т.-е. попросту капитал банков), который в наше время приобрел особенно большое значение.

Третье.—В том же 1915 г. Каутский несколько раз возвращается к вопросу о монополиях. Он стремится доказать, во-первых, что монополии не необходимы, и, во-вторых, что, во всяком случае, они вовсе не должны приводить к войнам. Его метод: противопоставление нашего времени эпохе первоначального накопления! Возмущенно восклицает он: «Взгляды, которые мы себе выработали до войны на основе фактов последних десятилетий, собираются, в качестве «устарелых», опровергнуть взглядами, подходящими к XVII или к XVIII векам» («Neue Zeit», 34—1, стр. 23; «Äüssere u. innere Politik»). Его мысль

[1]) А в какой мере Каутский был подготовлен к пониманию «Финанс. кап.», может показать защита, которую Каутский выдвинул против обвинения Гильфердинга в недооценке основных производственных процессов. Защита эта—буквально, шедевр. Она сжато сформулирована автором в следующих словах: «Формы капитала изменяются под воздействием процесса обращения гораздо быстрее, чем под воздействием процесса производства» (стр. 430). Иллюстрация этого «тезиса», служащая одновременно и единственным доказательством, такова: «Процесс производства на фабрике может остаться без перемен, в то время как она переходит из собственности отдельного капиталиста к акционерному обществу или из самостоятельного единичного предприятия становится членом картеля, предприятием треста или же переходит во владение банка» (Там же, стр. 431). Не угодно ли считать марксистом человека, который, изучая роль производственного процесса в смене исторических форм капитала, берет его исключительно как производственно-технический процесс на отдельном предприятии.

[2]) В русском издании 1917 г., по которому мы цитируем, неправильно переведено—«посильное». В оригинале—«gewalttätig» (Nürnberg 1915, стр. 22—23).

[3]) В оригинале так и сказано—«Gattungen», стр. 22—23.

такова: если ранний капитализм жил за счет грабежа деревни и т. д. и применял для этого монополии и войны, то «ныне доходы капитала текут из труда наемных рабочих. Они ныне возможны без нарушения закона ценности. Тут международная торговля не нуждается в монополиях и в войне для своего расширения и защиты. Они могут лишь задерживать ее и препятствовать ей в виду тех гигантских размеров и того стремительного темпа, которые приняло современное мировое обращение. В прежние же времена международная торговля нуждалась в монополии и войне» (там же). Эта же мысль развивается в «Национ. гос. и т. д.» [1]). А в одной из статей против Кунова («Zwei Schriften zum Umlernen», «N. Z.», 33—2, стр. 40) та же мысль разбирается на примере Англии. «Нет ничего ошибочнее,—пишет Каутский,—чем думать, что в теперешней войне дело идет о сохранении английской индустриальной монополии. Теперешняя война, поскольку речь идет об Англии, вертится вокруг соперничества в вооружении, вокруг преобладания английского флота».

Четвертое.—Известно, что в книге Гильфердинга одно из важнейших мест занимает теория современного протекционизма. Последний представляется Гильфердингу проблемой хозяйственной территории современного капитализма, методом ограждения национального хозяйства, который капитализм принужден применять в процессе организации мирового хозяйства. Для Каутского же весь вопрос исчерпывается его социальной формулировкой. Он пишет в конце 1911 г. («N. Z.», 30—1, стр. 464—«Konsumenten u. Produzenten»): «Охранительная система на первой своей стадии индустриально-воспитательной пошлины представляет средство классовой борьбы прибыли против земельной ренты. Ныне, в качестве всеобщей аграрной и промышленной пошлины, она есть орудие классовой борьбы прибыли и земельной ренты против заработной платы». Ясно, что с гильфердинговской постановкой у Каутского мало общего. Но это дает ему возможность призывать к уничтожению протекционизма в рамках современного капитализма.

Пятое.—Что касается банков, то может показаться, что, по крайней мере, к 1918 году Каутский усвоил взгляды Гильфердинга в этом вопросе. Во всяком случае, в «Soz.-dem. Bemerkungen etc.» Каутский не раз говорит о «банкократии» (особенно стр. 160), о всемогуществе современных берлинских банков [2]), о преобладающем значении банков (по сравнению с картелями) в борьбе против анархии производства (стр. 138) и т. д. Однако

[1]) «Правда, последние десятилетия породили, благодаря все растущему об'единению финансового капитала с промышленным, новые монопольные стремления. Но они не сводятся больше к национальным торговым монополиям или к необходимости войн в защиту этих монополий и для уничтожения чужой торговли. Новые монопольные стремления имеют целью (здесь в оригинале стоит выпущенное переводчиком слово—vor Allem) экономическое господство над наиболее крупными путями сообщения и источниками средств производства. Поскольку эти стремления охватывают также морскую торговлю, они должны быть в силу ее размеров и ее природы интернациональны. В образовавшихся пароходных трестах и линиях английские и немецкие пароходовладельцы дружно работают вместе над поднятием фрахта. Торговля же. сама по себе, вне зависимости от пароходных обществ, ни в малейшей степени не заинтересована в успехе монополистических стремлений, суживающих ее так же, как и промышленность» (Нац. гос., Москва 1917, стр. 37).

[2]) «Девять берлинских крупных банков определяют для всей Германии пути, по которым идет промышленность» (стр. 27).

до Гильфердинга здесь очень и очень далеко. Каутский, в противоположность Гильфердингу, не приходит к этой теории современных банков на основе экономического анализа нынешней стадии капитализма, она у него не увязана с формирующими элементами именно этой стадии—у него это даже не теория банков, это просто литературная передача того, что «знает» и о чем говорит в наше время каждый обыватель. Стоит перелистать соответствующие места из указываемой работы Каутского (1918 г.), чтобы увидеть это воочию.

Таким образом, плоды теоретической работы Гильфердинга не были Каутским усвоены даже в малейшей мере. Но это обстоятельство лишило его также «ценного» теоретико-экономического материала для обоснования теории ультра-империализма. Тот путь, который привел Гильфердинга в послевоенные годы к идее «организованного капитализма», был для Каутского закрыт. С другой стороны, свои упражнения с аграрными придатками он вынужден был оставить после 1914 г.—так они были (помимо всего прочего) громоздки и малорентабельны. В «Национальн. гос. и т. д.» (1915) мы встречаем последние, достаточно глухие отзвуки злосчастной теории. И Каутский все меньше заговаривает об экономических факторах ультра-империализма и все чаще останавливается и все дольше задерживается на факторе совершенно иного порядка—на растущей мощи демократии. Если и выдвигаются время от времени аргументы от экономики, то это неожиданно пришедшие на ум мысли, разрозненные, не претендующие на значение законченной теории, обычно вычитанные в текущей буржуазной литературе и—ошибочные [1]): Это Каутский, прежде чем поставить крест над экономическим обоснованием сверх-империализма и признать, таким образом, свое бессилие дать таковое, делает отчаянные попытки хоть что-нибудь придумать, что могло бы сойти за аргументацию от экономики.

IV. В тихой пристани (1915—1918).

«Ему остается только жестокое удовольствие созерцать свое умирание».
(Франс, «Таис»).

I.

Выше указано, что по мере того, как обнаруживается невозможность дать теоретико-экономическое обоснование ультра-империализма, Каутский все больше обращается к теории общего (если можно так выразиться) развития капитализма, т.-е. не к специально-экономической теории, а к теории, долженствующей охватить экономику плюс социальные отношения—плюс политику. Этот поворот проделывается тем легче и тем незаметнее, что и теоретико-экономическое доказательство Каутского по существу, как мы видели, должно было свестись к аргументации голой абстракцией, т.-е. попросту к устранению всякого действительно-экономического доказательства и к необходимости передвижки вопроса в плоскость политики. Итак, начиная с 1914 г., в различной связи, по самым разнообразным поводам, обрабатывается Каутским по кусочкам, с изрядным количеством противоречий и мещанского «здравого смысла», та теория, которой суждено стать основной мудростью II Интернационала в эпоху рождения социализма. Это—теория растущей мощи демократии. Ей, представляющей ultra ratio оппортунизма, выпала «блестящая» честь—послужить фундаментом для идеи мирного сверх-капитализма.

Наиболее «глубокое» обоснование теории растущей мощи демократии находится, несомненно, в брошюре, написанной в период между русской и германской революциями под названием «Сербия и Бельгия». Во втором выпуске брошюры («Бельгия», Мэсква 1919, стр. 72 и сл.) читаем: «Было бы совершенно неправильно рассматривать империализм, как единственный продукт современного капитализма, и оставлять при этом без внимания демократию... В современных государствах видят только империализм и не видят необходимости демократии—необходимости во всех смыслах этого слова, как непременного требования пролетариата и как неизбежного результата самого механизма капиталистического процесса производства... Демократия является результатом не только пролетарской классовой борьбы, но и самого механизма капиталистического процесса производства. Она неудержимо растет вместе с этим механизмом, наперекор всем временным помехам... С чисто-экономической точки зрения положение пролетариата безнадежно. Только демократия, и с нею политическая сила пролетариата растет постоянно и непрерывно. Только она в состоянии справиться с соединенными силами предпринимателей и освободить пролетариат и экономически, путем вмешательства демократической государственной власти»...

Увенчивается здание следующим тезисом о тенденциях: «Стремление к демократии растет в народных массах современных государств при всяких обстоятельствах, между тем как стремление к расширению государства охватывает капиталистические круги (несколько выше подчеркнуто: «известные капиталистические группы». *Э. Л.*) только при определенных исторических условиях».

Если прибавить, что эта идея мирного парламентского развития представляется Каутскому частным случаем общей теории о непрерывном демократическом развитии человечества [1]), а именно детерминированной формой непрерывного демократического развития в капиталистическую и предсоциалистическую эпоху, то нашим взорам предстанет теория растущей мощи демократии во всем своем «научном» содер-

[1]) Приведем одну из таких мыслей: «Основной причиной войны были империалистические тенденции различных государств, вызванные избытком в них капитала или интеллигенции или одного из этих двух факторов. Итальянский империализм, например, происходит без сомнения преимущественно от избытка интеллигенции, не находившей себе занятия на родине, а не от избытка капитала». Один из этих двух источников империализма—избыток капиталов — еще до войны начал оскудевать, война же покончит с экспортом капитала из Европы, быть может, навсегда. Ну, а второй источник империализма можно закрыть совсем легко: стоит только повести широкую «культурную политику» на те деньги, которые государство тратит на вооружение и войну. Это еще не будет социализмом, но это будет означать «неимоверный и неизбежный шаг вперед по сравнению с империализмом». Так, читатель, говорит Каутский в 1915 г.

[1]) Много, с любовью написанных, страниц уделяется этой теории в «Нац. гос. и т. д.» (1915), а также в брошюре о диктатуре пролетариата 1918 г.

жании. На примере этой теории можно лишний раз видеть, к какому грубому отходу от марксизма приводит орудование совершенно абстрактным положением при об'яснении закономерностей конкретного исторического отрезка. Изобразив все дело в виде механического и параллельного «производственно-политического» развития, Каутский низвел сложную проблему до пошленькой обывательской премудрости, что-де производство совершенствуется и политический строй совершенствуется. А глубокомысленно взвешивая шансы демократии (к ней, мол, стремятся широкие народные массы и притом—«при всяких обстоятельствах») и империализма (его хотят только «известные капиталистические группы» и притом—«только при определенных исторических условиях»), Каутский хитро подменяет марксистскую проблему об'ективных пределов демократического развития при капитализме [1]) мещанским оптимизмом, сводящимся к затушеванию неразрешимых противоречий капиталистической системы.

Для Каутского политическая история человечества есть движение по пути реализации принципов демократии; реализация же эта происходит в виде постепенного и непрерывного количественного накопления демократических элементов. При этом капиталистический способ производства самим своим механизмом осуществляет эту абстрактную категорию демократии («чистой демократии») достаточно полно, так что социализму останется лишь доделывать кое-какие детали. С этой точки зрения политическая реакция, характеризующая современный капитализм, представляет не больше, чем противоестественное нарушение нормального политического развития современного общества, его задержку или отклонение от того пути, по которому оно толкается самим капиталистическим производственным механизмом. Но подлинная политическая тенденция капитализма, т.-е. демократическая тенденция, конечно, проложит себе дорогу «наперекор всем временным помехам»! Демократический капитализм должен наступить, ибо действительно-развернувшийся, полностью осуществивший свои тенденции, капитализм есть демократический капитализм! Видана ли когда в претендующей на марксизм литературе более тупая метафизика? Превратить общественное развитие в подобие снежного кома, безобидно докатывающегося до идеальных (чей идеал?) размеров «чистой демократии», призвать для этой цели первобытные народы, тень средневековья, XVIII век [2]), чтобы почерпнуть из них филистерский трюизм на счет совершенствования производства и политической жизни и тем самым стереть мелочь: внутренние противоречия этого «совершенствования», классовую сущность этого развития—видано ли большее опошление марксизма? Идеолог II Интернационала под видом и под

[1]) «Влюбленный в «чистоту» демократии, Каутский нечаянно совершает ту самую маленькую ошибку, которую всегда делают все буржуазные демократы: именно он формальное равенство (насквозь лживое и лицемерное при капитализме) принимает за фактическое! Мелочь!» (т. XV, 466). Эту природу капиталистической демократии прекрасно понимал Анатоль Франс, писавший: «Закон справедлив, он в равной мере разрешает просить милостыню богатому и нищему, и он одинаково не запрещает провести под мостом дождливую осеннюю ночь домовладельцу и какому-нибудь бездомному бродяге».

[2]) См. «Нац. гос. и т. д» (1915) и брошюру о диктатуре пролетариата (1918).

названием непрерывного демократического развития протаскивает буржуазную идейку о неуклонном политическом прогрессе, который-де состоит в том, что растет культурность и образованность большинства населения (при чем тут классы?), и этой идейкой он заменяет основной закон современного демократического развития, который гласит: «Чем больше развита демократия, тем ближе бывает при всяком глубоком политическом расхождении, опасном для буржуазии, к погрому или к гражданской войне» (формулировка Ленина, т. XV, 460).

И уж, конечно, Каутский должен был забыть, как нечто идущее вразрез с его схемой кризис парламентаризма, этот заключительный политический этап капиталистического развития. В свои лучшие годы Каутский учил, как мы видели, что «политика насилия» составляет существо новой «индустриальной системы». Теперь же он силится доказать, что демократия—это совокупный интерес (Gesammtinteresse) всего буржуазного общества [1]). Теперь он отказывается понять, что «империализм противоречит, «логически» противоречит всей вообще политической демократии». Существует «противоречие между экономикой новейшего капитализма (именно: монополистического капитализма) и политической демократией вообще» (Ленин, XIII т., 356). Вот почему победившему социализму придется восстанавливать демократию (Ленин, там же, 401), а не только доделывать политическое наследство, полученное от капитализма.

Эта диалектическая сложность процесса скрыта от мещанина, верящего в непрерывное демократическое развитие. Ограниченный в своем кругозоре уютными парламентскими стенами, он, однако, необычайно смел, пока находится внутри этой клетки. Здесь он строит горделивые теории о том, что империализм—это «вопрос силы». Каутский воюет против правых (Кунова и др.), видящих необходимость империализма и земно ему по сему случаю поклоняющихся. Империализм—не экономическая необходимость, а лишь дело соотношения сил внутри капиталистического общества—таков лейтмотив всех рассуждений Каутского об империализме. Это следует читать: судьба империализма решается в парламентской борьбе, не затрагивающей капиталистического способа производства.

Теория самодовлеющего характера государства, это извращение марксизма, которым столь прославил себя Каутский, с необходимостью вырастает на почве теории растущей мощи демократии, занимая в ней виднейшее место. Капитализм может безостановочно политически демократизироваться. Больше того, капитализм должен безостановочно демократизировать свой государственный строй, ибо демократические стремления народа представляют прямую функцию производственного совершенствования капитализма, а государство—это реализация и воплощение мощи демократических стремлений народа. И мещанин взывает к мудрости будущей государственной власти (в ее добрых желаниях и в ее силе он не может сомневаться!): «Безусловно необходимо, чтобы в дело вмешался единственный фактор, который ныне еще превосходит их (тресты и т. д. *Э. Л.*) по экономической силе, и который, по крайней мере, в рамках своей территории представляет в противовес частным интересам единичных хозяйственных

[1]) Выражение Каутского в «Soz.-dem. Bemerkungen etc.», 28.

групп общие интересы всего буржуазного общества: государство»,—пишет Каутский в 1918 г., размышляя о послевоенных хозяйственных перспективах («Soz.-dem. Bemerk. etc.», 28 и сл.)[1].

Но, может быть, всего выпуклее выступает смысл каутскианской схемы (теоретический и политический) в кратенькой тираде из статьи, посвященной нашей февральской революции (апрель 1917 г.): «В двух вещах пролетариат настоятельно нуждается: в демократии и в социализме... То и другое нужно пролетариату в равной мере. Общественное производство без демократии могла бы стать одним из наиболее гнетущих оков. Демократия без социализма оставляет в силе экономическую зависимость пролетариата» («N. Z.», 35—2, стр. 11—«Die Aussichten d. russischen Revolution»).

Здесь в немногих словах сказано много. Во-первых.—Что—в основном—демократия, нужная пролетариату, осуществима в пределах капиталистической системы. Во-вторых.—Что поэтому одно из двух своих жизненных стремлений (совершенно равноценных!) пролетариат достигает при капитализме. В-третьих.—Что социализм и «чистая» демократия не представляют неразрывного целого, так, чтобы существование одного без другого было немыслимо; но что, напротив того, они мыслимы в раздельности, и можно говорить об осуществлении одного из них раньше другого. В-четвертых.—Что действительное развитие и пойдет таким путем, что вначале осуществится одно из этих стремлений,—а именно: демократия,—и уже на ее основе, пользуясь ее благами, рабочий класс подойдет и ко второй своей цели—к социализму. Или, выражаясь нынешними терминами, политическая демократия открывает поле для хозяйственной демократии.

Такова та теория растущей мощи демократии, которая служит последним, а со второй половины войны — единственным обоснованием необходимости ультра-империализма. Эта теория, считающая империализм отклонением от нормального капиталистического пути, претендует на доказательство не-избежности ультра-империализма, а не только его возможности. Характерно, что по мере того, как аргументация от демократии занимает авансцену, заслоняя, а затем вытесняя, «экономические» доводы, растет уверенность Каутского в торжестве ультра-империализма. За три года (1914—1917) ультра-империализм Каутского проделал большой путь: от одной из возможных перспектив капиталистической эволюции (которая к тому же имеет наименьшие шансы за себя)—через вероятный вариант развития капитализма (неоднократные заявления в 1915 г., что судьбу империализма решит исход войны)—к неизбежному, единственно закономерному этапу, который капиталистический способ производства должен пройти прежде, чем настанет исторический час социализма.

Итак, идея ультра-империализма, т.-е. представление о демократическом, мирном капитализме, как последней, высшей форме капиталистического способа производства, прямо вытекает из самой теории растущей мощи демократии, или, если угодно, входит в нее как составная часть. Каутский, однако, не ограничивался общим рассуждением и старался его детализировать, естественно в связи с вопросами войны. Причины войны, значение войны и национальный вопрос—вот три направления, по которым располагаются рассуждения Каутского о войне 1914 г. Задача: доказать, что война не представляет необходимости для капитализма и что поэтому она не повторится.

1. Основная причина войны. Выше (при сопоставлении Каутского с Гильфердингом) мы могли видеть, что Каутский отказывается признать связь современной торговой политики с войной. Современные экспансивные стремления, писал он, нельзя смешивать с таковыми же стремлениями эпохи первоначального накопления. Там они состояли в вооруженной борьбе монополистических компаний, сейчас же они сами страдают от применения оружия. Но где же тогда причина мировой войны? Полнее всего тогдашний ответ Каутского изложен и обоснован в «Нац. госуд. и т. д.» (1915):

«Империализм—виновник мировой катастрофы постольку, поскольку он служил побудительной причиной соперничества в вооружении, втянувшего, естественно, в свой круг все крупные державы, независимо от того, побуждают ли их к этому империалистические мотивы или нет. Это состязание в вооружении должно было неминуемо привести к войне, если бы оно не было во-время приостановлено,—даже при условии, если бы все спорные империалистические пункты удалось уладить путем мирных соглашений... События пошли путем, совершенно противоположным обычному. Обычно государства сперва формулировали требования, об'являли затем войну и приступали к мобилизации. На этот раз мобилизация была об'явлена не из-за войны, а война из-за мобилизации, а от исхода войны будет зависеть установление целей, из-за которых она будто бы велась и исполнение которых захотят навязать противнику. Как добиться при таких условиях мира? Пока борьба будет итти не за определенные требования, а из-за смутных опасений (! *Э. Л.*), не имеющих пределов, до тех пор каждая страна будет прилагать все свои

[1] Как же мы придем к такой идеальной государственной власти? А в результате демократического развития. Анти-демократические тенденции в состоянии это развитие лишь временами задержать, пока расстройства, вызванные этой задержкой, не усилятся настолько, что станут чувствительны для широких слоев и будут заметны даже для необразованных и ложно информированных голов. Окончательное преодоление задержки произойдет тогда в результате Dammbruch'а, катастрофы, будь то падение правительства, партийный раскол или что-либо подобное» („N. Z.", 35—2, стр. 182. «Die Befreiung d. Nationen»).

Этот «ужасный» Dammbruch, парламентская катастрофа, и приведет, по уверению Каутского, к осуществлению политической тенденции капиталистического способа производства—к «превращению правительства в простых (blosse) уполномоченных парламента» («S.-d-ie u. national-liberale Taktik», «N. Z.», 35—1, стр. 542).

Удивительно ли, что отрицание революции и диктатуры пролетариата есть логически необходимая составная часть этой теории непрерывного демократического развития. «Правительственным классом пролетариат может стать только средствами демократии»,—пишет Каутский в марте 1917 г.! (Там же, 542). В 1918 г. он так извращает Маркса: «Диктатура пролетариата была для Маркса состоянием, которое с необходимостью вытекает из чистой демократии, если пролетариат в большинстве» (Брошюра о диктатуре пролетариата. Вена 1918, стр. 21). В 1920 же году, в одной из характернейших для послевоенного центризма статей, он раз'ясняет: «Мы стремимся к демократии не потому, что она нам кажется идиллией, а потому, что она представляет лучшую почву для постепенного изживания классовых противоречий между капиталом и пролетариатом... Где вопрос гласит: равноправие всех или полноправие одного только класса, демократия или аристократия, мы должны высказаться за демократию, даже в противовес пролетарской аристократии» (Der Kampf, 1920, июнь—«Demokratie u. Demokratie»).

усилия, чтобы не быть побежденной. Если бы она в точности знала, чего требует от нее противник, она, может быть, пришла бы к заключению, что продолжение войны, даже в случае победы, может ей принести больше вреда, чем соглашение по поводу выставленных требований» («Нац. гос. и т. д.», стр. 74 и сл.).

Можно подумать, что Каутский излагает здесь взгляды обывателя, с умыслом несколько шаржируя их. Ничего подобного! Это идеолог II Интернационала говорит от своего имени, мастерски запечатлевая свой мещанский образ мыслей. Нежелание подняться над уровнем обывателя, неумение брать явления в их об'ективном содержании, растерянность перед лицом «необычной» внешности событий, такой дикой и противоречащей привычным представлениям, и при всем том,—скрытая за легким недоумением («как это люди до сих пор не поняли свою пользу?»), полная пафоса и тупости, вера в торжество добра и здравого смысла, такая уютная, такая обнадеживающая! Разве это не все, что требуется от хорошего филистера? И разве Каутский не доказал своим толкованием империалистической войны, что он хороший филистер?

Соперничество в вооружении—вот в чем Каутский видит истинную причину катастрофы 1914 г. [1]). Напуганный ужасами войны, мещанин кричит, чтобы, по ее окончании, прекратили соревнования в вооружении,—и с негодованием его беспомощный «здравый смысл» отбрасывает малейшее сомнение в осуществимости этого требования. «Было бы просто бессмысленно, если бы рожденная соперничеством в вооружении война со всеми страшными опустошениями, которые она с собою несет, привела не к устранению причины войны, а к ее сохранению и тем самым обеспечила бы в скором времени новую, еще более ужасную, мировую войну» («N. Z.», 32—2, стр. 878—«Die Vorbereitung d. Friedens»). «Было бы просто бессмысленно!.. Не шутите,—это научный метод марксиста Каутского.

2. Значение войны 1914 г. для судеб капитализма. С одной стороны, в результате войны империализм станет «моральным банкротом еще быстрее, чем манчестерство после великого кризиса 73 года» («N. Z.», 35—2, стр. 114—115—«Imperialismus u. reaktion. Masse»). Это произойдет, во-первых, потому, что в нем разочаруются широкие массы, во-вторых, под влиянием военного материализма», впечатление от которого «не так-то легко будет стереть» после войны («N. Z.», 32, стр. 981—«Wirkungen d. Krieges»). С другой стороны, война разрушит материальную основу будущих войн. «Бремя войны будет столь неимоверно, что было бы в финансовом отношении тяжело, если не невозможно, прибавить к нему после заключения мира бремя новых состязаний в вооружении, именно, в виду конкуренции хозяйственно-неповрежденной и мощной Америки» («N. Z.», 32, стр. 845—«Der Krieg»).

Итак, война 1914 г.—последняя война. Она расчищает дорогу для мирного капитализма. «Мы ожидаем банкротство импера-

[1]) «В Западной Европе к моменту наступления войны отсутствовали спорные империалистические пункты. Они все были раньше урегулированы» («Нац. госуд. и т. д.», стр. 74). «То обстоятельство, что местный конфликт между Австрией и Сербией сразу же зажег весь мир, об'ясняется в последнем счете тем, что система соперничества в вооружении превратила всю Европу в два враждебных военных лагеря» («N. Z.», 32—3, стр. 878—«Die Vorbereitung d. Friedens»).

лизма и политики вооружения, мощный под'ем демократии. Тем самым Европа вступает в новую эру быстрейшего политического и социального преобразования. Это та сторона войны, которая в обстановке всеобщей нужды преисполняет нас самыми радостными ожиданиями».

Так писал Каутский в мае 1917 г. («N. Z.», 35—2, стр. 145—«Die Befreiung d. Nationen»). К этому времени последние обрывки его былой революционности успели сгнить. Программа, которую он предлагал рабочему классу, полностью охватывалась старчески боязливым и старчески самолюбивым лозунгом: «В политику социал-демократии война не должна внести никаких изменений» («Нац. гос. и т. д.», стр. 90).

3. Национальный вопрос в связи с войной. Национальный вопрос в схеме Каутского составляет целую цепочку аргументов в пользу теории «последней войны». Во-первых, он используется Каутским в деле доказательства того важнейшего тезиса, что война 1914 года вовсе не целиком империалистическая. Настоящая война, заявляет Каутский, «это борьба не только между разными империализмами, но и между империализмом и демократией, между более или менее демократическими и более или менее империалистическими и милитаристскими государствами» (Сербия и Бельгия, вып. 2, Москва 1919 г., стр. 73). Во-вторых, выдвинув национальный вопрос в качестве одной из причин войны 1914 г., Каутский ловко раз'ясняет, что, поскольку война разрешит национальный вопрос, она устранит одну из возможных причин будущих войн. В-третьих, Каутский, строит доказательство того, что война таки в самом деле приведет к разрешению национального вопроса [1]). Мы остановимся коротко только на последнем.

«Союз государств, а не государство национальностей или колониальная империя, является той формой больших империй, в которой нуждается капитализм для достижения своей последней, высшей степени развития, когда пролетариат осуществит свою конечную цель. Такой союз может вылиться в самые различные формы—он может также стать союзом союзов. Такая форма наиболее эластична и способна к бесконечному расширению, вплоть до мирового союза» («Нац. госуд. и т. д.», стр. 87,—курс. наш) [2]).

Сказано совершенно категорически,—ну, а доказательство? Но зачем доказательство, когда есть такая порука, как демократия, распускающаяся подобно цветку: «В направлении исторического развития лежит прежде всего самостоятельность наций» («N. Z.», 32—2, стр. 877—«Die Vorbereitung d. Friedens»). Правда, путь к светлому идеалу усеян различными формами

[1]) В политике выпячивание национального вопроса служит Каутскому еще для обеления II Интернационала. В прежних местных империалистических конфликтах «линия поведения Интернационала была ясна и элементарна». «В настоящей мировой войне перемешались империалистические проблемы с демократическими и в этом осложнении не в малой степени коренятся причины того большого замешательства, которое она внесла и еще продолжает вносить в ряды социалистических партий почти всех стран» (Сербия и Бельгия, стр. 73).

[2]) Через год (1916) развивается мысль о «возникновении и продолжительном, плодотворном функционировании такого союза государств, как средне европейский, на основе добровольного вступления в его члены» («Об'единение Средней Европы», М. 1916, стр. 80—81).

национального угнетения. Ученый надевает очки и глубокомысленным взглядом окидывает мировую историю. Возможны, видите ли, три основные комбинации национального угнетения, «различия которых основываются на различии между первобытной и современной демократией». А именно: а) первобытные народы порабощаются также примитивным народом—например, восточные деспотии; в) современная нация подчиняет себе народ с примитивной демократией—таково колониальное государство; с) различные современные нации с развитой политической жизнью об'единены в одно государство—это уже будет государство национальностей.

Если бы кому-либо пришло в голову издать хрестоматию филистерских мыслителей, ему невозможно было бы найти другой такой образчик абсолютного отсутствия самомалейшего диалектического штришка, как это рассуждение «марксиста» Каутского. Надо же уметь выдавать за марксизм такой тупой фетишизм формы, который не только игнорирует реальность, проявляющуюся в этой форме, но который сверх того вытравливает самую реальность форм, т.-е. их историческую обусловленность....

Но почему же все-таки «союз государств, а не государство национальностей или колониальная империя, является той формой больших империй, в которой нуждается капитализм»? Можно подумать, что Каутский займется специальным анализом капиталистического способа производства, ибо иначе «нужду капитализма в союзе государств, построенном «на добровольном вступлении в его члены», доказать нельзя. Каутский, однако, не забыл своих злоключений с экономическими обоснованиями ультра-империализма. На сей раз он выбирает менее хлопотливый путь. Он предлагает отрицательное доказательство, а именно—об'являет «мнимым законом» положение, что «капиталистический способ производства по экономическим причинам лишает жизнеспособности в политике мелкое государство, точно так же, как мелкое предприятие в промышленности» («Об'единение средней Европы», М. 1916, стр. 31).

После всего вышеизложенного мы не удивимся этому новому проявлению формального мышления. Идеолог II Интернационала не может (органически!) различить формальную независимость государства от его способности проводить собственную, независимую политику. Певец демократии и подумать не хочет о неизбежной противоречивости «демократического строя» при капитализме. Недалеко уйдя от схоластических реалистов давно ушедшего века (столь часто привлекаемого им в свидетели явлений новейшего капитализма), Каутский свято верит в реальность демократической терминологии. Раз говорится: «добровольное вступление в члены»—значит, так оно и есть. Раз сказано: «равенство великой и малой нации в капиталистическом союзе государств»—не смей в этом сомневаться [1]).

Тот же формальный метод Каутский применяет и в колониальном вопросе. Вот почему он не в состоянии понять проблему

[1]) Диалектика национального вопроса в эпоху империализма сформулирована Лениным в следующих словах: «Империалистическая эпоха не уничтожает ни стремлений к политической независимости наций ни «осуществимости» этих стремлений в пределах мировых империалистических отношений» (т. XIII, стр. 363. Курсив и кавычки Ленина).

долуколоний, эту характернейшую проблему современного капитализма. «Турция не Индия... В Индии все высокие посты в государственном управлении и в армии замещаются британцами, т.-е. иностранцами... Можно удивляться, что Дельбрюк называет Турцию колониальной сферой Германии. Ведь она союзник Германской империи» («Bismark u. d. Imperialismus», «N. Z.», 34—1, 365). Или: «Уже прошло то время, когда можно было обращаться с Мексикой, как со своей колонией» («Об'ед. средн. Европы», стр. 45). Или: «Китай перестал быть об'ектом европейской колониальной политики. Мировая война позволила ему окрепнуть политически и экономически и оздоровиться в финансовом отношении» («S.-d. Bemerk. etc.», 100—101).

Как посредством идеи непрерывного демократического развития доказывает Каутский, что война приведет к разрешению национального вопроса. В свою очередь эта теория национального вопроса несет свою специальную службу в основном предприятии Каутского, в обосновании идеи о последней войне и об ожидающем нас рае мирного капитализма. А теперь, после столь долгого и терпеливого пребывания в чистилище «чистой демократии», мы вправе хоть одним глазком заглянуть в этот капиталистический рай, рисующийся воображению мещанина.

Ошибся бы тот, кто бы вздумал, что царство мирного капитализма будет держаться на выросшей мощи рабочего класса. Человек, который так понял бы Каутского обнаружил бы полнейшее незнание каутскианства, искусство которого ведь в том и состоит, чтобы с пафосом проповедывать о целительных абстракциях и с ловкостью подменять их либеральными идейками, когда дело доходит до практики. Соль ультра-империализма состоит как раз в том, что практически-политически он ожидается отнюдь не от роста силы пролетариата, а от пацифизма буржуазии.

Таким образом, мнение, будто ошибка Каутского—в его убеждении, что рабочий класс может осуществить свое требование мира еще при капиталистическом строе, верно лишь отчасти и неверно в основном. Несмотря на горячо проповедуемую теорию усиления политического влияния рабочего класса, Каутский ставит ставку вовсе не на рабочий класс, а на буржуазию. Его рассуждения при этом поразительно напоминают другую его идею, так скоро и позорно отцветшую, идею нового либерализма, провозглашенную им в 1910—1912 г.г. В 1917 г. он пишет: «После войны следует ожидать большую борьбу внутри самого буржуазного класса, между сторонниками войны и пацифистами, сторонниками разоружения и сторонниками соперничества в вооружении, противниками и защитниками пошлин на жизненные припасы и сырье» и т. д. («Imperialismus u. reaktionäre Masse», «N. Z.», 35—2, 114—115). На этой буржуазной оппозиции империализму (Каутский имеет для нее специальный термин: «моральное банкротство империализма») строит Каутский свои политические расчеты на наступление эры ультра-империализма. И здесь же он пытается аргументировать от об'ективной почвы этой оппозиции (не указывая, впрочем, в чем же собственно эта об'ективная основа состоит): «Шаблонные политики, полагающие, что если что-либо происходит, то это уже навсегда, насмехаются над этим стремлением буржуазного пацифизма к разоружению и пустейшим судам... Они не замечают реальных условий, которые

уже до войны сделали буржуазный пацифизм в некоторых государствах силой, вынуждавшей империализм к уступкам» [1]). Таким образом, почти за десять лет до Марсельского конгресса II Интернационала и до программной статьи Гильфердинга [2]) теоретик центризма сформулировал достаточно полно идею о «реалистическом пацифизме» современной буржуазии. То же относится и к другой формулировке этой идеи, нашедшей место на Марсельском конгрессе,—к осуждению старого тезиса социал-демократии: «капитализм—война, социализм—мир». «Мы должны в пользу вечного мира работать уже в нынешнем обществе, и нам не следует высмеивать этот вечный мир, как неосуществимую утопию» («N. Z.», 34—1, 562. «Mitteleuropa». В русск. изд. 1916 г.—перевод Энзиса—эта глава опущена).

А вот как все это выглядит в политической платформе, предложенной Каутским в 1918 г., когда война явно близилась к концу: «И от буржуазных правительств и партий должны мы требовать, чтобы с заключением мира состояние войны прекратилось во всякой форме, чтобы международные сношения возобновились на основе равноправия всех наций и чтобы заключение мира приняло такую форму, которая бы обеспечила от насилия все народы, которая бы сделала возможным не только мир, но и дружбу со всеми народами» («S.-dem. Bemerk. etc.», стр. 6) [3]).

II.

Идея ультра-империализма родилась в борьбе против леворадикальной формулы: «империализм или социализм». Ее назначением было обосновать реформистскую партийную политику, опиравшуюся на другую формулу: «война или разоружение». Но когда история решила в пользу войны, доказав этим никчемность центристских заклинаний, формула левых 1910—1912 г.г. вновь заняла авансцену. Однако расположение партийных сил было сейчас совершенно иное, в значительной мере по милости военного политического режима. Правое крыло партии, подчеркивавшее свою солидарность с центром во время его борьбы против левых, заговорило сейчас откровенно. Правые принимали формулу левых «империализм или социализм», однако лишь в том смысле, что именно империализм должен подвести человечество к социализму. Продолжая теперь борьбу против центра, начатую левыми, они, естественно, повели ее в противоположном направлении, обосновывали противоположные перспективы. Левые доказывали социалистическую зрелость человечества в период империализма и об'являли его периодом революции, они утверждали, что социализм означает новое, иное направление развития, которое может быть начато в любой момент империалистической эпохи, но лишь при условии пролетарской власти. Правые видели в империализме закономерный метод подготовки предпосылок социализма, и, отрицая революционный характер империалистической эпохи, рассматривали социализм как экономическое состояние, которое будет постепенно созревать по мере того, как империализм будет осуществлять его предпосылки. Таким образом, правые выставляли положение о предстоящем длительном периоде империализма.

Давид в нашумевшей в свое время книжке «Die S.-Demokratie im Weltkrieg», Brl. 1915, высказывает следующий основной тезис: «Включение всей земной сферы в новейшее технически-индустриальное развитие представляет неудержимый, необходимый и полезный процесс. Он совершается ныне и может ныне совершаться, как правило, только средствами капиталистического предпринимательства». «Меньше всего мы принципиальные противники мирохозяйственной экспансии, как таковой. Мы боремся не против содержания (das Was) такого «империализма», но только против методов (das Wie), которые он применяет, против его склонности к человекоистребительным приемам для достижения скорой и высокой прибыли за счет естественной жизни и человеческого счастья» (стр. 64).

Другой идеолог социал-империализма, известный уже нам по леворадикализму Ленш (его преображение произошло в начале войны), полагает: «Как раз путем настоящей мировой войны капиталистическая эпоха достигает неимоверной силы, ее победное шествие не у конца, но для большей части земного шара лишь у начала» («Hamb. Echo», 1915—Цит. «N. Z.», 33—2, 365).

Однако борьба ведется Каутским не против этих открытых империалистов. Она направлена против Кунова, в своей книжке «Partei-Zusammenbruch?» (1915) выразившего то новое направление, которое берет основная часть социал-демократического центра с начала войны и которое, не отличаясь существенно от открытого социал-империализма, подготовлялось, конечно, еще до войны. Кунов развивает следующую мысль:

«Империализм—это «только развитой, потенцированный капитализм», «хозяйственная фаза», сущность которой—далеко зашедшая концентрация капитала. Поэтому нелепо бороться против империализма. Борьба против империализма имеет столько же смысла и столько же шансов на успех, как и борьба против машин на заре капитализма. Империализм необходим, как переходный этап к социализму. «Я считаюсь с новой, финансово-капиталистической хозяйственной эрой, у начала которой мы стоим. Только она, по моему мнению, создаст предпосылки социализма» («N. Z.», 32—2, стр. 204 — «Illusionen-Kultus»). Мы должны

[1]) Что Каутский понимает под уступкой империализма пацифизму, видно, например, из следующего занимательного места из его статьи 1917 г. (Der imperialist. Krieg. «N. Z.», 35—1, 482): «Империалисты каждой великой державы оказались вынужденными, несмотря на некоторые первоначальные трения, столковаться с империалистами одной или нескольких других великих держав, заключить с ними союз. Но тем самым они уже вступили на путь весьма значительной м о д и ф и к а ц и и империализма»...

[2]) Ст. Гильфердинга о «Реалистическом пацифизме» была напечатана в «Gesellschaft» в 1924 г.

[3]) Приведем, в заключение, редкое по выразительности место из статьи Каутского от октября 1914 г. Через два месяца после начала войны идеолог центризма сладенько шамкал почти богобоязненные филистерские речи: «Мы вправе ожидать, что настоящая война уже через несколько месяцев вызовет точно такую же потребность в длительном мире, как два десятилетия войн сто лет тому назад. Возможно, что, как и тогда, он будет заключен на международном конгрессе. Уже сейчас мы имеем дюжину воюющих, один их съезд представил бы международный конгресс. На этот раз он занимался бы дележом не только Европы, но и всего мира. Тут и нейтральные страны потребовали бы своего участия. Правительства ныне не были бы столь независимы от народов, как сто лет тому назад. Они не могли бы просто игнорировать их желания. При таких обстоятельствах не было бы исключено, чтобы этот конгресс, поддержанный всеобщей тоской по миру, создал такое произведение, которое по меньшей мере будет столь же долговечно, как произведение Венского Конгресса. Но мир на пятьдесят лет должен стать длительным, вечным миром».

считаться с финансово-капиталистическим хозяйственным периодом и с вытекающей из него капиталистической политикой еще на десятилетия» (там же, стр. 208).

Основное возражение Каутский направляет против «необходимости» империализма. Его аргументацию мы знаем достаточно подробно. Но приходится сказать, что действительность Кунов видел гораздо вернее Каутского. Кунов понимал, что империализм не политика, а новейшая система капитализма — экономическая, а потому и политическая. Кунов, далее, близко подошел и к конститутивным признакам новой, по его выражению, «хозяйственной фазы» [1]). В противовес каутскианскому отождествлению империализма с колониальной политикой, он считает, что империализм (поскольку он есть политика)—это то же самое, что «мировая политика». Кунов, как и Давид, как и Ленш, смотрел на современный капитализм через очки буржуа, видящего колоссальную позитивную работу, которую финансовый капитал развивает по части создания мирового хозяйства и организации производственного процесса. Но буржуазные очки закрывали от них внутренние противоречия современного капитализма, ставящие границу его способностям к организации мирового производства, и закономерности роста этих противоречий. Они все трое вдохновлялись организационным развитием капитализма, пророча ему десятилетия дальнейшего совершенствования. Различия между ними—это не больше, чем различия темпераментов. Грубовато-практичный с уверенной улыбочкой Давид, восторженный без меры Ленш (вспомним Ленша левого), профессорски-педантичный и профессорски-высокомерный Кунов—все трое, в сущности, обрабатывали одно поле—буржуазных представлений об империализме, хотя и не глядящих в будущее, но, при всем

[1]) Следующие три ошибки Кунов считает основными в приведенном нами определении империализма Каутского, даже если понимать империализм как политику:

1) Империализм Каутский отождествляет с колониальной политикой («Illusionen-Kultus», «N Z.», 33—2, 202 - 203). При этом «характерная ошибка определения Каутского заключается как раз в том, что определение это, которое ведь должно об'яснить природу империализма, оставляет без внимания как раз современные империалистические черты новейшей колониальной политики» (199).

2) «Колониальная политика имеет своим источником не стремление каждой индустриальной нации, но стремление капиталистических государств» (199).

3) «Главной движущей силой нынешней колониальной политики является не промышленный капитализм, а финансовый капитал» (199).

Отсюда: «Определение Каутского слишком узко. Оно охватывает лишь часть тех политических явлений, которые уже ныне, в самом начале империалистической эры, обозначаются как «империалистические». Стремление добиться на чужой территории железнодорожных, горных и земельных концессий, например, Япония—в Китае; или стремление крупных финансовых консорциумов снабдить чужие страны железными дорогами и, таким образом, поставить их в финансовую зависимость от себя (ср. Багдадскую дорогу); или, например, попытка какого либо государства аннексировать соседние рудные и угольные бассейны, чтобы доставить дешевое сырье своей растущей крупной промышленности; или постройка морских станций в отдаленных частях света для обеспечения определенных торговых или колониальных планов; или сооружение каналов на чужой территории (ср. Панамский канал) с целью добиться гегемонии (Oberherrschaft) в прилегающих водах, а, быть может, и с целью, при случае, расширить свои колониальные владения; все подобные стремления и предприятия не относятся, согласно определению Каутского, к понятию империализма, ибо они не попадают под рубрику присоединения аграрных областей» (200).

своем самодовольстве и ограниченности, исходящих из реального настоящего. Все трое популяризировали при этом свои буржуазные идеи такими доводами, которые бы могли получить доступ к голове рабочего. Каутский же, воюя с правыми, не сумел подняться над эпохой, т.-е. не сумел увидеть ее об'ективную закономерность. Свою критику он направлял из прошлого, делая ее тем самым еще менее научной, чем апологетика настоящего у Давида—Ленша—Кунова. Ленин в одном месте сравнивает позицию Кунова «с карикатурой, которую народники рисовали против русских марксистов в середине 90-х годов: дескать, если марксисты считают капитализм в России неизбежным и прогрессивным, то они должны открыть кабак и заняться насаждением капитализма» (Империализм). Известно, что эта карикатура на марксистов оказалась не так уже далека от подлинного портрета нашей «марксистской» буржуазии, заявившей о себе довольно скоро. Можно продолжить аналогию с той эпохой и сопоставить каутскианскую критику империализма с народнической критикой капитализма.

Выше мы видели, что внутренняя гнилость (теоретическая, а в значительной мере и политическая) взглядов Каутского периода юношеских порывов происходила от того, что они явились продуктом анализа империализма под углом зрения национального хозяйства. Но то же самое относится и ко взглядам Каутского периода старческого умиротворения. Империализм Каутский всегда стремился обосновать, как колониальную политику современных государств. Исходный пункт его анализа, составляющий в то же время основу анализа и его критерий—это отдельное капиталистическое государство (Каутский даже говорит: «нация»). Оно стремится к экспансии, подобно тому, как оно стремилось к экспансии с первых дней своего существования. Империализм—это лишь новейшая форма экспансии, и притом худшенная форма [1]). Что же касается мирового хозяйства, то оно при этом остается не больше, чем сферой действия национальных хозяйств.

Каутский не видит, что в нашу эпоху отношение национального капиталистического хозяйства и мирового хозяйства существенно, принципиально иное, чем в эпоху классического капитализма. Каутский носится со старой схемой, между тем как новейший капитализм означает именно перерастание старой формы мировых экономических связей в совершенно новый тип, принципиально отличный от прежнего. Если классический капитализм консолидировал ряд национальных капиталистических хозяйств, а остальной земной шар представлял при этом экономические резервы, на которые опиралось это сколачивание национальных хозяйств,—то империалистический капитализм есть прежде и раньше всего мировой капи-

[1]) «Можно доказать,—пишет Каутский,—что, во-первых, империализм не является единственным стимулом экспансивной политики держав; во-вторых, что колониальная политика—и именно в главнейших ее проявлениях—не империалистического происхождения; в-третьих, что агрессивная политика империализма, будучи далеко не необходимой для экономического развития капитализма, даже из всех современных методов капиталистической политики расширения является наиболее дорого стоящим и наиболее опасным методом, но далеко не наиболее действительным, так как на-ряду с ним применяются другие, играющие значительно-большую роль в экономическом отношении» («Нац. госуд. и т. д.», стр. 24).

тализм, диктующий свои экономические законы отдельным национальным хозяйствам, больше того—превращающий современные государственно-хозяйственные организмы в своих агентов. Вот почему сильнейшие из этих агентов должны стремиться стать хозяевами современного мирового хозяйства. Ибо в вечность кануло то время, когда капиталистическое национальное хозяйство было самостоятельным суб'ектом, было само себе хозяином и могло самостоятельно и спокойно развиваться рядом с соседями, лишь время от времени вступая с ними в экономические конфликты. Поскольку дело идет о хозяйственной территории, экономическая проблема современности — это не расширение национально-хозяйственной территории главнейших капиталистических государств, а создание единой мировой хозяйственной территории. Расщепленный на национально-хозяйственные образования, развивающиеся в политической обособленности, которая закрепляется в империалистический период сращением государственной власти с господствующими в стране монополистическими группами, — капитализм обладает лишь одним подходом к разрешению этой настоятельной проблемы современности: одно какое-либо капиталистическое государство (или комбинацию государств) поставить во главе мирового хозяйства, подчинив ему остальные национальные хозяйства. Вот почему мелкие капиталистические государства не могут в нашу эпоху вести самостоятельную политику, чего Каутский, как мы видели, не понимает. Вот почему крупнейшие капиталистические государства (или группы государств) ведут жесточайшую борьбу друг с другом за господство над миром, что Каутский тоже не видит.

Возможен ли ультра-империализм? С точки зрения национального хозяйства—вполне возможен. Почему, в самом деле, не об'единиться всем крупным капиталистическим державам для согласованных действий по расширению своей территории? С точки зрения мирового хозяйства, как она определяется в нашу эпоху,—невозможен. Потому что капитализм мог бы организовать мировое хозяйство (если бы мог!) лишь в форме господства сильнейшего над остальными. С точки зрения мирового хозяйства возможны лишь кратковременные соглашения между соперничающими империалистами, лишь перемирия между периодами борьбы.

Как экономическая категория ультра-империализм Каутского есть не что иное, как неправильное перенесение на мировое хозяйство закономерностей капиталистического национального хозяйства. По существу дела, Каутский не знает иного подхода к мировому хозяйству, чем как к национальному хозяйству, территориально расширенному до размеров всего земного шара. Все возможности, которые капитализм обнаружил в рамках национального хозяйства, Каутский не задумываясь распространяет и на мировое хозяйство. Финансовый капитализм об'единил основные капиталистические группы (промышленные, аграрные, финансовые) в каждой стране, создав своего рода экономическую устойчивость внутри национальных хозяйств; так почему бы финансовому капиталу не об'единить и экономически слить основные капиталистические государства? Из диалектики Каутский забыл совсем пустячок: что количество переходит

в качество. Если бы Каутский оставался марксистом, он бы не мог ограничиться чисто-количественным пониманием различия между национальным и мировым хозяйством. Он бы задумался над вопросом, не привнесло ли бы расширение национального хозяйства до размеров мирового (путем ультра-империалистического соглашения всех главнейших капиталистических держав) качественно иных элементов и положений по сравнению со старой системой нескольких крупно-капиталистических национальных хозяйств? И не идут ли эти новые свойства слитого мирового хозяйства вразрез с условиями, необходимыми для создания устойчивого капиталистического хозяйственного организма? Если бы Каутский был марксистом, он бы занялся изучением конкретных причин, разрешающих финансовому капиталу «организовать» национальное хозяйство, прежде чем утверждать, что финансовый капитал может организовать и мировое хозяйство. А такое изучение показало бы ему, что, во-первых, капитализм создал «организованное» национальное хозяйство таким способом, что внутри национального хозяйства господствует монополистическая группа, подчиняющая и ставящая себе на службу всю экономическую жизнь страны. И что, во-вторых, устойчивость, которой добилась эта группа в «организации» национального хозяйства, т.-е. попросту устойчивость ее господства, базируется на неустойчивости мировых экономических отношений. Ибо для поддержания этой внутренней экономической устойчивости монополисты каждой страны вынуждены беспрерывно расширять сферу своей внешней эксплоатации, неизбежно тесня друг друга и неизбежно все снова и снова стремясь разрушать существующее мировое экономическое равновесие, чтобы изменять его в свою пользу [1]). Но может ли в таком случае капитализм организовать мировое хозяйство хотя бы наподобие того, как он «организовал» национальное хозяйство? Нет, не может. Ибо этих двух предпосылок, которые капитализм имеет для национального хозяйства, он не дает для мирового хозяйства. Во-первых, современное мировое хозяйство представляет сумму нескольких государственно-монополистических групп, из которых ни одна не намерена подчиниться господству другой. Во-вторых, ультра-империалистическое соглашение этих государственно-монополистических групп не могло бы не пошатнуть внутри-национальную устойчивость некоторых из участвующих в соглашении государственных монополистов, ибо закрыло бы для них путь к достаточно большому расширению внешней сферы эксплоатации. Если бы ультра-империалистическое соглашение явилось результатом победы сильнейшего из государственно-монополистических капитализмов, принудившего остальных к соглашению с ним, то эти последние направили бы все усилия к тому, чтобы взорвать стесняющее их соглашение. Если бы, с другой стороны, ультра-империалистическое об'единение составилось в результате договора равных (именно на этот невероятнейший из невероятных случаев

[1]) Ленин глубоко понимал империализм, когда придавал особенное значение тому обстоятельству, что для империализма существенно стремление к «захвату земель не столько прямо для себя, сколько для ослабления противника и подрыва его гегемонии (Германии—Бельгия особенно важна, как опорный пункт против Англии; Англии — Багдад, как опорный пункт против Германии и т. д.)» Империализм как новейший этап капитализма).

рассчитывает Каутский), то в результате неравномерности экономического развития при капитализме (а при господстве монополии она усиливается!)—это равенство вскоре нарушилось бы, и ультра-империалистическое соглашение стало бы обузой для ушедших вперед капиталистических государств. В обоих мыслимых случаях хваленый ультра-империализм оказывается—самое большее—временной оболочкой для непрекращающейся борьбы крупнейших групп капиталистических государственных монополистов за действительное и нераздельное господство над мировым хозяйством. В этой смертной борьбе государственных монополистов друг с другом за господство над миром высшая ступень капитализма. В третьем томе «Капитала» Маркс писал, что создание мирового рынка есть один из трех «главных фактов капиталистического способа производства» (на-ряду с обобществлением процесса труда и обобществлением средств производства). Мы живем в эпоху, когда капитализм полностью осуществил эту свою историческую миссию [1]). Но он берется за разрешение дальнейшей задачи—за организацию мирового хозяйства. Она ему, однако, не под силу. Социализм поставлен историей в порядок дня, так как задачи эпохи разрешимы лишь методами социализма. Одна из основных таких задач—рациональная организация мирового хозяйства. Своей теорией ультра-империализма Каутский стирает основной вопрос современности, ибо допускает, что капитализм может организовать мировое хозяйство.

Каутский всеми своими представлениями об империализме торчит в старом капитализме, когда несколько капиталистических наций шли завоевывать неподвластные еще капитализму территории. Эта глубокая реакционность каутскианских представлений густо пропитывает все его писания военного времени. Так, Каутский бесконечно повторяет свои рассуждения насчет того, что одна страна более империалистична, другая более демократична, для доказательства того, что империализм отнюдь не обязателен на современной стадии капиталистического развития. Или он вдруг заявляет, что образование тройственного союза и тройственного согласия есть уже «существенная» модификация империализма, ибо здесь осуществились «тенденции к соглашению между империалистами разных стран» («Der imperialist. Krieg», «N. Z.», 35—1, 482—83). Или он выпячивает национальную проблему в качестве одной из основных проблем современной войны. И т. д. Одним словом, для Каутского империализм—это политика отдельных наций, а не миро-хозяйственная проблема...

Но что при этом особенно характерно, так это различные результаты, к которым приводит Каутского его «национальная» точка зрения в ранние года и на закате. Если на заре империалистических отношений точка зрения национального хозяйства вызывала наивную недооценку положительной работы современного капитализма, то в период начавшегося разложения империализма (а, следовательно, капиталистического способа производства вообще) эта точка зрения приводит к трусливому отрицанию безысходности

[1]) Маркс писал: «Собственно задача буржуазного общества заключается в том, чтобы установить мировой рынок, хотя бы в общих чертах, и установить производство, покоящееся на его основе» (Письма, изд. Адоратского 2-е изд., стр. 91).

капиталистических противоречий как раз в тот момент, когда перезрелость капитализма ставит в порядок дня социалистический переворот. Переходя сейчас к выводам из нашего рассмотрения взглядов Каутского, мы остановимся также и на реальных основаниях этой поучительной диалектики в развитии каутскианства.

V. Уроки.

I.

«Вопросы о том, возможно ли реформистское изменение основ империализма, вперед ли итти, к дальнейшему обострению и углублению противоречий, порождаемых им, или назад, к притуплению их, являются коренными вопросами критики империализма. Так как политическими особенностями империализма являются реакция по всей линии и усиление национального гнета в связи с гнетом финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции, то мелко-буржуазная демократическая оппозиция империализму выступает едва ли не во всех империалистических странах начала XX века. И разрыв с марксизмом со стороны Каутского и широкого интернационального течения каутскианства состоит именно в том, что Каутский не только не позаботился, не сумел противопоставить себя этой мелкобуржуазной, реформистской, экономически в основе своей реакционной оппозиции, а, напротив, слился с ней практически» (Ленин, «Империализм». Курсив наш. *Э. Л.*).

В этих строках Ленина указана не только социально-политическая позиция каутскианства и не только социальные корни его теоретических построений. В них заключается ключ к основной теоретической (если угодно — методологической) ошибке каутскианской теории империализма. Ослепительно яркий свет социально-политического дефетишизирования, который ленинизм бросает на основные экономические категории современности, закрывает нам глаза на глубоко заложенную, непосредственно для борьбы рабочего класса еще не понадобившуюся теоретическую конструкцию. Подробно проследив все развитие теории империализма Каутского, мы могли убедиться, что реакционность ее состоит не только в практически-политических выводах, но и в основной ее методологии и в стержневых теоретических положениях. Это в равной мере относится ко взглядам Каутского всех периодов, что дает право говорить о каутскианстве в теории империализма. Резюмируя наше рассмотрение, выделим три важнейших момента в оформлении и развитии каутскианства в теории империализма:

1) какие формы принимало каутскианство в разные периоды;

2) какова основная теоретико-экономическая формулировка каутскианства;

3) почему и какими путями реакционная теория каутскианства, начиная с противопоставления себя оппортунистическому потоку, в конечном итоге,—теоретически и практически неизбежно с ним сливается.

Для понимания каутскианства в высшей степени важно заметить, что его теоретические формы менялись в тесной связи с политической эволюцией Каутского. Именно—обычно новый этап в развитии теории империализма Каутского связан с новым этапом в борьбе Каутского против правых, на одном же этапе с борьбой против левых. Таких этапов было пять:

Первый этап. На грани двух столетий. В партии появляется течение (правда, на вид не особенно сильное), стремящееся повернуть партию на путь «национальной» экономической политики. В аргументах недостатка нет. Все они сводятся к тому, что рабочий класс заинтересован в расширении рынков «своей», отечественной промышленности, а, следовательно, в протекционизме. Злоба дня—перезаключение торговых договоров,—и вокруг «торговой политики» разыгрывается в германской соц.-демократии первый турнир по поводу новейшей капиталистической фазы. Вождем оппозиции выступает Макс Шиппель. Штутгартский партейтаг 1898 г. дает дружный отпор буржуазной оппозиции. Главный докладчик—Каутский. Мы видели его аргументацию: а) протекционизм—это затея некоторых капиталистических групп, а именно—аграриев (в первую голову) и картеллированной промышленности; он идет вразрез с действительными интересами национального развития. И—б) сами картели и тресты—вредное явление, порожденное необузданным стремлением капиталистов к прибылям и неимоверно усиливающее эксплоатацию рабочего класса и потребителей.

Второй этап. 1905—1909. Этот период мы рассмотрели достаточно подробно. Политически в нем основное—борьба вокруг так наз. социалистической колониальной политики. Правые тянут рабочий класс на путь империалистической политики своих отечеств. В правых, как это заметил Ленин уже в 1907 г., говорит квалифицированная верхушка европейского рабочего класса, подкармливаемая за счет сверхприбылей из колоний. Каутский раскрывает свое понимание современного капитализма в полемике с этим «рабочим» империализмом. Выше мы подробно показали, что словесная революционность аргументации Каутского пропитана теоретической реакционностью, состоящей в том, что экономика новейшего капитализма, ставшего мировой системой, рассматривается под углом зрения закономерностей старого капитализма, стремившегося стать мировой системой. Мы видели, что теоретическая основа «революционности» Каутского была не защищена как раз со стороны основного фактора: современного капиталистического развития.

Третий этап. 1910—1912. Вокруг обсуждения отпора надвигающейся войне, именно вокруг лозунга разоружения, загорается схватка с левым крылом партии. Схватка увязывается с общей политической борьбой в рядах соц.-демократии—в связи с предложенной левыми новой тактической ориентацией. Борьба обнаруживает непригодность каутскианской концепции 1905—1909 г.г. для обоснования центристской тактики. Рождается идея ультра-империализма, но ее обоснование бессодержательно. Требуется теоретическое доказательство необходимости мирного капитализма. В итоге: неудавшаяся попытка привлечь противоречия между развитием промышленности и сел. хозяйства к обоснованию теории сверх-империализма.

Четвертый этап. Империалистическая война (в особенности 1915 г.). Борьба ведется против правых. Именно в связи с этой борьбой идея ультра-империализма находит свое достойное обоснование. Каутский, наконец, пристраивает свою теорию на единственно подходящую для нее «научную» полочку, имя которой—«вера в растущую мощь демократии» или—что одно и то же—«вера в торжество благоразумия и добра в человеческом роде». Историческое место теории ультра-империализма Роза Люксембург прекрасно определила в следующих словах: «Как либерализм на закате дней своих апеллировал от мало просвещенной к более просвещенной монархии, так «марксистский центр» хочет апеллировать от буржуазии, которая не поддается советам, к буржуазии, поддающейся внушению, от курса империалистических катастроф к международным договорам о разоружении, от борьбы великих держав за мировую диктатуру сабли к мирной федерации демократических национальных государств. Генеральный бой за уничтожение всемирно-исторического противоречия между пролетариатом и капиталом превращается в утопию исторического компромисса между пролетариатом и буржуазией с целью «смягчения» империалистических противоречий между капиталистическими государствами» [1]).

Пятый этап. 1918 г. Кончается война. Каутский пишет книжку об экономике переходного периода (Soz.-dem. Bemerkungen zur Übergangswirtschaft), в которой пытается дать социал-демократическую программу залечивания военных ран. Он полагает, что основная задача—это наладить мирную хозяйственную жизнь. Под экономикой переходного периода он понимает переход от военного хозяйства к мирному. Этот переход, допускает Каутский, может стать базой для экономического перехода от капитализма к социализму; на большее он не рассчитывает. Но, слыша раскаты приближающейся революции, Каутский еще раз, в последний раз, воспламеняется огнем почти-революционной фразеологии. Он гневно выступает против вполне оформившегося и завоевавшего решающие партийные позиции реформизма. Он решается на это теперь тем легче, что с конца 1916 г. организационно порвал с социал-демократической партией. Последняя написала на своем знамени мирный в'езд в царство социализма на спине организационно совершенствующегося капитализма. В сущности, Кунов еще в 1915 г. исчерпывающе сформулировал теоретическое обоснование этой программы. В брошюре, посвященной партийному кризису, он писал: «Хозяйственная фаза империализма есть историческое преддверие к осуществлению социализма. Все больше передавая важнейшие отрасли производства в руки крупных капиталистических об'единений, отрывая руководство производством от собственности на средства производства, об'единяя технически связанные предприятия и ускоряя и концентрируя экспроприационный процесс, эта хозяйственная фаза создает известные организационные предпосылки для социалистического способа хозяйства» (стр. 15). Каутский об'являет войну именно последнему, подчеркнутому нами, положению. «Капитализм ни в какой мере не приготовляет организационное русло нового способа производства, в котором пролетариат

[1]) Накопление капитала—Антикритика, Гиз, 1922 г., стр. 106.

после своей победы мог бы без дальнейшего спокойно устроиться». «Из борьбы за социалистический идеал, а не из практики картеллированных предпринимателей и финансовых магнатов возникнет социализм». «Сила и зрелость пролетариата, а не определенная высота капиталистической организации посредством трестов и банков, представляет решающую предпосылку для осуществления социализма» (162).

Мы видим, что и в 1918 г. Каутский был бессилен дать диалектическую критику реформизма. В конце концов, он противопоставлял экономические предпосылки социализма политическим, чтобы, оставив в руках правых экономическую аргументацию, спрятаться под сенью политических надежд.

Итак, теоретически Каутский никогда не был в силах побороть правых. Они исходили из реальных отношений империалистической системы, которые они прикрашивали на буржуазный манер и в таком виде распространяли на все будущее вплоть до социализма. Каутский исходил из отношений, глядевших из прошлого и, идеализируя их, распространял их на все будущее, вплоть до социализма. Внутренних противоречий современности, действительных противоречий, обрекающих империализм на гибель, не видели ни правые, ни Каутский. Правые аргументируют фактами из реальной жизни, подобно буржуа, понимая и трактуя эти факты свободными от неразрешимой антагонистичности. Каутский «смотрит глазами давно умерших или живет привиденьями книг», ибо он не понимает переходного характера современной экономической системы и не видит поэтому открываемых ею перспектив для борьбы за социализм.

Реакционность представлений Каутского очевидна. Но в какой форме эта реакционность проявляется в его теоретических построениях и в его теоретической методологии? Нам кажется, что мы вправе на основании того подробного рассмотрения, которому мы подвергли взгляды Каутского, дать следующую формулировку теоретического содержания каутскианства: каутскианство в проблеме империализма представляет критику империализма, ведущуюся с точки зрения доимпериалистического развития капитализма. Каутскианство изображает империалистическую стадию капитализма, как ошибку истории, не оправдываемую ни «интересами» самого капиталистического развития, ни интересами перехода к социализму. Напротив того, переход к социалистической организации производства (если он уже назрел) может произойти лишь от капитализма в его классическом виде, который является единственно нормальным (естественным) состоянием капиталистического способа производства. При этом особенностью теоретической методологии каутскианства является тот способ представления, который современную систему мирового капитализма мыслит в категориях старого, национального капитализма, т.-е. капитализма только еще стремящегося охватить весь мир [1]).

[1]) В высшей степени характерно, что под этим же национальным углом зрения решает каутскианство и проблему социалистической революции. Для каутскианства есть зрелые для социализма нации, а не зрелое для социализма мировое хозяйство. Отсюда: маршрут социализма начинается обязательно от передовой капиталистической страны. «Социалистический способ производства так же мало может исходить от экономики отсталых стран, как и от экономически отсталых отраслей производства»,—пишет Каутский в 1907 г. («Soz. u. Kolonialpolit.». 59). И буквально то же самое повторяется в 1918 г.: «исходным пунктом пролетарского общества может, конечно, быть лишь страна, в которой пролетариат не только образует подавляющее большинство населения, но и которой он за десятилетия борьбы вырос до наиболее развитого политически и наиболее способного к организации из всех демократических классов». (S.-d Rem. zur Uebergangsw., 163). Но эта же «национальная» точка зрения характерна и для ряда теоретических положений Каутского: взять хотя бы его выхолощенную интерпретацию марксовой теории обнищания пролетариата.

Каков же путь каутскианства и какова его тенденция?

Каутскианство в теории империализма начинает свои первые шаги с резкого противопоставления себя оппортунизму. Оппортунисты принимают современные формы капитализма, мы их отвергаем—таков политический и теоретический мотив каутскианства первой формации. Мы видели, как это увязывается с общей «революционностью» Каутского 1905—1909 г.г. Мы показали, что слабым пунктом этой революционности был центральный пункт, т.-е. базирование революционности на теории, игнорирующей основные закономерности современного экономического развития. Мы показали, что заманчивая теория была незащищена со стороны реальных отношений, которые она рассматривала как злую болезнь капитализма.

Вспомним, что Ленин именно про тот период сказал, что он открывал наибольшие надежды на оформление Каутского в качестве революционера-марксиста. Это замечательно глубокая мысль. Чтобы оправдать эти надежды, Каутский должен был бы, помимо прочего, «идейно перевооружиться». Вместо того, чтобы заниматься отрицанием прогрессивной роли «новой индустриальной системы», ему следовало бы задуматься над содержанием этой прогрессивной роли, ибо только идя таким путем можно понять ее границы. Но это означало бы смерть каутскианства. Этого не случилось. А наступившие годы затишья и реакции возвращают Каутского от левых сомнений в центр, центризм же не нуждается в научном обосновании революционной политики,—он требует двусмысленного обоснования революционной фразеологии. Каутскианская теория современного капитализма оказывается как-будто специально для этого скроенной.

В самом деле, с одной стороны, она открывает безбрежные возможности для «революционного» красноречия. С другой стороны, будучи очищена от «крайностей» 1907—1909 г.г., она уклоняется от ответа на вопрос, настало ли время для социализма, и тем самым открывает широкий путь к оппортунистической практике. Каутскианская теория с идеальной резкостью изобличает зловредность новейшего капитализма, и она же с идеальной верой обещает уничтожение новейших язв капитализма еще при капиталистическом способе производства. Удивительно ли, что каутскианство является официальной теорией партии, в которой господствует центризм? Удивительно ли, что на партейтаге 1912 г. (Хемниц) докладчик об империализме от правления партии—Гаазе—развивает чистейшие каутскианские представления?

Линия эволюции каутскианской теории империализма совпадает с линией развития центризма. Внутреннее противоречие центризма—в неумении и в нежелании передвинуть партийную политику на путь подготовки к революции в эпоху, когда пролетарская революция стучится в дверь, в эпоху, когда прime-

нение старых, традиционных методов работы и борьбы неизбежно превращается в поддержку капитализма в его стремлении продлить свое существование. Внутреннее противоречие каутскианской теории империализма, как мы видели, заключается в непонимании переходного характера современной экономики и в стремлении доказать необходимость возврата к старому капитализму, ибо только он-де обеспечит переход к социализму. Тенденция центризма: через постепенное практическое приближение к оппортунизму—до полного с ним слияния. Тенденция каутскианской схемы империализма: через ряд теоретических поражений в борьбе с оппортунизмом—к отказу от экономической критики империализма, и отсюда—к полному теоретическому растворению в оппортунистической концепции врастания в социализм.

В сущности, уже отказ от экономической критики империализма, выразившийся в обосновании ультра-империализма аргументацией от демократии и отмечающий поворотный пункт в развитии каутскианской концепции, представляет начало конца каутскианства. Ничего неожиданного в этом отказе, конечно, нет. Напротив того, его корни идут из сердцевины каутскианских представлений о капитализме. Мы имеем в виду проблему экономических границ капитализма, которую Каутский никогда не умел разрешать по-марксистски.

II.

Известно, что ревизионизм 90-х г.г. об'явил войну теории крушения капитализма. «Теорией крушения» Бернштейн назвал (в полемике против Бакса) распространенный в тогдашней социал-демократической среде взгляд, что капитализм погибнет в результате неизбежного и острого экономического кризиса, который превратится в кризис всей капиталистической системы и приведет к власти рабочий класс. Каутский, возглавлявший борцов против ревизионизма, отрицал утверждение Бернштейна, будто теория крушения господствует в социал-демократии. Он показал, что теория крушения—это теоретический пасквиль, цель которого представить марксистское понимание капиталистического развития в смешном противоречии с действительностью. Как же Каутский представляет себе тогда подлинную марксистскую концепцию? «Теория Маркса и Энгельса видит в капиталистическом способе производства фактор, который толкает пролетариат на классовую борьбу против капиталистов, который все больше и больше увеличивает его численность, сплоченность, интеллигентность, самосознание и политическую зрелость, который все больше и больше повышает его экономическое значение, делает одинаково неизбежным как его организацию в политическую партию, так и его победу; но столь же неизбежно он обусловливает и возникновение коллективистического производства в результате этой победы» (Анти-Бернштейн, Москва 1922 г., стр. 53).

Вот буквально все, что имеет сказать Каутский в защиту марксизма. Однако это совершенно недостаточно и потому неправильно. Ибо проблема экономических границ капитализма здесь снята, она заменена проблемой политической границы, подготовляемой капиталистическим развитием. Когда же Каутскому приходится ставить вопрос об экономическом пределе капи-

талистического развития, он недалеко уходит от им же высмеянной Бернштейновской фальсификации марксизма. Таковы—мы видели—его взгляды 1901 г. («Торговая политика и т. д.»), 1902 г. («Теории кризисов»), 1907 г. («Колониальная политика»), 1910 г. («Финансовый капитал и кризисы»). Но таковы же взгляды Розы Люксембург и отчасти Парвуса («Профессиональное движение и социал-демократия»—конец 90-х г.г.; «Колониальная политика и крушение капитализма», 1907 г.), хотя все трое по-разному представляют себе причины крушения.

В самом деле, Каутский и Роза Люксембург ищут механическую границу капиталистического способа производства и находят ее—один в сокращении аграрных областей, неизбежном при капиталистическом развитии, другая в невозможности реализации прибавочной ценности в чистом капитализме. Гибель капитализма наступит при достаточном приближении к указанному ими пределу. Что касается Парвуса, то он ждет краха капитализма от всеобщего промышленного кризиса, который поразит все мировое хозяйство и освободит его от ига капитала.

С другой стороны, социал-демократы, не желавшие поправлять («дополнять») Маркса в этом вопросе, отказывались ставить вопрос об экономических границах капитализма. Таков Гильфердинг, который не признавал экономической границы капитализма. Он строил перспективы единого мирового картеля, утверждая, что «экономически» такой картель был бы возможен, но он невозможен по политическим и социальным причинам («Финансовый капитал», СПБ. 1918, стр. 435).

Одна из величайших теоретических заслуг Ленина, что он дал подлинно марксистскую теорию гибели капитализма, чего не в состоянии была сделать социал-демократическая мысль. Для него совершенно бесспорно, что марксист не может сводить проблему перехода от капиталистического строя к социалистическому, к чисто политическим факторам. Марксист должен понять политические факторы перехода из экономических. Но для Ленина так же бесспорно и то, что нельзя эти последние искать в отдельных из'янах капиталистического способа производства, как то делают Каутский и Роза Люксембург. Маркс никогда не делал из отдельных недостатков капиталистического производственного механизма решающую проблему для судеб капитализма, так что и Розе и Каутскому пришлось открыто заявить, что они «дополняют» или очищают Маркса. Ленин, как и Маркс, берет капитализм в целом, и гибель капитализма он выводит не из отказа служить со стороны какой-нибудь отдельной пружины капиталистического производственного аппарата, как бы важна эта пружина ни была, а из деформации всей экономической системы капитализма, которая неизбежно наступает на известной и вполне определенной (господство монополий и закончившийся раздел мира) ступени капиталистического развития. Эта экономическая деформация, названная Лениным загниванием капитализма и заполняющая целую историческую эпоху—эпоху империализма, — представляет почву, из которой растет политическое и социальное разложение капиталистической системы. Таким образом, у Ленина крушение капитализма—это не предвосхищение приближающейся механической границы капиталистического способа производства, а завершение целой исторической полосы, в

течение которой происходит, так сказать, экономическая иррационализация капиталистической формы общественного производства. Короче: Ленин дает не теорию крушения капитализма, а теорию его загнивания, которое приводит к крушению, при чем крушение это представляет, конечно, не однократный механический провал, а составляется из ряда революционных социалистических прорывов, с каждым разом все более сужающих сферу капитализма, углубляя тем самым его противоречия и обостряя его неустойчивость. Так и только так может понимать гибель капитализма марксист.

Одна сторона теории крушения имеет особенное значение. Сосредоточивая внимание на последнем пункте капитализма, эта теория исключает из своего горизонта движение капиталистической производственной системы по направлению к этому пункту [1]). Таким образом, она открывает широкие возможности для игнорирования (замазывания) растущей противоречивости капиталистического развития. Вот почему теория крушения прекрасно уживается с оппортунистической практикой. Этот, на первый взгляд, парадокс нашел наилучшее воплощение в Кунове 1915 г., который в защиту империалистической тактики социал-демократии аргументировал тем, что до крушения капитализма еще далеко. С другой стороны, Каутскому, который охотно морализировал по поводу противоречий империализма, его теория крушения позволяла уклоняться от научного анализа этих противоречий, позволяла не видеть неизбежности этих противоречий и неизбежности их роста [2]).

Впрочем, полемизируя с Куновым, Каутский заявлял: «Я полностью соглашаюсь с Куновым в том, что, если вообще надлежит считаться с такого рода (т.-е. с экономическим. *Э. Л.*) крушением капитализма, то оно стоит в необозримой дали. Решительно ошибочны те теории, которые уже для ближайшего времени устанавливают перспективы такого конца. К этому выводу благоразумие привело нас во всяком случае еще до войны» («N. Z.», 33—2, стр. 267—«Nochmals unsere Illusionen»). И несколько выше поясняется: «Кунов ошибочно полагает, будто различие между ним и мною в том, что он считает крушение капитализма делом далеким, а я близким»... «Кунов исходит из того, что социальная революция будет продуктом экономического крушения капитализма. Я ожидаю ее от других факторов».

Так ставится крест над проблемой экономической границы капитализма. В решающей проблеме—пределов капитализма—первый, но фундаментальный, мост между каутскианством и открытым оппортунизмом (социал-империализмом) оказался возведенным еще тогда, когда Каутский готовился к политическому разрыву с правыми. И, начиная с этого момента, Каутский лишь достраивает этот мост, ни разу его не покидая [1]), пока теория экономического врастания в социализм не становится прочным завоеванием каутскианства,—правда, завоеванный здесь ассимилирует и порабощает завоевателя. Наконец, в 1919 г. именно Каутский дает наилучшую формулировку теории экономического врастания в социализм, которая когда-либо давалась: «Капитализм не что иное, как абстракция, получаемая из наблюдения над многочисленными отдельными явлениями и представляющая собой необходимое вспомогательное средство при стремлении проследить эти явления в их экономической связи. Но преодолеть абстракцию можно лишь теоретически, а не практически. Практически мы можем преодолеть только отдельные явления» («Как возникла мировая война», Москва 1924 г., стр. 50).

Логика развития убийственна для центризма. В начале нашего столетия Парвус такими словами характеризовал оформлявшийся в то время оппортунизм: «Точно так же, как свою капитуляцию перед капиталистическим способом производства он маскирует теоретическим стиранием границ между капитализмом и социализмом, так и свое подчинение капиталистическому государству он прикрывает ссылками на неустанную демократизацию государства». Мы видим теперь, что эта характеристика может быть буквально отнесена к Каутскому военного периода: с одной стороны—экономическое врастание в социализм, с другой стороны—идея непрерывного демократического развития. Да и могло ли быть иначе? Если падает экономическая грань между капитализмом и социализмом, если капитализм—абстракция, то где та причина, которая будет революционизировать политические и социальные отношения накануне перехода к социализму? Ее нет, и вслед за экономической гранью неизбежно падает и политическая. Решающим, критическим пунктом политической борьбы становится борьба за «чистую демократию» в пределах самого капитализма, а победа социализма—это только завоевание социал-демократического парламентского большинства на основе чистой демократии [2]). Революция же превращается в употребляемое по традиции словечко, которое обезвреживается безграничным фатализмом, преподносимым с нарочито ученым видом в качестве марксистского детерминизма. В 1918 г. Каутский пишет: «Даже самый пламенный призыв не может приблизить победу ни на один шаг; и самое судорожное заклинание, как и самое жестокое насилие над одиночками, не может ее ни на один час отсрочить» («S.-dem. Bemerk. etc.», 167).

[1]) Роза Люксембург пишет: «Рассмотрение картелей и трестов, как специфического явления империалистической фазы на почве внутренней конкурентной борьбы между отдельными капиталистическими группами, из-за монополизации наличных областей накопления и из-за разделения прибыли лежит вне рамок этой работы» (Накопление капитала, Москва 1921 г., стр. 328).

Каутский же только в 1907 г. пытался охарактеризовать специфические формы современной экономики.

[2]) «Теоретическая критика империализма у Каутского потому и не имеет ничего общего с марксизмом..., что эта критика обходит и затушевывает как раз самые глубокие и коренные противоречия империализма—противоречие между монополиями и существующей рядом с ними свободной конкуренцией» и т. д. (Ленин, Империализм).

[1]) В том же 1915 г. Каутский писал: «Растущая эластичность и приспособляемость капитализма не дают ему, правда, возможности расти и существовать беспредельно и бесконечно, но они являются причиной того, что даже перемещение соотношения сил классов, могущее привести к политической и социальной катастрофе, не должно иметь последствием также и экономическую катастрофу, и что переход от капитализма к социализму может совершиться без экономического «краха» (Национ. гос. и т. д., Москва, 1917 г., стр. 122). См. так же N. Z., 33—1, стр. 679 и 682—«Zur Frage der Steuern u. Monopole»).

А в 1918 г. Каутский уже прямо проповедует кампанию за «введение социалистических учреждений» (S.-d. Bemerkung. etc., 14).

[2]) «Политическая победа социал-демократии», как это называется в одной статье Каутского в 1915 г.

Так завершается развитие. История учит, что реакционная критика всегда оказывается бессильной. Она блещет заманчивой непримиримостью на заре новых отношений, пока эти последние еще не оформились. Но с годами новые явления крепнут. Скептик принужден покинуть гордые высоты непризнания осужденных им отношений. Жизнь оказывается несравненно богаче и оптимистичнее, чем ожидал скептик. Ему кажется, что он спасет свою схему в целом, если он чуть-чуть подправит ее в частях. Так, быть может, незаметно для него, былая принципиальная чистота затуманивается налегом «дополнений», оговорочек, толкований. В конце концов, от непримиримой теории остается лишь словесный костюм. Но, боже правый, разве стоит спорить о словах?

Так было всегда. Вспомним скептиков капиталистического развития—Сисмонди, русских народников. Только классик отличается от модерниста теоретической честностью, которой у последнего нет. Оттого классик входит в историю человечества большой, трагической фигурой. Народники же, теоретики «искусственности» русского капитализма, и Каутский, теоретик «искусственности» империализма, дают картину самодовольного, подчас и лицемерного, словесного брюзжания при мелком вилянии в теории и в действиях.

Диалектика, которую кропотливый метафизик Каутский изгнал из теории империализма, зло перехитрила его. Она бросила Каутского в один мешок с правыми, в борьбе с которыми он приобретал свои представления об империализме. Мещанский критик подал руку империалистическому апологету. В этом слиянии бывших врагов, основные причины и главнейшие пути которого мы рассмотрели, не последнюю роль сыграла и совместная борьба тех и других против критики империализма со стороны левых. Но каковы бы ни были слабые стороны левой критики (пусть их было изрядно), эти недостатки левых были в то время неизбежным продолжением их достоинств. В их критике империализма был смелый взгляд вперед, была решимость на большие действия, и—что самое ценное—было правильное понимание коренных задач эпохи. Во всяком случае, детской болезни левизны пролетариата, пробуждающегося к сознанию своей исторической задачи, Каутский мог противопоставить лишь старческую дряблость и трусость мещанства, прячущегося под уютным крылышком надежд на исправление заблудшего капитализма. «О, чудные надежды на безнадежности ты оснуешь!»... Но, право же, эти слова шекспировского Антонио («Буря») звучат слишком значительно для комнатных мечтаний филистера.

Очерченный нами путь каутскианства завершается в 1918 г. Наступившая революция возбуждает лишь «революционное» красноречие Каутского, но не пробуждает его былой революционности. Но и это на миг. Откатывается революционная волна, и Каутский забывает даже «красные» фразы. Словом и делом он вновь с оппортунизмом, который в конце 1920 года возвращает в свое лоно по недоразумению отколовшихся в 1916 г. «центристов». Отныне Каутский — официальный теоретик «рабочего» национал-либерализма. Каутскианство, как самостоятельная концепция, умерло. Если Каутскому еще приходится выступать об империализме, то это лишь о «красном империализме» первой пролетарской революции. Но это уже лежит за пределами нашей темы.

Организационные принципы II Интернационала.

Г. Зайдель.

I. Первый Интернационал и организационные заветы Маркса.

В известном своем письме к Ф. Больте от 23 ноября 1871 г. Маркс, как бы подводя итоги деятельности Первого Интернационала, писал: «Интернационал был учрежден для того, чтобы заменить социалистические и полусоциалистические секты действительной организацией рабочего класса для его борьбы. Его первоначальные уставы и его первый Учредительный Адрес сразу же указывают на это»... Отметив далее, что «секты имеют свое (историческое) право на существование лишь до тех пор, пока рабочий класс не созрел для самостоятельного исторического движения», с наступлением же этого момента сектантство, в сущности, становится реакционным,—Маркс так характеризует деятельность Генерального Совета: «История Интернационала—это беспрерывная борьба Генерального Совета с дилетантскими опытами и сектами, стремившимися занять в рядах самого Интернационала позицию против истинного рабочего движения» [1]).

Секты, с которыми боролся Маркс в I Интернационале,—это прудонисты, затем лассальянцы и, наконец, анархисты во главе с Бакуниным, исторический спор с которым, в первую очередь по вопросам организационным, и послужил непосредственной причины раскола и смерти Первого Интернационала. Автономизм и вытекающий отсюда федерализм и требование децентрализации являются организационными принципами всех мелкобуржуазных партий, начиная от прудонистов и анархистов и кончая международным меньшевизмом (мы это покажем, в дальнейшем, на практике руководящего большинства II Интернационала). Жесткий централизм, сбивающийся на мелкобуржуазный, чистый якобинизм, кладущий в основание преувеличенную роль сильной индивидуальности—является характерным принципом лассальянства, с его наделением исключительных прав председателю партий и отрывом вследствие этого от широких рабочих масс [2]). Наконец, демократический централизм является руководящим принципом действительно пролетарских партий, ныне Коммунистического Интер-

---

[1]) Цитировано по русскому переводу В. Адоратского, К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, Москва 1922 г.

[2]) «Лассальянская организация, — писал Маркс в выше цитированном письме,— есть просто сектантская организация и... в качестве таковой она просто враждебна организации действительно рабочего движения, создать которую стремится Интернационал».

национала, основанного Лениным,—принципом, который Маркс и проводил в жизнь в Первом Интернационале.

Программы сект, с которыми приходилось бороться Марксу в Первом Интернационале, вполне соответствовали мелкобуржуазным организационным принципам, выдвигавшимся этими сектами. Яснее всего это видно на программе бакунистов. В самом деле, бакунисты отрицали необходимость политической борьбы, считали главным врагом государственную организацию вообще и высказывались против организации пролетариата в переходный период от капитализма к социализму (диктатура пролетариата), подчеркивали прежде всего свою «антиавторитарность». На Бернском Конгрессе «Лиги Мира и Свободы» в 1868 году Бакунин выступил с раз'яснением различия между коммунизмом и коллективизмом. «Я ненавижу коммунизм,—говорил он,—потому, что он—отрицание свободы, а я не могу себе представить ничего человеческого без свободы. Я не коммунист, потому что коммунизм концентрирует все силы общества в государстве, которое он поглощает, потому что он неизбежно приводит к централизации собственности в руках государства, тогда как я желаю упразднения государства, радикального искоренения принципа авторитета и государственной опеки, который под предлогом цивилизации и усовершенствования людей по сие время порабощал их, угнетал, эксплоатировал и деморализовал» [1]). Выдвигая в качестве положительной задачи «организацию общества и коллективной или социальной собственности снизу вверх посредством свободной ассоциации», он противопоставлял ее коммунистическому идеалу организации общества «сверху вниз при содействии власти». Он требовал уничтожения «индивидуально-наследственной собственности, являющейся лишь государственным институтом, лишь следствием самого принципа государства». Маркс характеризовал программу Бакунина как «понадерганную повсюду мешанину» [2]), а вслед за ним Энгельс в письме к Куно (1872 г.) писал о Бакунине, что у него «своеобразная теория, смесь из прудонизма и коммунизма». Основоположники революционного марксизма подчеркивали идеалистические представления Бакунина о государстве, которое будто бы «создало капитал». Не кто иной, как Энгельс, отметил непосредственную связь между программной «мешанины» Бакунина и выдвинутыми им организационными принципами: «Так как, согласно Бакунину, Интернационал должен быть создан не для политической борьбы, а для того, чтобы он был в состоянии при социальной ликвидации тотчас же заступить место старой государственной власти, то он (Интернационал) должен насколько возможно более приблизиться к бакунинскому идеалу будущего общества. В этом обществе, прежде всего, не существует никакой власти, потому что власть, государство—безусловно от дьявола. (Каким образом эти

[1]) Цитировано по статье Плеханова «Анархизм и социализм»—Соч., т. IV, изд. Госиздата.

[2]) «Его программа, — писал Маркс, — эта понадерганная повсюду мешанина — членам Интернационала диктует равенство классов, отмену наследственного права, как исходный пункт социального движения (сен-симонистские бредни); атеизм, как догма, а главной догмой выставляется воздержание от участия в политике (по Прудону). См. «Письма» М. и Э., перев. Адоратского, изд. «Моск. Рабочий».

господа собираются пустить в ход фабрики, железные дороги, управлять кораблем и т. д. без воли, решающей в последнем счете, без об'единенного руководства, этого они нам, конечно, не говорят.) Прекращается также и существование власти большинства над меньшинством. Всякий отдельный человек, всякая община автономны. Но каким образом общество, хотя бы из двух человек, возможно без того, чтобы каждый человек хотя бы от небольшой части своей автономии отказался, об этом Бакунин точно так же молчит. Так вот и Интернационал,—продолжает Энгельс,—должен быть устроен по этому образцу. Каждая секция автономна и в каждой секции каждый отдельный человек тоже автономен. К чорту базельские постановления, передающие Генеральному Совету губительную и его самого деморализующую власть. Даже если эта власть передана добровольно, она должна прекратиться именно потому, что она власть. Таковы основные пункты всего надувательства (des Schwindels) [1]).

В уставе Юрской Федерации, основанной в противовес марксистам, мы читаем следующее [2]): «Федеральное единство имеет своего представителя в лице Федерального Комитета, состоящего из пяти членов, которому вверяется управление федеральными делами, под контролем секций. Федеральный Комитет не облечен никакой властью. Он является лишь простым исполнительным бюро для справок, переписки и статистики. Ежегодно Федеральный Конгресс назначает город и местопребывание Федерального Комитета. Так, власть руководящего центра сводится бакунистами к нулю. Одновременно отдельным секциям предоставляется полная свобода действий. В статье 4 того же «Устава Юрской Федерации» мы читаем: «Секции, входя в Федерацию, сохраняют свою полную автономию и на них не возлагается никаких обязательств, кроме исполнения настоящего устава». Но не только руководящий центр, в лице Федерального Совета, сведен на-нет, даже верховный орган Федерации, Конгресс, по сути говоря, лишен всякого значения. «Конгресс не имеет права вмешиваться во внутренние дела секций», гласит статья восьмая устава. Вся деятельность Юрской Федерации и затем анархистского Интернационала свидетельствует о полном единстве организационных и программных принципов бакунизма: отрицанию государства, вообще, соответствует отрицание власти какого бы то ни было центра в организации пролетариата; строительству «свободных ассоциаций снизу вверх»—полная, неограниченная автономия отдельных секций в Интернационале; принципу «абсолютно-свободной личности»—принцип отрицания каких-нибудь коллективных обязательств за группами этих лиц, составляющими секцию.

Но и программно и организационно бакунизм представляет идеологическое отражение социального бытия тех общественных групп, которые разорялись под влиянием бурно развивающегося капитализма и не вошли еще в поры капитализма, не влились окончательно в пролетариат: таковы разоряющиеся ремесленники Швейцарии и Франции, крестьяне-люмпены Италии и России.

[1]) См. письма Энгельса к Куно от 24 янв. 1872 г.—«Письма» М. и Э., изд. «Моск. Раб.», 1922 г.

[2]) Цит. у Дж. Гильома: Интернационал, русский перевод, т. II, стр. 252—253.

В глазах этих отрывающихся и оторванных уже от производства, групп, не привыкших к коллективному сожительству под сводом капиталистической фабрики, мечтающих об автономии своего маленького хозяйства, об относительной свободе своего «я»—всякое государство, с его налогами и законами, всякая организация с ее стремлением ограничить автономию личности во имя общих усилий коллектива—должны были казаться неприемлемыми и чудовищными. Бакунин, отражавший эту идеологию, и представлял собою в кадрах «нового»—пролетарской организации, каким стремился стать Первый Интернационал под руководством Маркса—то «отживающее», о котором писал Маркс [1]) и «которое стремится обновиться и удержать свою позицию во вновь нарождающихся формах».

Целью Маркса было создание единой международной, пролетарской партии с единой программой и волей к действию. Исследователи деятельности Маркса в Первом Интернационале останавливались на вопросе о том, как Маркс, несмотря на противоположные тенденции отдельных национальных групп, носителей «сектантских» остатков в собственной стране, уже в первоначальном наброске устава сумел начертать основные пункты пролетарской тактики, сделав мелкобуржуазным предрассудком ничего не значащие словесные уступки о «праве, справедливости и нравственности» [2]). В дальнейшем, по мере роста движения, Маркс провел ряд организационных поправок, которые полностью характеризуются большевистской формулой: демократический централизм. Уже на Женевском конгрессе был уточнен вопрос о том, кто может быть членом МТР. Было отвергнуто предложение прудонистов, которые пытались узко толковать понятие «рабочий», как человека, занимающегося только физическим трудом; полностью прошла точка зрения Ген. Совета, разработанная Марксом, о профессиональных союзах, как основной ячейке классовой организации пролетариата; на Лозаннском конгрессе победа марксистов заключалась в уточнении вопроса о политической борьбе рабочего класса; на Брюссельском конгрессе прудонисты должны были сдать свои позиции в вопросе о стачках и о коллективной собственности. То был расцвет Первого Интернационала и его огромного влияния на международный пролетариат. На Базельском конгрессе было принято постановление о расширении прав Генерального Совета [3]). Правда, бакунисты перешли в наступление, и им удалось провести свою резолюцию о праве наследования. На том же конгрессе, по инициативе Маркса, было принято постановление об

[1]) См. цит. письмо его к Больте от 23 ноября 1876 г.

[2]) См. Д. Рязанов, Маркс и Энгельс, изд. «Моск. Раб.», 1923 г., стр. 185—227, где дан превосходный анализ деятельности Маркса в Первом Интернационале и отмечены этапы развития программы и устава Межд. Тов. Рабочих. Несмотря на отсутствие в этой главе (как, впрочем, и во всей книге) «ученого аппарата», она разработана на основании многочисленных, малоизвестных документов и представляет собой единственную в своем роде научную попытку в популярной форме дать понимание тактики Маркса в Первом Интернационале.

[3]) Характерно, что предложение о расширении прав Генер. Совета исходило от Бакунина. Впоследствии Бакунин заявлял, что он совершил «большую ошибку» на Базельском конгрессе. См. его письмо «Интернационалистам Романьи», напечатанное в «Каторге и Ссылке» (Июль 1926 г.) В. Полонским.

отмене должности президента Межд. Тов. Рабочих [1]). На Лондонской конференции (17—23 сент. 1871 г.) было принято постановление об единообразном наименовании национальных секций и вновь подтверждалась необходимость политической борьбы, которая неразрывно связана с борьбой экономической. Наконец, на Гаагском конгрессе маленькое добавление, гласящее, что «завоевание политической власти составляет великую обязанность пролетариата», окончательно уточняло вопрос о политической борьбе пролетариата. А исключение из Интернационала Бакунина и Гильома за раскольническую деятельность означало полное отмежевание не только идеологическое, но и организационное от анархизма.

Если резюмировать основные, организационные принципы, проводимые Марксом в Первом Интернационале, то они сведутся к следующему: единое международное об'единение на основе единых национальных секций в каждой стране («члены М. Т-ва Рабочих всеми силами должны стремиться, каждый в своей стране,—к об'единению существующих в ней рабочих обществ в один национальный союз с центральным органом управления»), равноправие всех членов Интернационала («Каждый член Межд. Т-ва Раб. имеет право избирать и быть избираемым. Каждый делегат пользуется правом одного голоса, безразлично, представляет ли он одну или несколько секций»); верховным органом Межд. Товарищества является конгресс, который состоит из демократически избранных делегатов нац. секциями; в промежуток между конгрессом руководство принадлежит Ген. Совету, избираемому конгрессом, который пользуется следующими правами: «принять секцию в среду Интернационала или отказать в приеме впредь до ближайшего общего конгресса, закрыть или распустить старые секции. В случае конфликтов между отдельными секциями какой-либо страны Ген. Совет назначается третейским судьей впредь до ближайшего конгресса, который один только и может вынести окончательное решение» (постановление Базельского конгресса). В совокупности указанные принципы и образуют собой основы демократического централизма, который проводится ныне Коммунистическим Интернационалом.

Надо принять во внимание, что социально-экономическая обстановка, в которой организовывался и действовал Первый Интернационал, была чрезвычайно своеобразной. «Интернационал,—писал Энгельс Зорге в сентябре 1874 г.,—принадлежал к периоду Второй Империи, когда царившие во всей Европе преследования пробуждавшегося рабочего движения диктовали солидарность пролетариата и его невмешательство во внутреннюю политику». Ряд стран, как «Германия, Испания, Италия и Дания, только что вступили в движение или же еще только вступали». Наконец, «теоретический характер движения оставался во всей Европе, т.-е. в массах, далеко еще не понятым... Немецкий коммунизм,—пишет далее Энгельс,—еще не вылился в форму рабочего

[1]) Д. Рязанов видит в этом предложении, совершенно справедливо, расправу Маркса с «лассальянством». «Одно из существенных изменений, которое было внесено—это отмена, по инициативе Маркса, должности президента центрального, или, как его после называли, Генерального Совета. Опыт Всеобщего Германского Рабочего Союза, основанного Лассалем, показал, к каким неудобствам ведет это совершенно ненужное учреждение» (Д. Рязанов, Маркс и Энгельс, изд. «Моск. Раб.» 1923 г., стр. 195).

движения»... Под «немецким коммунизмом» Энгельс понимает марксизм, овладевший массами и в эпоху Второго Интернационала как бы осуществленный в массовом движении немецкой социал-демократии. Отмечая далее, что прудонизм был недостаточно силен, «чтобы выезжать на своем специальном коньке», бакунинская «белиберда» еще не оформилась, а английские тред-юнионы тоже не понимали смысла движения,—Энгельс приходит к выводу, что «первый же крупный успех должен был разрушить это несовместимое сотрудничество различных фракций» [1]). Этим успехом и была Коммуна 1871 г., которую Энгельс называет «невольным духовным детищем Интернационала». Но сама Коммуна показала слабость рабочего движения, отсутствие единой политической партии у пролетариата, сектантство фракций, претендовавших на руководство рабочим классом, раздробленность пролетариата, коренящуюся в условиях производства Европы 60,—70-х г.г. Крупная промышленность только лишь воспользовалась плодами революции 48-го года, в пролетариат только лишь втягивались отсталые массы из ремесленников и крестьян, в большей части Восточной Европы остатки феодализма были еще достаточно сильны.

В этой обстановке Маркс пытался проводить свои организационные принципы: при помощи методов демократического централизма связать воедино раздробленные рабочие массы, способствовать об'единению отдельных групп в каждой стране в одну национальную организацию, а затем в международную партию рабочего класса. Это оказалось об'ективно невозможным. После Гаагского конгресса Маркс и Энгельс сознавали, что «Интернационал,—по выражению Энгельса,—пережил самого себя». Но они прекрасно понимали также всемирно-историческое значение тех методов, которые проводились Марксом в Первом Интернационале.

Энгельс выражал надежду, что «следующий Интернационал будет—после того, как учение Маркса в течение нескольких лет будет все более и более усваиваться—чисто-коммунистическим». Увы, следующий, Второй Интернационал оказался только социал-демократическим. Лишь теперь, после уроков кровавой империалистической войны и измен социалистических партий, мы имеем в лице Коммунистического Интернационала преемника заветов Маркса. Пророчество Энгельса сбылось, но он ошибся в сроке. Второй Интернационал, в лице победившего в нем руководящего большинства, как мы увидим, об этих заветах забыл.

II. Несколько замечаний Ленина об эпохе II Интернационала.

Каутскому принадлежит фраза, которая стала исторической не только в том смысле, что она характеризует военную эпоху распада Второго Интернационала, но и потому, что она является наиболее ярким проявлением трусливого фатализма и прогнившего догматизма всех фальсификаторов марксизма. Эта фраза: «Интернационал—орудие мира». Даже послевоенный Второй Интернационал принужден был открещиваться от этой гнилой формулы. Статья четвертая устава, принятого Гамбургским конгрессом в 1923 г. и пересмотренного Марсельским конгрессом в 1925 г., гласит: «Социалистический Рабочий Интернационал есть не только орудие мирного времени, но также безусловно необходимое орудие во время войны. В национальных конфликтах С. Р. И. должен быть признан всеми примыкающими к нему партиями самой высшей инстанцией» [1]).

С Каутским, вообще, приключилась злая шутка: общепризнанный теоретик марксизма в довоенную эпоху, он стал наименее авторитетной фигурой после войны. Критика Ленина основательно его дискредитировала даже в глазах противников коммунизма. Для рабочих масс Каутский—олицетворение филистерства и трусости. И как-то странным кажется для нас, что было время, когда Каутского признавал сам Ленин ортодоксальным марксистом, что каждое слово, произнесенное Каутским в пользу большевизма, ценилось Лениным на вес золота.

Но это кажется странным только потому, что нам трудно вернуться назад, от советов и революций к мирной эпохе, в которую развивался Второй Интернационал, когда завоевание нескольких депутатских мест в парламенте или муниципалитете социалистами казалось чуть ли не началом социальной революции. Филистерскую фразу Каутского надо немного перефразировать: Второй Интернационал был не орудием, а детищем мирной эпохи. Он должен был стать инструментом революции, но, увы, сделался инструментом измены и контрреволюции.

Характеризуя период, в который складывались основные партии Второго Интернационала, Ленин писал, что он отличается «мирным характером, отсутствием революций: Запад с буржуазными революциями покончил, Восток еще до них не дорос [2]). Запад,—продолжает Ленин,—вступает в полосу «мирной» подготовки к эпохе будущих преобразований. Везде складываются пролетарские по своей основе социалистические партии, которые учатся использовать буржуазный парламентаризм, создавать свою ежедневную прессу, свои просветительные учреждения, свои профессиональные союзы, свои кооперативы. Учение Маркса одерживает полную победу и—идет вширь. Медленно, но неуклонно идет вперед процесс подбирания и собирания сил пролетариата, подготовка его к грядущим битвам»...

Дав эту характеристику исторической роли Второго Интернационала, заключавшегося в росте марксизма вширь и в собирании сил пролетариата, Ленин добавляет, что «диалектика истории» заставляет врагов пролетариата «переодеваться марксистами». Внутренно сгнивший либерализм пробует оживить себя в виде социалистического оппортунизма» [3]).

Таким образом для Ленина ревизионизм является не чем иным, как переодетым в марксистские одежды либерализмом. Рассматривая «разногласия», замечавшиеся до войны в рядах Второго Интернационала, Ленин дает кристаллически чистый и ясный анализ причин уклонений от марксизма. Он указывает, что эти причины не случайные, что они коренные,

[1]) «Письма» М. и Э., под ред. Адоратского, стр. 213—214.

[1]) Deuxième Congrès de l'I. O. Soc. à Marseille, Bruxelles 1925. См. Statuts de l'I. O. S.

[2]) В. Ленин, Собр. Соч., т. XII, ч. 2, стр. 44, статья «Исторические судьбы учения К. Маркса».

[3]) В. Ленин. Ibidem. Курсив везде Ленина.

«лежащие в экономическом строе и характере всех капиталистических стран» [1]). Эти причины: неравномерность развития капитализма «в разных странах и разных областях народного хозяйства»; «диалектический характер общественного развития, идущего в противоречиях и путем противоречий»; «самый факт роста рабочего движения»; «изменения в тактике правящих классов, вообще, буржуазии в особенности»; «переходы отдельных лиц, групп и слоев от мелкой буржуазии к пролетариату», которые «не могут не порождать, с своей стороны, колебаний в тактике этого последнего».

То обстоятельство, что развитие капитализма в Европе и Америке было неравномерным, приводило и приводит к следующему: в разных странах наиболее подготовленными к восприятию марксизма являются рабочие крупной промышленности, «отсталые и отстающие в своем развитии экономические отношения» порождают также и идеологическую отсталость и незрелость рабочего движения: стоит только вспомнить «гедистский» север Франции, где была развита крупная промышленность и реформистский Париж, где остатки производства предметов роскоши были чрезвычайно сильны; либо металлургические районы Германии, которые давали лево-радикальные элементы германской с.-д., и крестьянскую Баварию, где особенно пышно расцвел практический оппортунизм Фольмаров и К°.

Диалектический характер самого общественного развития, то обстоятельство, что «капитализм прогрессивен, ибо он уничтожает старые способы производства и развивает производительные силы, и в то же время на известной ступени развития он задерживает рост производительности сил»—это не могло не вызывать выдвигания той или другой черты капиталистического развития в «одностороннюю теорию». Ревизионисты выдвигали «прогрессивную» роль капитализма, анархисты — его реакционность.

Самый рост рабочего движения, привлечение в его ряды новых и новых «рекрутов» не могли не сопровождаться шатаниями и колебаниями. Ведь на «обучение» этих «рекрутов» необходимо затратить достаточно сил и внимания, ведь они несут с собой свою старую идеологию, привычки, быт и, следовательно, «повторение старых ошибок», «временный возврат к устарелым взглядам, устарелым приемам» и т. д. Наконец, тактика самой буржуазии—ее «уступки» рабочему классу—и близость рабочего класса к мелкобуржуазным попутчикам—не могли не влиять и на тактику самого рабочего класса и на его идеологию.

А так как «мирная» эпоха, в которую развивался Второй Интернационал, была периодом роста сверхприбылей империалистической буржуазии, шумных избирательных успехов рабочего класса, улучшения положения наилучше оплачиваемых пролетариев, вызывавших создание и упрочение кадра рабочей бюрократии,—то все это не могло не питать «реформистской односторонности». Даже анархо-синдикализм, с шумом вступивший на авансцену, как символ протеста против увлечения избирательными и демократическими иллюзиями, сам заразился этой реформистской «односторонностью» и сделался вторым изданием ревизионизма.

[1]) В. Ленин. Собр. Соч., т. XI, ч. II, стр. 134. Статья «Разногласия в европейском рабочем движении».

То обстоятельство, что ленинизм выковывался в эту эпоху и устоял, несмотря на яростные атаки русского меньшевизма, от ударов ревизионизма, об'ясняются, в свою очередь, особыми экономическими путями развития России.

Таким образом, научное об'яснение истории развития Второго Интернационала можно получить, анализируя экономическую сущность «мирной» довоенной эпохи. Она закономерно выдвинула разные «уклонения» от марксизма, разные «односторонние теории», она питала «мирные» иллюзии реформизма и дала ему временную победу в рабочем движении. Она же выдвинула особые организационные методы, которые использовал Второй Интернационал.

Об'ективно в обстановке II Интернационала были заложены также огромные революционные возможности: усилившиеся противоречия империализма, чудовищный рост милитаризма, вздорожание жизни, рост бюрократического государственного аппарата, наконец «загнивание» капитализма и все явления, сопутствующие «новейшему этапу капитализма»,—все это не могло не служить прекрасной почвой для расцвета революционных настроений в массах пролетариата. Но именно поэтому «суб'ективный фактор»—программа, практика и организационные методы рабочих партий и международной организации рабочего класса, Интернационала, играли особую роль. От этого «суб'ективного фактора», в большей степени, зависел даже перевес оппортунистической или революционной тенденции развития международного рабочего движения. Рассмотрение организационных принципов Второго Интернационала поможет нам понять одну из важнейших причин, способствовавших временной победе оппортунизма в рядах пролетариата. Эти организационные принципы в корне отличаются от принципов, проводимых Марксом в Первом Интернационале: они (эти методы), выражаясь словами Ленина, являются либеральными методами, переодетыми в марксистские одежды. Странная ирония истории: эти методы больше напоминают бакунистские, чем марксистские. Ибо поскольку анархизм есть доведенный до логического конца буржуазный либерализм, постольку реформистский «марксизм» ему подражает. Крайности сходятся, особенно, если эти крайности кажущиеся.

Три момента являются наиболее характерными для суждения об организационных принципах Второго Интернационала: 1) вопрос о составе Интернационала; 2) международная организация и дисциплина; 3) вопрос о единой партии в каждой стране. Остановимся на каждом из этих моментов.

3. Вопрос о составе II Интернационала.

В промежуток времени между роспуском Первого и организацией Второго Интернационалов во всех важнейших странах мира организовались рабочие партии. Однако, за исключением Германии, где с.-д. партия к тому времени была уже единой и, несмотря на то, что она переживала полосу преследований и подполья («исключительные законы» против социалистов), была самой сильной пролетарской партией, а также Австрии, Бельгии и Скандинавских стран, во всех остальных странах мира рабочие партии были еще раздроблены и представляли собой не определившиеся еще, а только лишь складывающиеся организации.

Во Франции существовали разные социалистические группы, враждовавшие между собою; в Англии главной силой были тред-юнионы, которые не вели самостоятельной пролетарской политики и вожди которой шли на поводу либеральной, а иногда и консервативной партии (с.-д. элементы начали только оформляться в Англии, а независимая соц. партия была лишь на пути к организации); в Испании, Италии и других странах Западной Европы (отчасти, впрочем, также во Франции и даже в Англии) рабочее движение находилось в руках анархистов; в России же пролетарской партии еще не было; первые с.-д. группы только лишь появились.

За исключением германской с.-д. и французских социалистов, частью которых руководили Гед и Лафарг, во всех остальных рабочих организациях остатки старых сектантских заблуждений были еще достаточно сильны. По существу, Второй Интернационал, при самом своем зарождении, встретился с теми же противниками, с какими боролся Маркс: с бакунизмом (анархисты), прудонизмом (французские поссибилисты, аллеманисты, синдикалисты и пр.) и лассальянством (в Германии). Перед новым Интернационалом стояла задача установления единого фронта революционных рабочих Европы, задача, которая была блестяще разрешена Марксом в его Учредительном адресе и затем уставе. Вопрос шел о том, чтобы, воспользовавшись опытом Маркса в Первом Интернационале, выработать такие условия программы и тактики, которые позволили бы об'единить подлинно пролетарские массы вокруг знамени Интернационала и в то же время отбросить все сектантское, все остатки старого анархо-прудонистско-лассальянского хлама, которое тормозило рабочее движение. Предстояла борьба направо и налево—со всеми уклонистами от правильной пролетарской идеологии и тактики—отсечение путаников-вождей при одновременном сохранении идущих за ними масс.

Именно так поступал Маркс, когда вырабатывал приемлемые для противоречивых тенденций адрес и устав, делая словесные уступки, но сохраняя чистоту программы, принимая в свои ряды и прудонистов и анархистов и терпеливо отвоевывая у тех и других позиции за позицией. Напомним, что исключение анархистов из Интернационала состоялось тогда, когда своим раскольническим поведением Бакунин и Гильом сами поставили себя вне его рядов. Напомним, что при жизни Лассаля Маркс не выступал публично с критикой его взглядов и деятельности, ожидая терпеливо результатов его работы, которая, несмотря на ошибки, имела гигантское историческое значение. Напомним, как терпеливо впоследствии Маркс раз'яснял «бесславному» (berüchtigen) Швейцеру сектантство его организационных принципов. Но эта терпимость там, где дело касалось организации масс, не помешала Марксу в решительный момент выступить с предостерегающими указаниями германской с.-д. по поводу ее капитуляции перед лассальянством.

С первых же моментов своей деятельности Второй Интернационал обнаружил всю незрелость своей тактики. Первые конгрессы его (вплоть до Лондонского) занимались вопросом о «допущении анархистов». То обстоятельство, что этот вопрос так долго занимал Второй Интернационал, имеет, с нашей точки

зрения, две причины: первая—продолжение традиции Первого Интернационала, исключившего из своей среды анархистов, и вторая—наиболее важная—необходимость считаться с предрассудками английских тред-юнионов, которые упорно шли на поводу у буржуазных партий, придерживались лозунга о невмешательстве государства во взаимоотношения между трудом и капиталом (хотя сами это вмешательство использовали), и вопроса о завоевании пролетариатом политической власти даже не ставили. Боязнь оттолкнуть от себя англичан в первую очередь диктовала Второму Интернационалу осторожность в вопросе о формулировке своих задач. Ибо, если проследить, как реагировали первые конгрессы на попытки анархистов участвовать в работе конгрессов, то мы увидим, что это реагирование было с первых же шагов бурно отрицательным. Уже на Парижском конгрессе (1889 г.) произошло несколько инцидентов с испанскими и итальянскими анархистами. На Брюссельском конгрессе (1891 г.) мандаты анархистов были аннулированы и анархистские делегаты, представлявшие Испанию и Италию, не были допущены на конгресс. Тем не менее по вопросу о «допущении» конгресс принимает весьма неопределенную резолюцию, которая гласила, что на конгрессы допускаются «ассоциации, признающие два принципа: государственного вмешательства и организации»[1]). Тот же конгресс по вопросу «О законодательной охране труда» принял резолюцию, за которую голосовали и английские тред-юнионы, начало коей гласило, что конгресс стоит «на точке зрения борьбы классов» и убежден в том, «что об освобождении рабочих не может быть и речи до тех пор, пока существует господство одного класса над другим»[2]). После этой резолюции, конгрессу легко было выдвинуть принципом допущения «государственное вмешательство и организацию», но всего этого было недостаточно для полного отмежевания от анархистов.

На Цюрихском конгрессе (1893 г.) по вопросу о допущении анархистов возникли бурные прения. Допущения на конгресс добивалась группа т. н. «молодых социалистов», которые после эрфуртского партейтага (1891 г.) германской с.-д. были исключены из партии, образовали группу «независимых», настроенных антипарламентски и разделявших, вообще, анархо-синдикалистские взгляды. «Независимые» энергично защищали свое право хождения в Интернационал, заявляя, что и анархисты признают политическую борьбу, устраивая покушения, при чем ссылались на убийство русскими «анархистами» Александра II. Дебаты продолжались больше двух дней, и возмущенный Бебель воскликнул в своей речи: «Зачем мы потеряли три дня для болтовни с людьми, которых нужно было к концу третьего дня выгнать вон?». Формулировка резолюции, принятой Цюрихским конгрессом, немного уточняет прежнюю редакцию, но, в общем, является все еще недостаточно определенной. Два «принципа допущения» были формулированы теперь следующим образом: признание «необходимости рабочей организации и политических действий». Конгресс присоединился, в общем, к пониманию Бебе-

[1]) См. «Verhandlungen und Beschlüsse des internationalen Arbeiterkongresses zu Brüssel», по которому и цитируются приводимые резолюции.

[2]) Плеханов считал это голосование англичан за цитируемую резолюцию «огромным шагом вперед». См. Плеханов, Соч., т. IV: «Рабочее движение в 1891 г.», стр. 42.

лем «политических действий», как «использование политических прав и законодательной машины в интересах дела пролетариата и для завоевания пролетариатом политической власти» [1]).

Но и на Лондонском конгрессе (1896 г.) вопрос о «принципах допущения» выплыл вновь, и дебаты были не менее бурные. Вопрос осложнялся тем, что среди французских делегатов, насчитывавших 113 человек, были представители от аллеманистов, поссибилистов, гедистов, бланкистов и три делегата от независимых социалистов: Жорес, Мильеран и Вивиани. Большинство французской делегации (61 против 48) предложили конгрессу допустить независимых социалистов, хотя и не имеющих мандата от рабочих организаций, в качестве участников конгресса. Выступивший вслед за тем Жорес заявил, что множество анархистов под видом представителей от профессиональных союзов (он намекал на аллеманистов и на синдикалистов типа Фернандо Пелутье), имеющих эфемерное существование, прошли на конгресс, в то время как депутаты «независимых» действительно представляют рабочих. Это заявление Жореса вызвало обструкцию со стороны недопущенных на конгресс анархистов, которые оставались еще в зале. С другой стороны, гедисты, бланкисты и поссибилисты поддерживали Жореса и предлагали не допустить на конгресс представителей французских синдикатов, являвшихся, по их словам, анархистами. Поднялся спор о смысле Цюрихской резолюции [2]). Аллеманисты и синдикалисты заявляли, что признание политической борьбы не относится к профессиональным союзам, а только к политическим партиям. Характерно, что делегаты английских тред-юнионов в вопросе о предоставлении решающего голоса депутатам, французским «независимым», голосовали вместе с аллеманистами. Тем не менее по вопросу о «допущении» была принята резолюция, предложенная В. Либкнехтом, которая, действительно, уточняла вопрос и поручала разослать приглашения на следующий конгресс организациям, стоящим на точке зрения необходимости «обобществления» орудий и средств производства и «рассматривающим законодательную и парламентскую борьбу, как одно из средств для достижения этой цели», и тем профсоюзным (корпоративным) организациям, которые, «хотя и не принимают участия в политической борьбе, но тем не менее признают необходимость законодательной и парламентской борьбы. Вследствие этого анархисты исключены»—так недвусмысленно гласила резолюция.

Лондонский конгресс знаменует собой конец известного этапа в истории Второго Интернационала: можно считать, что он закончил свои организационные искания в области состава Интернационала. Недвусмысленным исключением анархистов Интернационал, следуя заветам Маркса, отмежевывался от мелкобуржуазных дезорганизаторов рабочего движения, не признававших ни дисциплины, ни организации. Но уже на том же Лондонском конгрессе совершенно ясно обозначились два течения, диаметрально противоположные друг другу: реформистское толкование вопроса об избирательной борьбе и революционное, которое, как это ни странно, было яснее всего выражено Аллеманом. Реформистское было представлено «независимыми», особенно Жоресом, который, опираясь на известную программу, принятую 30 мая 1896 г. на знаменитом банкете в Сен-Мандэ и развитую Мильераном, стоял на точке зрения отрицания насильственных методов борьбы и смотрел на мирное завоевание политической власти, как на способ, «необходимый и достаточный» для победы социализма. Замечательно, что Жюль Гед, присутствовавший на этом банкете, не отмежевался от этих реформистских взглядов и пил за об'единение социалистов, «за первое социалистическое единение» [1]).

На самом Лондонском конгрессе Жорес аргументировал необходимость признания политической борьбы профсоюзами, между прочим, и тем обстоятельством, что, в случае, если тот или другой профсоюз отказывается от политической борьбы за социализм, возникает опасность введения на рабочие конгрессы реакционных «желтых» синдикатов. Аллеман же подчеркивал, что «избирательную тактику» надо рассматривать, как средство, а не как цель. К чести Лондонского конгресса надо подчеркнуть, что в резолюции, принятой им, ясно говорится, что он рассматривает и законодательную и парламентскую борьбу, как «одно из средств» для достижения социализма. Однако сам факт поддержки Гедом и Вальяном аргументации Жореса, без попытки критики «независимых» и «программы С.-Мандэ», является весьма показательным. Он давал возможность «анархиствующим» элементам в рабочем движении, типа Аллемана, критиковать действия Интернационала и находить отклик в рабочих массах Франции. «Исключив из конгресса,—писал Аллеман в газете «Parti Ouvrier» 20—21 августа 1896 г.,—делегатов, не признающих политических действий так же, как и антипарламентарных социалистов, изменили также и характер конгресса: последний превратился в простое собрание парламентских социалистов [2]).

Сам Аллеман, как известно, впоследствии скатился в болото оппортунизма, но его критика Лондонского конгресса характерна. Ни на самом Лондонском конгрессе, ни впоследствии—другие конгрессы Интернационала—так же, как и отдельные социалистические партии, не могли нащупать правильной грани между отношением к анархистам, как партии мелкобуржуазных дезорганизаторов, и отношением к массам, следовавшим за ними и заключавшим в себе нередко прекрасный революционный элемент. Стоит вспомнить, например, отношение, хотя бы, гедистов к синдикалистам, непримиримую борьбу не только против заблуждений руководителей синдикатов, но и против ряда здоровых революционных методов, выдвигаемых французскими синдикалистами.

С другой стороны, особенно во вторую половину своей деятельности, когда в большинстве социалистических партий

[1]) См. «Protokollen des Internationalen Socialistischen Arbeiterkongresses in der Tonhalle Zürich».

[2]) Так называемый спор о запятой. Первый абзац Цюрихской резолюции полностью гласил: «На конгресс допускаются все рабочие профессиональные союзы и социалистические партии и организации, к торые признают необходимость рабочих организаций и политической деятельности». По заявлению аллеманистов, перед словами «и социалистические партии и т. д.» стояла запятая; отсюда они делали вывод, что условия допущения поставлены только партиям, а не профсоюзам. (См. «Verhandlungen und Beschlüsse des Internationalen Socialistischen Arbeiter und Gewerkschafts-Kongresses zu London»).

[1]) См. Albert Lory. Les socialistes independantes. Paris 1911, стр. 26.

[2]) См. Maurice, Charnay, «Les Allemanistes», Paris 1912, стр. 85.

победило центристское течение типа Каутского, проводившее политику теоретической, революционной фразы и ревизионистских дел на практике—II Интернационал все более склонялся в сторону разжижения революционно-пролетарской базы Интернационала. Приведем несколько характерных примеров: известно, что до революции 1905 года обе фракции русской с.-д.—меньшевики и большевики—были одинакового мнения о партии российских с.-р., считая ее мелкобуржуазной и не социалистической партией. Каково же было отношение II Интернационала к с.-р.? В начале своей деятельности Международное Соц. Бюро II Интернационала относилось к партии с.-р. отрицательно. Так, на заседании от 20 июня 1903 г. [1]) Рубанович просил от имени с.-р. включить до конгресса (Штутгартского) представителя этой партии в Бюро. Ему было отказано, при чем ссылались на постановление Парижского конгресса (1900 г.) о том, что от каждой страны в Бюро может быть не более двух представителей. После Штутгартского конгресса с.-р., однако, получили доступ в Межд. Бюро; в качестве представителя от них туда вошел Рубанович. На одном из заседаний Бюро, уже после Штутгартского конгресса [2]), разыгрались характерные прения. Бебель выступил с предложением предоставить Бюро свободу решения вопроса о том, «каковы те фракции, которые могут иметь своих делегатов в Бюро». Аксельрод в своем выступлении подчеркнул, что в России положение чрезвычайно своеобразное: там многие отнюдь не социалистические партии называют себя социалистическими. «Поэтому,—заявлял Аксельрод,—если мы дадим представительство каждой группе, называющей себя социалистической, настоящая партия пролетариата, русская с.-д., растворится в общей массе несоциалистов». Нужно помнить, что заседание Бюро происходило 15 января 1905 года, в начале русской революции, когда меньшевики и их вождь, Аксельрод, были, хотя и на правом фланге с.-д., но все же представляли собой тогда часть русского пролетариата. Рубанович усмотрел в заявлении Аксельрода оскорбление с.-р. и выступил с протестом. Инцидент был улажен дипломатическим выступлением Вандервельде и раз'яснением Аксельрода, что он... не думал о присутствующих. Этот характерный инциденг показывает, что большинство М. С. Б. [3]) довольно подозрительно относилось к с.-р. в 1903—5 г.г. А начиная с 1907—8 г.г. партия с.-р. и их представитель Рубанович стали играть в М. С. Б. чуть ли не одну из самых руководящих ролей.

Еще более характерно отношение II Интернационала к ничтожным группкам еврейских буржуазных демократов, навязывавших на себя социалистический ярлычек и претендовавших на место в Интернационале. На Штутгартский конгресс представители одной такой группки, т. н. «социалисты-сионисты» (с.-с.), никогда ничего общего с социализмом не имевшие, получили доступ с правом совещательного голоса, после чего они возымели неопреодолимое желание получить представительство в

[1]) См. «Reunions pleniers du Bureau Social. Internat.». Bruxelles, изд. B. S. I: заседание от 20 июня 1903 г.

[2]) Ibid.-заседание от 15 января 1905 г. вопрос «О представительстве в Бюро».

[3]) Мы будем обозначать слова «Международное Социалистическое Бюро» буквами «М. С. Б.».

М. С. Б. На заседании последнего «социалисты-сионисты», при поддержке с.-р. Рубановича, не без настояния которого их допустили на Штутгартский конгресс, выступили с требованием предоставить им места в Бюро [1]). Докладчик, секретарь М. С. Б. Гюисманс, указал, что трудность вопроса усугубляется тем, что с.-с. заявляют себя последователями с.-д., а русская с.-д. отвергает их домогательства; быть же секцией с.-р. «с.-с.» не хотят, так как, по их словам, они не разделяют идей с.-р. [2]). Адлер внес предложение: «Бюро констатирует, что допущение «с.-с.» с совещательным голосом было разрешено исключительно на заседании Штутгартского конгресса, что с.-с. не входят сейчас в М. С. Б., и переходит к порядку дня». Выступавший Рубанович, видя общее настроение собрания против допущения «с.-с.» в М. С. Б., предложил поправку в конце Адлеровской резолюции: вместо «переходит к порядку дня»,—«и ничего не решает для будущего». Только после настойчивых выступлений представителя «Бунда» и особенно Ленина, который принужден был два раза брать слово, поправка Рубановича была отвергнута и принята была резолюция Адлера. Но если «с.-с.» получили отказ, то другая группка еврейских буржуазных демократов, т. н. «Серп» (Соц. Евр. Раб. Партия), принятая в Штутгарте в качестве подсекции русских с.-р., имела в М. С. Б. своего представителя.

Для характеристики путаницы, существовавшей у руководящего большинства II Интернационала по вопросу о составе Интернационала—большой интерес представляют прения, разыгравшиеся на заседании М. С. Б. по поводу английской рабочей партии. Вопрос заключался в следующем: т. к. тред-юнионы Англии входили в состав II Интернационала со дня основания последнего, то английская Рабочая партия, обнимавшая, по существу, те же тред-юнионы, кроме других рабочих организаций Англии, и не похожая ни по строению своему, ни по неясности своей программы на все прочие социалистические партии Европы, долгое время не считалась официально принятой в Интернационал и не имела своего представителя в Международном Бюро. На Штутгартском конгрессе представители английской Рабочей партии заявили решительный протест против игнорирования ее, и вопрос о представительстве и приеме ее во II Интернационал был передан на решение Бюро. На уже упомянутом заседании М. С. Б. [3]) Гайндман (от С.-Д. Ф. Англии), а за ним Вальян (франц. соц. партия) высказались за сохранение status quo (существующего положения), мотивируя тем, что тред-юнионы входят во II Интернационал, а Рабочая партия представляет их же; да к тому же программа у нее не социалистическая. В. Адлер, а за ним Каутский высказались за вхождение. При чем Каутский мотивировал свое предложение так: «Labour Party не хватает ясной программы. Наши английские товарищи не обладают достаточно чистой идеей о борьбе классов. Между тем, они практически эту борьбу классов проводят. Вот почему я

[1]) См. «Bulletin périodique du Bureau Socialiste Internationale»: заседание М. С. Б. от 11 октября 1908 г.

[2]) См. также статью В. И Ленина (Соч., т. XI, ч. 1, стр. 134): «Заседание Межд. Соц. Бюро», где приводится инцидент с «с.-с.».

[3]) См. «Bulletin Périodique du Bureau Soc. Intern.»: заседание от 11 окт. 1908 г.

думаю, что им место среди нас». Каутский внес следующую резолюцию: «Принимая во внимание предшествующие резолюции международных конгрессов, согласно которым допускаются все организации, стоящие на почве борьбы классов и признающие необходимость политической борьбы, М. С. Б. заявляет, что Великобританская Labour Party допускается на международные социалистические конгрессы, т. к. хотя Рабочая партия и не признает прямо идей пролетарской классовой борьбы, но она, однако, практически эту борьбу ведет и, вследствие своей независимости от буржуазных партийных организаций, становится на почву международного социализма».

По поводу этого предложения выступил В. И. Ленин, который заявил следующее: «Я думаю, что мы можем принять за основу резолюцию Каутского, однако я полагаю, что конец предложенного им текста ведет к недоразумениям (prêt à confusion). Гражданин Гайндман нас убеждал здесь, что Labour Party далека от того, чтобы вести всегда независимую от буржуазного класса политику, и мне кажется, что его слова заслуживают внимания. Поэтому, если фактически мы должны принять Labour Party, т. к. мы уже приняли большинство элементов, ее составляющих, а именно тред-юнионы, то мы должны также уточнить то, что существует, и сказать, что Labour Party знаменует собой первый шаг подлинной организации пролетариата к сознательной политике класса, движением из которого возникнет рабочая социалистическая организация». В. И. Ленин внес следующую поправку: «так как она знаменует первый шаг действительно пролетареких организаций Англии на пути к сознательной классовой политике и созданию рабочей социалистической партии».

Выступление Каутского и поправка, внесенная Лениным, весьма характерны. Каутский считал, что английская Рабочая партия «становится на почву международного социализма». Хотя он и отмечал нечеткость ее программы, но не придавал этому особого значения и проходил мимо этого вопроса. Ленин, вслед за Марксом и Энгельсом, придавал огромное значение тому обстоятельству, что в Англии, где рабочий класс никогда не имел своей массовой политической партии, организовалась Рабочая партия. Но Ленин одновременно с тем подчеркивал, что это еще только первый шаг, что это еще не пролетарская партия, что она должна стать пролетарской партией. Своей, на первый взгляд, незначительной поправкой Ленин как бы предостерегал и от неправильного отождествления партии рабочей по составу с классовой революционной пролетарской партией. Поправка Ленина была отвергнута и принята была резолюция Каутского.

«Каутский,—писал Ленин в № 37 «Пролетария», органе российских большевиков[1]),—несомненно, высказывал некоторое «ожидание», некоторое «суждение» насчет того, какова политика Рабочей партии теперь и какова она должна бы была быть. Но Каутский выразил это косвенно, и притом так, что получилось утверждение, во-первых, неправильное по существу, и, во-вторых, дающее повод к кривотолкованию мысли Каутского. Что «Рабочая партия» в Англии, отделяясь в парламенте (не

[1]) Собр. соч., т. XI, стр. 128.

на выборах! не во всей своей политике! не в своей пропаганде и агитации!) от буржуазных партий, делает первый шаг к социализму и классовой политике пролетарских массовых организаций,—это бесспорно. Это—не «ожидание», а факт, который заставляет нас принять в Интернационал «Рабочую партию», раз мы приняли в нее тред-юнионы. Наконец, именно такая формулировка заставила бы сотни тысяч английских рабочих, безусловно уважающих решения Интернационала, но не ставших еще вполне социалистами, задуматься лишний раз над тем, почему их признают сделавшими только первый шаг и каковы должны быть дальнейшие шаги по этому пути». По принятой же резолюции Каутского «вышло так, будто Интернационал ручается за то, что Рабочая партия на деле ведет последовательную классовую борьбу, будто достаточно организации рабочих отделиться в парламенте в отдельную рабочую группу для того, чтобы стать во всем своем поведении независимой от буржуазии».

Опасения Ленина оказались верными. Английские оппортунисты (немного переврав резолюцию Каутского: вместо «становится на позицию международного социализма» они написали «стала») заявляли, что М. С. Б. уже признало Рабочую партию подлинной классовой партией. Ошибка и влияние Каутского имели огромное международное значение—дальновидность Ленина в вопросе об оценке Рабочей партии Англии прямо-таки изумительна. Та самая англ. Раб. партия, которая была принята во II Интернационал лишь в 1908 г. и до войны не успела еще сыграть особой роли в политике международного рабочего движения,—после войны во II Интернационале, особенно последние годы, играет руководящую роль. Послевоенный II Интернационал, во главе с Каутским, окончательно скатился в оппортунизм, окончательно стерлась грань между, по существу, либеральной рабочей партией Англии и послевоенной с.-д. Не даром Макдональду принадлежит идея создания т. н. «конструктивного социализма», теории завоевания социализма без революции, через полюбовное соглашение с капиталистами. Эта идея «конструктивного социализма» разделяется всеми нынешними вождями II Интернационала, вплоть до Чернова.

Идейная рыхлость Каутского, как и всего руководящего большинства II Интернационала, прекрасно характеризуется описанным голосованием М. С. Б. по поводу принятия в ряды Интернационала англ. Раб. партии. Здесь на-лицо одновременно разжижение и состава Интернационала, и его идеологии, и марксистской сущности.

Наконец, для более полного представления о том, как руководящее большинство II Интернационала регулировало его состав, нельзя забывать, что левые элементы в международном рабочем движении либо игнорировались, либо подавлялись. Несмотря на осуждение ревизионизма Амстердамским конгрессом, ни один волос не пострадал на голове Бернштейна и его многочисленных сторонников. В то время, как в Интернационал охотно пускали реформистские мелкобуржуазные, по существу, партии, по отношению к революционным элементам поступали наоборот, напр., к большевикам, «тесняким», голландской рабочей партии М. Б. было настроено непримиримо.

Ниже мы даем резюме прений на заседании М. С. Б. по вопросу о единстве в РСДРП, из коих видно, что руководящее большинство Интернационала относилось весьма сочувственно к ликвидаторам и не признавало ЦК большевиков. Интересно еще отметить, что немецкий «Форштанд» (Ц. К. немец. соц.-дем.) и, в частности, Бебель, в руках которых находились деньги, принадлежавшие ЦК РСДРП, чинили всяческие препятствия получению большевиками сумм, нужных на партийную работу, и, в большинстве случаев, становились на сторону меньшевиков-ликвидаторов, которые устами Аксельрода претендовали на то, что деньги эти общепартийные и что их следует отдать «настоящим» русским с.-д., т.-е. ликвидаторам.

Болгарских большевиков, «тесняков», организовавшихся почти в то же время, как и русские большевики, Межд. Соц. Бюро также не признавало и стремилось навязать им формальное подчинение внутренней дисциплине, т.-е. признание изменнической политики болгарских меньшевиков, т. н. «широких социалистов».

Всего характернее выявилось подавление революционно-марксистского крыла международной с.-д. в отношении Междун. Соц. Бюро к конфликту в голландской раб. соц.-дем. партии[1]). В рядах последней давно уже велась борьба между левой, во главе с Роланд-Гольст, Паннекуком и Гортером, и правой, во главе с Трульстра и Ван-Колем. Правые, напр., выставляли в качестве одного из важнейших пунктов с.-д. аграрной программы наделение батраков землей, они требовали выдачи субсидий на преподавание религии в школах, они отрекались вместе с Бернштейном от «теории крушения» капитализма и заявляли, что не приемлют «философских взглядов» Маркса, они входили во всяческие соглашения с буржуазными либералами. Левые, несогласные с этой оппортунистической политикой ЦК, организовали свою газету «Трибуна» для защиты ортодоксального марксизма. Тогда правое большинство во главе с Трульстра не остановилось перед исключением левых из партии. Это побудило левых (1908 г.) организоваться в отдельную партию (партия Трульстры называлась «Голландская с.-д. рабочая партия», новая партия приняла название «Голландской с.-д. партии»). Исполнительный Комитет II Интернационала занял сочувственную позицию по отношению к оппортунистам и отказал левым в отдельном представительстве в М. С. Б.

На заседании Межд. Соц. Бюро 7 ноября 1909 года, куда «Голландская с.-д. партия» перенесла вопрос о ее принятии в Интернационал, были предложены две резолюции. Одна—австр. с.-д. Зингером, которая гласила: «Межд. Соц. Бюро постановляет: партия, основанная в Голландии под именем с.-д. партии, должна быть допущена на международные социалистические конгрессы, так как она удовлетворяет условиям, которые поставлены уставом Интернационала. Что касается до участия ее делегатов в Бюро и до числа ее голосов на конгрессе, то вопрос этот подлежит решению Копенгагенского конгресса, если голландские товарищи не придут сами к улажению этого спора». «Из этого текста видно,—писал Ленин в № 10 «Социал-Демократа», органа

[1]) См. «Bulletin Périodique du B. S. I.» № 2: вопрос о голландской раб. соц. партии.

большевиков [1]),—что Зингер не сходил с формальной позиции, предоставляя окончательное решение вопроса голландской секции международного конгресса, но в то же время подчеркивая ясно признание марксистской голландской партии Интернационалом». Прошла, однако, большинством голосов резолюция другого лидера австр. с.-д. В. Адлера: «Просьба С.-Д. П. передается Голландской Секции. Если соглашения внутри этой секции не последует, тогда представляется апелляция в Бюро».

«Формальная позиция,—пишет Ленин в той же статье,—та же, что у Зингера, но из текста ясно, что симпатии этой резолюции на стороне оппортунистов, ибо о признании марксистов членами Интернационала ничего не говорится». То обстоятельство, что принята была резолюция Адлера, вызывает у Ленина саркастическое замечание: «Голосование резолюций сразу показало, что дух той и другой был вполне схвачен членами Бюро. Действительно, голосовало за резолюцию Адлера оппортунистически-центристское большинство Бюро, как, напр., «независимая» Рабочая партия Англии, русские с.-р., П. П. С., голландские оппортунисты, бельгийцы и пр. Приведя отзывы левой германской с.-д. прессы по поводу этого голосования, которая отмечала, что «Адлер выступает как адвокат международного оппортунизма, блещущего всеми красками», Ленин пишет: «К этим справедливым словам мы, русские с.-д., можем только добавить, что наши с.-р., разумеется, поспешили вместе с П. П. С. занять местечко в оппортунистической компании».

Приведенные примеры показывают, что II Интернационал в вопросе регулирования состава Интернационала заботился прежде всего о том, чтоб отсеять революционные элементы, не останавливаясь перед решительными мерами организационного характера.

Если исключения анархистов диктовались здоровыми соображениями и являлись продолжением политики Маркса, то пренебрежительное, враждебное отношение к революционным синдикалистам, недоброжелательное отношение к большевикам, болгарским «теснякам», к голландским революционным марксистам,—наряду с (не только терпимым, но весьма радушным отношением ко всем оппортунистическим партиям,—не могло не способствовать разжижению состава Интернационала, должно было усиливать идеологическое влияние реформистов-соглашателей. Так, к об'ективным экономическим факторам «мирной» эпохи, способствовавшей перерождению Второго Интернационала, прибавлялся немаловажный «суб'ективный» организационный фактор: неправильное регулирование состава Интернационала, усиленная борьба налево, попустительство направо.

4. Международная организация и дисциплина.

Не только в отношении состава, но и методов и форм международной организации II Интернационал пошел назад по сравнению с тем, что было гениально намечено Марксом.

Уже первый Парижский конгресс (1889 г.) постановил «установить постоянную связь между социалистическими организациями разных стран», при чем способы этой организации были

[1]) См. Ленин, Соч., т. XI, стр. 370.

намечены весьма туманно и неуверенно. На Парижском же конгрессе (1900 г.) были уточнены принципы организации «постоянного международного комитета». Роль, отводившаяся последнему, была формулирована так: «Комитет устанавливает порядок предстоящего конгресса и испрашивает доклады уполномоченных каждой из наций, участвующих на конгрессе». Как видим, роль комитета мизерная, чисто канцелярская и ни в какой мере не свидетельствует о том, что этому «международному комитету» придавалось особое значение. В той же резолюции очерчена роль секретариата, тоже чисто канцелярская: «а) доставлять нужные сведения, б) составлять пояснительный сборник постановлений, принятых на предыдущих конгрессах» и пр. пр.); только пункт е звучит серьезнее: «принять необходимые меры для облегчения совместных действий и международной организации пролетариата всех стран». Фактически эти «необходимые меры», принятые секретариатом II Интернационала, свелись к следующему: кроме издательской деятельности, которая тоже не получила особого развития, все остальные организационные мероприятия—международная парламентская комиссия, международная организация соц. журналистов, женский секретариат[1]) и пр. находились лишь в периоде начинаний и особых реальных результатов не дали.

«Международный Комитет», получивший впоследствии название Международного Социалистического Бюро, начал регулярно действовать только лишь после Амстердамского конгресса (1904 г.) и заседал в Брюсселе. Лишь на Штутгартском конгрессе (1907 г.) был принят так называемый «Устав (регламент) Международных Социалистических Конгрессов и Международного Социалистического Бюро»[2]). Согласно этого устава «Международное Социалистическое Бюро», составленное на основе представительства от национальных сек-

[1]) Международная комиссия была организована в 1904 г. Цель ее была, по предложению Эдуарда Вальяна, определена на Лондонском конгрессе (1896 г.) и уточнена на Парижском конгрессе (1900 г.): «облегчить совместные действия по важным международным политическим и экономическим вопросам» Выработанный впоследствии устав, опубликованный накануне Штутгартского конгресса, поручал каждой парламентской фракции доставлять все необходимые документы и держать международную комиссию в курсе работ парламентской фракции и законодательной деятельности в соответствующей стране.

Несколько раз международная комиссия собиралась, но никакой реальной деятельности не проявила.

Организация социалистов-журналистов впервые собралась во время конгресса в Штутгарте в августе 1907 г. Обсуждался вопрос о создании особого социалистического агентства, могущего противодействовать лживой информации буржуазной печати и об обмене соц. газет разных стран сведениями между собой. Агентства, однако, не создали, за неимением средств у бюро, а ограничились принятием предложения об опубликовании в межд. бюллетене имен соц. журналистов каждой страны для всеобщего сведения. Такой список был опубликован в № 1 «Период Бюллетеня» («Bulletin Périodique du B. S. I.»).

Больше никаких реальных шагов организ. соц. журн. не предпринимала.

Женский секретариат—развил бо́льшую деятельность, которая была все же чрезвычайно недостаточна. Некоторый интерес представляют международные женские конференции, заседавшие одновременно с Штутгартским (1907 г.) и Копенгагенским конгрессами (1910 г.).

[2]) См. Le Septième Congrès socialiste international tenu à Stuttgart du 16 à 24 aout 1907, Compte rendu analitique publiée par le Bureau Social. Internat. Bruxelles 1907.

ций на международных конгрессах, продолжает функции последнего». Эта глухая формулировка не давала возможности Междун. Соц. Бюро развернуть настоящей работы по организации международного рабочего движения, направления его в необходимое русло и энергичного вмешательства в дела отдельных секций, в случае уклонения ее от исполнения решений, принятых на конгрессах.

Принцип автономизма, являвшийся основой организационных методов бакунизма, царил и во Втором Интернационале. Деятельность М. С. Б. носила преимущественно осведомительный характер: это было международное корреспондентское бюро, которое, как видно из цитированных нами выше задач, установленных Парижским конгрессом, служило для связи между отдельными партиями, но отнюдь не для руководства. Правда, п. II А Устава (регламента), принятого Штутгартским конгрессом, давал М. С. Б. право окончательно решать вопрос о приеме той или другой партии в Интернационал. Этот пункт гласил: «Партии и организации каждой страны образуют секцию, которая имеет суждение о допущении всех партий и организаций соответственной страны или нации. Партии и организации, не допущенные компетентной секцией, имеют право апеллировать в М. С. Б., решение которого окончательно».

Но на деле этот пункт свелся к тому, что М. С. Б., по преимуществу, регистрировало, ставило штамп на решения сильнейших национальных секций. Характерным примером является история с голландскими революционными с.-д. из группы «Трибуна», когда, несмотря на признание за этой группой марксистского характера, все же окончательное решение вопроса было передано голландской секции, руководимой оппортунистами типа Трульстры. Попытки вмешательства М. С. Б. в дела отдельных секций, вообще, были весьма редки и казались совершенно недопустимыми. Даже у конгрессов некоторыми видными вождями оспаривалось право такого вмешательства. Конечно, оспаривали это право, прежде всего, оппортунисты типа Вандервельде. Характерно заявление последнего на Амстердамском конгрессе[1])... Здесь спорят о ревизионизме, который признает поддержку правительства во всех случаях. Но вопрос бесконечно деликатен. Я воздерживаюсь от суждения о внутренней политике той или другой нации: ее внутренние конфликты должны разрешаться ею самостоятельно». Подобного же взгляда придерживались Виктор Адлер, высказывавшийся против установления «абсолютных правил», и Анзеле, протестовавший против «отлучения», либо «приговора». С их точки зрения конгресс не должен был выносить осуждения ревизионистам, т. к. он—«не трибунал» и «не инквизиция» (выражение Хилквита). Несмотря на словесные протесты Каутского и др. «ортодоксов» против таких заявлений, М. С. Б., в общем, придерживалось подобной «вегетарианской» тактики невмешательства в дела национальных секций.

Необходимо отметить еще тот факт, что по уставу (регламенту) местом постоянного пребывания секретариата был уста-

[1]) Речь его в тактической комиссии Амстердамского конгресса. Цитируем по франц. отчету: «Le sixième Congres socialiste international» («Amsterdam 1904»), Compte rendu analytique publié par le Bureau Socialiste International», Bruxelles 1904.

новлен Брюссель и, таким образом, «бельгийская делегация выполняет функции Исполнительного Комитета». Это обстоятельство отнюдь не способствовало поднятию престижа М. С. Б. Генеральный Совет Первого Интернационала находился в Лондоне—это имело немаловажное значение: во-первых, потому, что английская секция в то время была сильнейшей секцией; во-вторых, в Лондоне находился Маркс. В известном воззвании Юрской федерации, принятом в Сонвилье 12 ноября 1871 г., мы находим следующее характерное место: «Мандат члена Генерального Совета сделался в руках некоторых личностей как бы их личной собственностью, и Лондон стал казаться им бессменной столицей Интернационала»[1]). Анархисты прекрасно понимали, что Маркс, опираясь в Лондоне на сильнейшую и наиболее авторитетную, английскую, секцию, мог придать Генеральному Совету необходимый вес и значение.

Второй Интернационал мало заботился о том, чтобы М. С. Б. было достаточно сильной и авторитетной организацией. Мы не можем, подобно Жану Лонге, приходить в восторг от того обстоятельства, что местопребыванием М. С. Б. был Брюссель: в Бельгии, дескать, несмотря на монархию, царил демократический строй и международная организация рабочего класса чувствовала себя в безопасности[2]). Не случайно, конечно, и то обстоятельство, что послевоенный Второй Интернационал, установивший в начале своей деятельности местопребывание Исполнительного Комитета и Бюро в Лондоне, затем перенес его в Швейцарию: давление английской секции, которая является сильнейшей в послевоенном Интернационале, не нравится автономистски настроенным секциям. Вся структура Второго Интернационала воинет против сильного и авторитетного М. С. Б. Не даром председателем Второго Интернационала (до войны) был Вандервельде, а после войны—Фридрих Адлер. И тот, и другой представляют собой типичный образчик того рабочего п р о в и н ц и а л и з м а, который так характерен для маленькой Бельгии и нынешней обкарнанной Австрии. Вандервельде, конечно, является более махровым оппортунистом, чем Адлер,—но кто же не помнит блестящей пустозвонной «дипломатии» Вандервельде во всех решительных вопросах, разбираемых II Интернационалом? В Амстердаме, в Штутгарте, в Копенгагене—по вопросам ли тактики, или кооперации, всегда бельгийская секция и ее вождь, Вандервельде, выступали в роли примирителей и велеречивых болтунов. А нынешний председатель Второго Интернационала, Фридрих Адлер, недаром принадлежит к пресловутой школе «австро-марксистов», характерной чертой которых является признание революционности вчерашнего и завтрашнего дня, но только не сегодняшнего.

Достаточным авторитетом у рабочих партий больших стран, Франции, Англии, Германии, России—М. С. Б., возглавляемое Вандервельде, никогда не пользовалось. В серьезнейших вопросах обращались за указаниями не к Вандервельде, а к Бебелю, либо Каутскому. Никогда Брюссель не был «жупелом» в глазах буржуазии, как ныне Москва, или, как во времена Маркса, Лондон. Второй Интернационал и не стремился стать подобным

[1]) См. Дж. Гильом, Интернационал, т. II, стр. 257.

[2]) Jean Longuet, «Le mouvement socialiste internationale» в серии «Encyclopédie socialiste», под общей редакцией Компер-Мореля, стр. 86.

«жупелом». Брюссель был местом «мирного жития» председателя и секретаря М. С. Б., где время от времени собирались пленумы Бюро, издавались справочники, протоколы и собирался архив.

Способ представительства и в Бюро, и на конгрессах и способ голосования на последних также связывали свободу деятельности рабочего органа Интернационала. Каждая национальная секция могла послать двух полномочных делегатов в Бюро, не считая кандидатов к ним, при чем, т. к. эти делегаты не избирались на международных конгрессах, то они несли ответственность не перед конгрессами, а перед своими секциями. Таким образом Межд. Соц. Бюро не могло стать работоспособным органом—национальные делегации имели как бы императивные мандаты и подчинение решениям большинства Бюро фактически не проводилось в жизнь, хотя формально и было обязательным. Что касается до представительства на конгрессах, то лишь после Штуттгартского конгресса было установлено более или менее пропорциональное представительство: для Германии, Австро-Богемии, Франции, Великобритании и России по 20 голосов, Италии 15 голосов, Соед. Штатам 14 голосов, Бельгии 12 голосов, Дании, Польше и Швейцарии по 10 голосов, Австралии, Финляндии, Голландии, Швеции по 8 голосов, Испании, Венгрии и Норвегии по 6 голосов, Южной Африке, Аргентине, Болгарии, Японии, Румынии, Сербии по 4 голоса и Люксембургу 2 голоса. Надо отметить, однако, что голосование на конгрессах происходило не всегда персонально: регламент предусматривал голосование по национальности, «каждый раз, когда три представленные секции выразят в этом желание». Обыкновенно при самых острых вопросах не желавшая подчиниться большинству страна прибегала к этому методу: требовала, совместно с другими двумя нациями, голосования по национальностям и тем самым обесценивала авторитет большинства, опираясь на представительства малых наций, которые можно было легко перетянуть на свою сторону.

Совершенно понятно, поэтому, что и Международное Бюро оказывалось все время органом без'инициативным и бессильным предпринять что-либо для руководства международным движением и для авторитетного влияния на отдельные секции, и международной дисциплины, по существу, в эпоху II Интернационала не существовало. Так, по одному из самых серьезных вопросов, решающему для пролетарской организации—по вопросу о вхождении в буржуазное правительство—решение Парижского конгресса (1900 г.) толковалось уже после конгресса «миллеранистами» и «гедистами» совершенно противоположным образом, и даже после Амстердамского конгресса и исключения Мильерана из французской партии правое крыло социалистических партий разных стран хотя и не участвовало формально в правительствах, но в парламентах, ландтагах, муниципалитетах часто голосовали вместе с буржуазией, нарушали внутреннюю дисциплину социалистических фракций, т.-е., на самом деле, входили в самое подлинное сотрудничество с буржуазией. Еще более разительно это отсутствие международной дисциплины по вопросу о войне и милитаризме: измена 1914 года подготовлялась исподволь и давно в недрах международной организации рабочего класса. И одной из причин этого перерождения, кроме

целого ряда других условий, были оппортунистические принципы и методы организации, проводившиеся II Интернационалом и не дававшие возможности осуществить ту необходимую пролетарскую дисциплину и единство действий, о которой писали Маркс и Энгельс и которую сейчас осуществляет III Коммунистический Интернационал.

Нельзя не отметить еще одного обстоятельства, имевшего огромное значение для понимания организационной рыхлости II Интернационала. Эпоха головокружительных парламентских успехов выдвигала депутатов-социалистов на первый план. Авторитет парламентских и муниципальных социалистических фракций поэтому был исключительно велик. А так как эти социалистические депутаты зависели не только от партийных избирателей, но и от мелкобуржуазных попутчиков, голосовавших за социалистов, то наиболее уязвимыми в смысле дисциплины и наименее ей подчинявшимися были обычно парламентские социалистические фракции. Франция представляла в этом отношении классический пример почти полной независимости парламентской фракции от партийной организации. Массовые отколы и расколы во французской партии происходили по вопросу о взаимоотношении соц. депутатов парламента или муниципалитетов и партии, о подчинении фракции Центральному Комитету. Интересно, что важнейшим условием слияния разных социалистических групп во Франции в об'единенную соц. партию было, как доказывал Вальян, на заседании Международного Бюро 15 января 1905 года [1]), следующее: «Партийные избранники в парламенте образуют единую группу перед лицом всех буржуазных политических фракций. Социалистическая группа в парламенте должна отказывать правительству во всех средствах, которые обеспечивают господство буржуазии и ее нахождение у власти,— отказывать поэтому в военных кредитах, в кредитах на колониальные войны, в секретных фондах и в бюджете в целом. Даже в исключительных случаях депутаты не могут связать партию без ее согласия... Депутаты, как и все выборные, должны находиться в распоряжении партии во всех действиях в стране, в своей пропаганде по организации пролетариата и конечной цели социализма». Далее соглашение указывает на контроль федерации над каждым депутатом в отдельности, на то, что, в случае несогласия фракции, «решение конгресса является обязательным», на дисциплину социалистических газет, обязанных проводить решения партии, и пр., и пр.

Все эти условия показывают, как остро стоял вопрос об отсутствии крепкой пролетарской дисциплины не только в международном масштабе, но и внутри отдельных партий, ярким примером чего являлась, как мы видели, Франция. Даже в Германии, где дисциплина соц. партии была самой строгой, оппортунизм отдельных фракций ландтага часто выражался в сепаратных действиях без ведома или против воли Центрального Комитета партии. Известно, как упорно боролись Ленин и большевики с сепаратистскими традициями меньшевистской части социал-демократических фракций в нашей государственной думе.

[1]) См. «Reunions plenieres du Bureau Social. Intern.»: «Вопрос о социал. единстве во Франции». Курсив наш.

Бессилие Международного Бюро властно вмешаться в дела отдельных секций способствовало распространению в международном рабочем движении недисциплинированности, которая усиливала иллюзии автономизма и мелкобуржуазного сепаратизма, самых страшных болезней «парламентского кретинизма».

5. Единство партии.

Вопрос о единстве партии в каждой стране был одним из самых больных организационных вопросов во II Интернационале. С одной стороны, как мы уже указывали, в ряде важнейших стран,—Франция, Англия, Россия—социал-демократическое движение в конце XIX и первые годы XX в.в. находилось в состоянии раздробленности, с другой стороны, вопрос о единстве осложнялся межнациональным составом таких примерно стран, как Австро-Венгрия или же царская Россия, по справедливости называемая в те времена «тюрьмой народов».

Резолюция о единстве партии, принятая Амстердамским конгрессом (1904 г.), правильно указывала на принципы единства [1]). «Для того, чтобы рабочий класс мог проявить всю свою силу в борьбе против капитализма, необходимо, чтобы в каждой стране существовала, в противовес буржуазным партиям, только единая социалистическая партия, как существует е д и н ы й пролетариат». Далее резолюция призывала все социалистические организации «стараться всеми силами достигнуть единства партии на почве определенных международным конгрессом принципов», а Международное Социалистическое Бюро должно было сделать все зависящее для достижения этой цели.

Как мы видим, никаких конкретных мер для проведения единства резолюция Амстердамского конгресса не намечала. А практическая политика руководящего большинства Интернационала часто сводилась к поддержке мелкобуржуазных, оппортунистических элементов в международном рабочем движении, что сильно мешало проведению этого единства. Мы уже выше приводили примеры поддержки Межд. Соц. Бюро меньшевиков в России, «узких» социалистов в Болгарии, оппортунистической части с.-д. в Голландии. То обстоятельство, что Межд. Соц. Бюро довольно охотно принимало в свой состав таких представителей мелкобуржуазных партий, как наши с.-р. или, еще хуже, «Серп» (Соц. Евр. Раб. Партия)—также не могло способствовать созданию единства. Резолюция Амстердама подчеркивала, что единство должно быть достигнуто «на почве определенных международным конгрессами принципов». Эти принципы: 1) признание борьбы классов, 2) непримиримости по отношению к буржуазии, 3) революционных методов борьбы—либо неправильно толковались, либо вовсе не применялись руководящим большинством II Интернационала.

[1]) См. «Le sixième Congrès social. internat.» (Amsterdam 1904), изд. М.С.Б., Брюссель 1904. На Копенгагенском конгрессе резолюция Амстердамского конгресса о единстве была подтверждена вновь. Заключительный абзац копенгагенской резолюции гласил: «Международный конгресс в Копенгагене призывает все национальные секции, которые до сего времени пребывают в состоянии раскола, как можно скорее восстановить единство и поручает М. С. Б. п р е д л а г а т ь с в о е с о д е й с т в и е в деле проведения этого единства». См. «Le huitieme Congrès social. internat., tenu à Copenhague du 28 août en 3 septembre 1910, publié par le B. S. I., 1911. Курсив наш.

Неудивительно, что наиболее решительно настроенные революционные элементы в разных странах не очень охотно шли на единство с партиями, подобными нашим с.-р. или хотя бы «мильеранистам» во Франции. Приблизительно к годам 1906—1907 во II Интернационале определенно намечается деление на три основных течения: 1) правое, оппортунистическое, теоретическим выразителем коего являлся Бернштейн и т. н. «ревизионизм», 2) левое, революционно-марксистское, ярким выразителем которого являлся Ленин и большевики, к которым примыкали Роза Люксембург (Германия), Де Леон (Америка), Лафарг (Франция) и отчасти тяготели наиболее выдержанные революционные синдикалисты, и 3) центристское—официально руководившее II Интернационалом, выразителем которого являлись Каутский (Германия), Плеханов (Россия), Вандервельде (Бельгия), отчасти Гед (Франция). Последнее течение, задававшее тон во II Интернационале, на словах осуждало ревизионизм и соглашательство, на деле же без особой симпатии относилось к левым и практически поддерживало оппортунистов.

Необходимо еще отметить, что центристы во главе с Каутским и даже с Бебелем, который был прекрасным революционером по нутру, но теоретически скатывался также в последнее время к центризму, что руководящее большинство II Интернационала в национальном вопросе стояло на очень неопределенной позиции. Так, напр., они признавали за Венгрией, Польшей и Финляндией право на образование национальных социалистических партий и, между прочим, поддерживали явно национальную, мелкобуржуазную партию Польши PPS против польской с.-д. во главе с Розой Люксембург и Тышко; одновременно же с этим, они не могли найти правильной линии поведения, напр., по отношению к немецко-чешской розни внутри с.-д. в Австрии: отдавалось предпочтение немецкой национальности и только наполовину признавалось право чехов на самостоятельную организацию. Любопытны две точки зрения, высказанные на заседании Межд. Соц. Бюро 15 января 1905 г. [1]). Голландский социал-демократ Ван-Коль предлагал рассматривать Интернационал, как мировую партию, и каждую страну, как секцию. «Нация,—говорил он,—не этнографическое понятие, а организация социалистов одной и той же страны, которая борется против правительства». Поэтому он предлагал при определении представительства от стран в М. С. Б. исходить от количества организованных там социалистов. Бебель же предлагал следующее: «Каждая нация имеет не больше двух представителей. Бюро решает, каковы те фракции, которые могут иметь делегатов в Бюро. Каждое государство, где население пропорционально, имеет свое собственное представительство. Там, где существует несколько наций, каждая нация имеет право на собственное представительство». Эти две противоречивые точки зрения все время боролись во II Интернационале, и межнациональные отношения так и не нашли своего четкого и ясного определения. Поэтому и М. С. Б. и даже конгрессы часто разбирали конфликты, иногда непримиримого свойства, между, напр., чехами и немцами в Австрии.

[1]) См. «Réunions plenieres du Pureau Soc. Intern.»: заседание 15 января 1905 г., вопрос «О представительстве в Бюро».

Между тем, оппортунист Ван-Коль стоял на более правильной позиции, чем Бебель: именно, он правильно исходил из принципа единства классовых интересов пролетариев разных национальностей в одном и том же государстве. Беда его заключалась в том, что он не признавал «права наций на самоопределение, вплоть до отделения» и поэтому впадал и в национальном, а главное, и в колониальном вопросе, в совершенно недопустимый «культур-трегерский тон» и просто игнорировал национальный вопрос. Бебель же, в общем и целом, разделял точку зрения, развитую австрийским с.-д. Отто Бауэром о т. н. «культурно-национальной автономии» малых наций, специально изобретенной для Австро-Венгрии, этой искусственной «лоскутной монархии», раздираемой национальными противоречиями: придумав «марксистское» решение вопроса—право чехов или галичан на автономию в области языка, культуры и пр., Отто Бауэр исходил из национальных, великодержавных принципов. Ему думалось, что малые нации удовлетворятся изобретенной им формулой и, тем самым, господство немцев в Австро-Венгрии и сохранение этого искусственного, государственного целого будет обеспечено [1]).

Правильное решение вопроса состояло в том, что: 1) необходимо было признать за т. н. «малыми нациями», чехами, словаками, галичанами, поляками и пр. и пр., право на полное

[1]) Характерно, что даже Роза Люксембург занимала неправильную позицию в национальном вопросе. Борясь против шовинистически настроенной PPS, которая, действительно, оказалась мелкобуржуазной националистической партией, Роза Люксембург высказалась, вообще, против п. 9 программы РСДРП «О праве наций на самоопределение», особенно горячо защищаемого Лениным. Она выступила с рядом статей в польском с.-д. журнале под названием «Национальный вопрос и автономия», в которой квалифицировала 9 й пункт программы РСДРП, как реакционный, и, в общем и целом, солидаризировалась с Бауэровской трактовкой национального вопроса. Такой трактовкой национального вопроса Роза Люксембург только помогала PPS обманывать польских рабочих; польские социал шовинисты имели основание обвинять польскую социал демократию, во главе которой стояла Роза Люксембург, в великорусском шовинизме и, тем самым, наживать политический капитал среди националистически настроенного польского пролетариата. Неправильную позицию Розы Люксембург разделяли все течения русской с.-д., отчасти к ней склонялся и Троцкий. Одни только большевики занимали в этом вопросе последовательно-революционную позицию, и В. И. Ленин в ряде боевых статей выступал в защиту большевистской постановки национального вопроса. Особую ценность представляет статья т. Ленина «О праве наций на самоопределение», напечатанная в №№ 4—6 за 1914 г. журнала «Просвещение» (Собр соч., т. XII, ч. 2, стр. 486—543), где он полемизирует с Розой Люксембург и всесторонне обосновывает правильный революционно-марксистский взгляд на национальный вопрос.

Необходимо отметить, что с трактовкой национального вопроса Отто Бауэром был несогласен и Каутский. В своей брошюре «Национальность и интернациональность» Каутский доказывал, что Бауэр «не дооценивает силу стремления к созданию национального государства». Накануне международного Лондонского конгресса (1896 г.), на котором была, между прочим, принята резолюция о «праве наций на самоопределение», Каутский выступал против Розы Люксембург. Но, будучи теоретически несогласен с нею, Каутский придумал «центристское» решение вопроса: он считал, что Интернационал в целом не может в настоящее время ставить своей программой независимость Польши, но сама польская партия может это требование выставлять. В общем, несмотря на теоретическую «ортодоксальность» виднейшего теоретика II Интернационала Каутского, на деле, в практической политике, он сам, а за ним и другие вожди II Интернационала придерживались взглядов Отто Бауэра. Это обстоятельство не могло не отразиться болезненно на вопросе о единстве партии в стране, населенной многими национальностями.

самоопределение вплоть до отделения», как это предлагал Ленин—и сделать это основным пунктом программы каждой с.-д. партии, в том числе и австрийской напр.; 2) это признание способствовало бы об'единению усилий пролетариев разных национальностей одной и той же страны для совместной борьбы с буржуазией в рамках е д и н о й партии, и тогда вопрос о представительстве «малых национальностей» в М. С. Б. не имел бы той остроты, которая разжигала националистические страсти внутри самого Интернационала.

Для характеристики того, какими методами руководящее большинство II Интернационала пыталось насаждать единство внутри отдельных стран, интересно отношение М. С. Б. к положению в РСДРП накануне самой войны. После раскола в думской фракции в 1913 году меньшевики подняли крик, что большевики изменники и раскольники, играющие на руку реакции. 13 и 14 декабря 1913 г. состоялось заседание Межд. Соц. Бюро, на котором присутствовали, между прочим, Каутский от герм. с.-д., Роза Люксембург от польской с.-д., Литвинов от РСДРП, Скобелев от меньшевистской думской фракции и Рубанович от с.-р. Докладчиком был Каутский, который, правда, довольно туманно намекал на то, что большевики форсировали раскол [1]). Приведя резолюцию Амстердамского конгресса о единстве партии и указав на то, что исключительные условия реакции в России делают это единство еще более необходимым, Каутский заявил, что «нужно созвать представителей всех течений в России, стоящих на с.-д. точке зрения, для лойяльного предварительного выяснения существующих разногласий», после чего и можно будет выносить определенное решение. К этому он добавил, явно повторяя доводы меньшевиков-ликвидаторов, не признававших образовавшегося ЦК РСДРП (большевиков), что «старая РСДРП мертва». Роза Люксембург протестовала против выражения Каутского, что «РСДРП мертва», но Каутский продолжал настаивать на том, что «старой партии не существует», что «остались только старые названия, но партия целиком изменилась». Это утверждение Каутского придало храбрость Рубановичу, который от имени с.-р. выступил с целой декларацией, предлагая созвать конференцию для об'единения всех соц. групп в России, в том числе и с.-р.

После вторичного выступления Розы Люксембург, внесшей самостоятельную резолюцию [2]) и вновь протестовавшую против заявления Каутского, резолюция Каутского была принята, причем утверждение Каутского, что «РСДРП не существует», в резолюцию внесено не было. Впоследствии большевики, в том числе и Ленин, приветствовали принятое решение М. С. Б. Ленин мягко называл поправку Каутского «необдуманным утверждением» [3]), но в то же самое время толковал эту резолюцию

[1]) См. «Bulletin Périodique du B. S. I.» № 11: засед. от 13—14 дек. 1913 г. Там же напечатана «декларация» Рубановича от имени партии с.-р., со ссылками на Плеханова.

[2]) Резолюция Р. Люксембург гласила: «М. С. Б. поручает своему Исполнительному Комитету войти в сношения с делегатами русской и польской с.-д. в надежде созвать их на общую конференцию, имеющую целью изучить необходимые условия для восстановления единства РСДРП» (Цитировано по № 11 «Bulletin Périodique du B. S. I.»).

[3]) Ленин. Собр. соч. т. XII, ч. 2: «О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве», стр. 158.

совершенно в ином духе, чем тот, который ей пытался придать Каутский: он категорически возражал против признания платформы ликвидаторов, и предложение Дана выработать такую платформу об'единения, которая «должна обеспечить не-ленинцам полную возможность в пределах единой с.-д. пропагандировать и вести борьбу за открытое существование социал-демократии», называл издевательством над «единством». Хотите единства?—спрашивал Ленин.—Признайте безоговорочное отречение от ликвидаторства, от «борьбы за открытое существование», признайте лойяльное подчинение большинству» [1]).

Из попытки М. С. Б. вмешаться в конфликт внутри РСДРП ничего не вышло. Ликвидаторы не склонны были итти на отказ от самого своего существа, признать подпольную партию и подчиниться большинству, которое явно находилось в руках ленинцев. Тираж «Правды», выборы в страховые кассы и пр. явно показывало, что меньшевики имеют незначительное меньшинство в среде российского пролетариата. Не помогла меньшевикам и позиция Каутского в М. С. Б., явно склонявшегося в их сторону. А через некоторое время разразилась война, затем революция, и большевики показали, «жива» или «мертва» РСДРП: не позиция Каутского, «ортодоксального» столпа II Интернационала, в описанном вопросе чрезвычайно характерна. Она показывает, что, по существу, Каутский на самом кануне войны уже ничем не отличался от Каутского эпохи войны.

Так, несмотря на признание правильного принципа о единстве борьбы пролетариата против буржуазии в каждой стране, а, следовательно, о единстве партии,—руководящее, центристское большинство II Интернационала своей практической политикой и явной поддержкой реформистских элементов в международном рабочем движении, своей неправильной оппортунистической позицией в национальном вопросе—мешало установлению этого единства. Можно определенно констатировать, что в последние годы существования II Интернационала не только многочисленные революционные элементы в рабочем классе, стоявшие вне рядов с.-д., как революционные синдикалисты, но и левые элементы внутри с.-д. все более и более разочаровывались политикой и тактикой руководящего большинства II Интернационала.

* * *

Попытка рассмотреть три важнейших момента, характеризующих постановку организационного вопроса II Интернационалом, дает нам право сделать совершенно обоснованное заключение, что заветы Маркса были им основательно забыты. Восторжествовали принципы мелкобуржуазные: неограниченная (на деле) автономия отдельных секций, полное бессилие Межд. Соц. Бюро в деле руководства международным рабочим движением, разжижение не только идеологии, но и состава Интернационала, борьба с революционной частью рабочего класса, проводившаяся под видом борьбы с анархистами, борьба—только н а л е в о, потворствование всем оппортунистическим элементам—полная солидарность с правыми ревизионистами. В уставе II Интернационала есть пункты, дающие право М. С. Б., если не вмешательства

[1]) Ленин. Собр. соч. т. XII, ч. 2: «Вождь ликвидаторов о ликвидаторских условиях „единства“, стр. 356—357.

в дела секции, то, по крайней мере, регулирования ее состава. Но, если подобное регулирование изредка и производилось, то в пользу оппортунистов. Вообще же, принцип вмешательства М. С. Б., даже конгрессов в дела национальных секций, отвергался.

Как далеки эти принципы от заветов Маркса, стремившегося создать авторитетный, сильный центр в лице Генерального Совета, способного твердой рукой направлять в единое русло международное рабочее движение и создать международную рабочую партию! Рыхлые организационные принципы II Интернационала скорее напоминают требование Юрской Федерации бакунистов, чем марксистов.

Вот почему единым хором ненависти встретила международная с.-д., совместно с анархистами, создание и деятельность III Коминтерна. Москва «диктует свою волю», «вмешивается во внутренние дела», «раскалывает рабочее движение»—этот вопль несется со страниц всех с.-д. и анархистских газет, при дружной поддержке буржуазии. Но это показывает только, что Коминтерн на правильном пути: он осуществляет заветы Маркса, он создает единую международную пролетарскую партию, он заканчивает то, что начал Маркс.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Б. Г. Столпнер и **П. С. Юшкевич.** История материализма (В произведениях его представителей и историков). Том I (до XVIII в.). Кооперативное издательство «Мир» Москва, 1927. Часть первая, стр. 1—230. Часть вторая, стр. 231—515.

При широком распространении у нас материалистического мировоззрения вполне понятны интерес и внимание к истории этого мировоззрения. Удовлетворение этого интереса идет по двум линиям: по линии перевода произведений классиков-материалистов и по линии собственно исследовательской работы: историко-философские монографии, очерки, статьи и т. п. Однако этим наш долг перед старыми материалистами не исчерпывается. Было бы желательно, а в учебных целях даже необходимо, иметь сводную работу, своего рода курс истории материализма, написанный, само собою разумеется, с материалистической же, марксистской точки зрения.

Задача создания такой работы, несомненно, трудна; предварительно необходимо произвести целый ряд специальных изысканий; местами и в значительном количестве случаев приходится итти по целине. Немудрено поэтому, что задача эта еще не выполнена. Существующие же работы или неудовлетворительны, как, напр., «История материализма» Ф. Ланге, написанная с неокантианской точки зрения и доведенная до половины XIX века, или, кроме этих качеств, и по теме своей не отвечает указанным нуждам, напр., «История атомистики» К. Лассвица, «История атеизма» Ф. Маутнера. Очевидно, что атомистика не исчерпывает материалистического мировоззрения в целом; то же самое относится и к атеизму.

Пока нет цельной и единой истории материализма, приходится довольствоваться суррогатами, т.-е. собранием в одной книге ряда материалов по истории материализма; такое собрание, удачно произведенное, позволяет обозреть материал, относящийся к теме, и может в этом отношении принести известную пользу. Эта чисто компилятивная работа возможна как собрание отрывков из классиков материализма и как собрание отрывков о классиках материализма. Составители рецензируемой книги решили совместить оба принципа. Как правило, они дают сперва отрывки из сочинений того или иного историка о каком-либо материалисте, а затем отрывки из сочинений самого автора. Все это располагается, примерно, в хронологическом порядке, и, таким образом, получается видимость истории материализма, собрание материалов к ней, некоторая часть черновой работы для автора, который бы захотел написать очерк истории материализма.

Как видно из предисловия, составители хотели бы давать отрывки из произведений историков-марксистов или, по крайней мере, близких к материализму. Однако в отношении многих классиков этого сделать не представлялось возможным, так как марксистских работ об этих авторах еще не имеется. В подобных случаях составители дают «или нейтральных авторов или нейтральные отрывки из не нейтральных авторов», словом, они пытаются из всех зол дать наименьшее. Этими обстоятельствами об'ясняется то, что в сильнейшей степени использованы такие

историки, как уже упомянутые нами Ф. Ланге и К. Лассвиц. Если в отношении некоторых философов (Спиноза, стоики) у историков существуют разногласия, то составители дают обе точки зрения, желая этим представить весь материал по данному вопросу.

У составителей, несомненно, был соблазн представить в значительной степени тот материал, который не имеется еще на русском языке. Практически это приводило к тому, что в отношении некоторых классиков-материалистов материал количественно пропорционально велик, напр., дана вся десятая книга Диогена Лаэрция об Эпикуре. Составители сознают это и специально оговариваются в предисловии, что переводом Диогена Лаэрция они надеются «заслужить благодарность русского читателя». С этим можно согласиться, но весь вопрос в том, рационально ли данный перевод, занимающий сорок страниц, печатать в данной книге.

Вкратце содержание вышедших частей «Истории материализма» сводится к следующему. Во «Введении» даются отрывки из Энгельса, Плеханова и Ленина с общими соображениями о материализме. Далее расположены материалы по истории материализма в древности. Здесь прежде всего удивляет отсутствие главы об индусской атомистике. Составители пишут, что глава эта не дана или «ввиду разросшихся размеров книги», но, во-первых, «размеры» книги есть понятие растяжимое, а, во-вторых, кроме абсолютных размеров, книги есть еще и относительные размеры отдельных частей и глав ее. Материал по индусскому материализму имеется и у Mabilleau, «Histoire de la philosophie atomistique», Paris 1895, и, довольно интересный, в статье Masson Oursel, «L'atomisme indien» («Revue philosophique» 1925, № 5 et 6). Материал этот русскому читателю еще неизвестен. Составители впадают сами в противоречие, когда говорят, что намерены дать материал по этому вопросу в виде приложения ко второму тому работы; значит, известное число страниц все равно этому материалу отводится.

Материализм в древней Греции представлен: 1) отрывками из Нестле о досократиках, из Гомперца и Л. Аксельрод, из Гюйо об Эпикуре и др., 2) доксографией в переводе Маковельского из Дильса (Демокрит), десятой книгой Диогена Лаэрция, отрывками из Лукреция в переводе Рачинского и фрагментами из стоиков (Зенон и Хризипп) по Нестле. Обращает на себя внимание то, что доксографический материал по Демокриту весьма внимательно снабжен подзаголовками на полях страниц,—что очень облегчает ориентировку,—Диоген Лаэрций же преподнесен сплошной массой, и дифференциация этого материала на параграфы дана только в оглавлении. Вообще нужно сказать, что аппарат, облегчающий обозрение всех материалов, разработан в книге слабо.

В отношении стоиков представлены две точки зрения: Нестле (динамический материализм) и Ланге (псевдоматериализм). Это тоже вызывает сомнения. Ведь не дают же составители отрывков идеалистически интерпретирующих Спинозу и принадлежащих перу немарксистов. Отрывок из статьи Аксельрод о Спинозе все-таки может быть еще оправдан тем, что автор—марксист; давать же Ланге по вопросу о материализме (всего полстраницы) после недурного отрывка из Нестле—совершенно нецелесообразно.

Очень сильно сжат материал по средним векам и эпохе Возрождения. Здесь мы имеем только 12 страниц: реализм и номинализм, Аверроэс, учение о двойственной истине и Бруно. Хотелось бы видеть отрывки из И. Дунса Скотта, Роджера Бэкона и далее из Б. Телезио, Т. Кампанеллы. Дж. Бруно представлен только отрывком из Ланге; положительно же необходимо было дать и самого автора.

Богаче всего представлен материализм XVII века, что вполне понятно, поскольку прогрессивное мировоззрение этого века целиком проникнуто материализмом механического типа. Литература о Ф. Бэконе представлена большой выдержкой из статьи т. Деборина к 300 годовщине смерти мыслителя. Совершенно нелепо после этого автора давать одну страницу из работы Ф. Ланге. Сам Бэкон представлен двумя отрывками: «Что мешало успехам наук?» и «Об учении Демокрита». После Декарта (все тот же Ланге) следует Гассенди—его возражения на учение Декарта о душе—и фрагменты о Гассенди из Ланге, из старой работы Тома «La philosophie de Gassendi» и из Лассвица. Выбор отрывков Гассенди, впервые появляющегося на русском языке, следует признать удачным. Что касается литературы о Гассенди, то, пожалуй, составители сделали все, что могли. Уж лучше Ланге и Лассвиц, которые все же писали о материализме у Гассенди, чем работы Пендцига.

«Невернному» ученику Декарта Региусу (Леруа) повезло. О нем имеется статья Н. Карева. Составителями использована эта статья, а из сочинений самого Леруа дана его «Программа», весьма сжато и выразительно определяющая позицию ее автора.

Вторая часть книги начинается Гоббсом, которому уделено почти сто страниц. После отрывков из Деборина, Робертсона, Ланге, Маутнера и Теннисса идут большие выдержки из сочинений английского механического материалиста. Неприятное впечатление производят здесь три отрывка (Робертсон, Ланге и Маутнер) не столько своим содержанием, сколько величиной: все они умещаются на двух страницах. В книге, претендующей быть книгой для чтения, следует избегать таких лоскутов. Имеется в них и редакционная небрежность. Определение религии у Гоббса один раз переведено с английского (Robertson, «A short History of Freethought», а другой раз с немецкого (Mauthner, «Geschichte des Atheismus»), переводы не согласованы и во втором случае смазывается вся суть Гоббсова определения, подчеркивающего роль государственной власти при отнесении какого-либо верования к «религии» или к «суеверию». Первый вариант перевода гласит: «Страх перед невидимой силой, вымышленной или воображаемой на основании рассказов, допущенных к распространению публичной властью, есть религия; если же она не пользуется таким признанием, то она называется суеверием». Второй вариант: «Страх перед невидимыми силами, выдуманными или общепризнанными на основании сообщений, есть религия; если же эти невидимые силы не общепризнаны, то мы называем такой страх суеверием». Оба варианта умещаются на двух соседних страницах. Ясно, что цитата эта должна была быть дана по подлиннику.

О Спинозе даны отрывки из Фейербаха, Плеханова и Аксельрод. Сильно использована «Этика» Спинозы. Если сравнить отрывки из Гоббса и Спинозы, то представится следующая невязка: составители дали отрывки, характеризующие политическое учение Гоббса; аналогичные отрывки из Спинозы (мы имеем в виду «Политический трактат») не даны. Или—или; или нужно было представить и политическую философию Спинозы, или обойтись без таковой и у Гоббса.

Из немецких спинозистов представлен один Стош (использована статья т. Тымянского). Локк представлен отрывком из А. Деборина; использован также «Опыт о человеческом разуме» в переводе А. Савина. Интерес представляет впервые появляющееся на русском языке пятое письмо к «Серене» Д. Толанда. Из работ об этом мало известном материалисте использованы статья т. Тымянского и фрагмент Ланге.

Заканчивается вторая часть книги рядом отрывков, характеризующих развитие механического мировоззрения в естествознании вплоть до XVII в.

Здесь в значительной степени использована работа Лассвица по истории атомистики, а также книги по истории физики, биологии и медицины. Большинство этих отрывков впервые переведены на русский язык.

Как видит читатель, хрестоматия (ибо это все же хрестоматия) Б. Столпнера и П. Юшкевича содержит ряд интересных материалов по истории материализма и при том довольно удачно подобранных. Многие из этих материалов русскому читателю были недоступны. Вот эти два обстоятельства и оправдывают издание книги, которая, конечно, не может заменить недостающей нам истории материализма. При всех своих как об'ективных и неизбежных, так и суб'ективных и устранимых недостатках книга может играть роль учебного пособия при изучении материализма, а также и пособия при самообразовании.

И. Луппол.

И. И. Рубин. История экономической мысли. Меркантилисты. Физиократы. Смит. Рикардо. Разложение классической школы. ГИЗ. Москва—Ленинград 1926 г.

Данная книга И. Рубина представляет из себя учебное пособие для вуза. Она «предназначается для читателей, уже знакомых с общим курсом политической экономии и желающих получить представление об эволюции основных экономических идей, начиная со времени зарождения их у меркантилистов и кончая серединой XIX столетия». Она, таким образом, является «историческим введением в более углубленное изучение марксовой экономической системы» (Из «Предисловия»). Перед нами, следовательно, курс истории политической экономии.

Появление такой работы, заполняет очень существенный пробел в нашей литературе; ибо, по существу, у нас отсутствует хорошее пособие по истории экономической мысли. «Истории» Чупрова и Туган-Барановского сильно устарели и мало пригодны, известная и распространенная книга Ш. Жида—«История экономических учений» дает очень смутное представление об истории, ибо она преломляется в ней, как в кривом зеркале, преподносимая под углом зрения теоретической точки зрения самого Жида. Новые «истории» (напр., Ляшенко и др.) оставляют желать многого.

Настоящая «История» И. Рубина вполне по праву может занять это вакантное место, и с этой точки зрения ее приходится только рекомендовать; во всяком случае, она представляет лучшее, что наша высшая школа имеет по истории экономической мысли.

Однако и по отношению к ней приходится сделать ряд критических замечаний. Рубин оговаривается, что не ставил своей целью изложение всех выдающихся экономистов XVII—XIX столетий. Он ограничивается только «наиболее крупными и яркими представителями различных течений экономической мысли». Но по существу перед нами только история классической школы, с ее предшественниками и эпигонами. «История экономической мысли» распадается на пять частей. Первая часть посвящена меркантилизму и его разложению, вторая—физиократам, остальные—Смиту, Рикардо и разложению классической школы. Хронологический предел «Истории»—середина XIX века; но все же, по нашему мнению, об'ем работы должен был бы быть несколько расширен; Рубин неоднократно указывает на Родбертуса—теорию Родбертуса, во всяком случае, следовало бы включить; немецкая политическая экономия осталась также в стороне—мы укажем хотя бы на старую историческую школу. И уже особенно необходимо было более подробно осветить ту линию развития экономической мысли, которая непосредственно

вела от классиков к Марксу, линию, которую Маркс прослеживает в III томе своих «Теорий прибавочной стоимости».

А теперь перейдем к замечаниям по отдельным этапам «Истории». Отдел о меркантилистах было бы лучше разделить на два отдела, иначе Рубину пришлось отнести к меркантилистам (правда, в порядке расположения материала) таких противников меркантилизма, как Норс и Юм. Их лучше было бы выделить особо. Затем совершенно не затронуты ни французский меркантилизм, ни немецкие меркантилисты, ни, в особенности, итальянская меркантилистическая литература, «значительный интерес» которой подчеркивает сам же Рубин. В своем курсе Рубин дает лишь английский меркантилизм и его разложение; содержание этой части, таким образом, уже ее заглавия. В связи с этой частью мы хотели бы сделать одно существенное замечание принципиального характера.

Речь идет об историческом характере закона ценности (стоимости). Как известно, в другой своей работе, Рубин полемизирует с Энгельсом: если, по Энгельсу, закон стоимости насчитывает пятитысячелетнее существование, то Рубин считает его категорией лишь развитого капиталистического общества. С нашей точки зрения, здесь нет противоречия,—а первое и второе положения отмечают только различные стороны одного и того же явления. Но в трактовке Рубина получается противоречие, оно сказалось также и в настоящей «Истории». Так, Рубин считает, что по отношению к ремесленному производству не приходится говорить о проблеме стоимости. «Проблема стоимости в современном виде могла быть поставлена только тогда, когда цеховое ремесло начало уступать место капиталистическому хозяйству» (стр. 53). Но этой невозможности суб'ективной постановки проблемы стоимости в голове исследователя должен ведь отвечать и об'ективный факт: отсутствие закона стоимости в реальной действительности. Сам Рубин и подчеркивает, что в эпоху ремесла вместо «стихийного, рыночного ценообразования» мы имеем дело с регулированным ценообразованием». Итак, вместо стоимости, как регулятора—«справедливая» цена (justum pretium) и вместо научно теоретической постановки проблемы—постановка нормативная. Однако Рубин совершенно забыл при этом то, на что он особенно напирает в своих «Очерках по теории стоимости Маркса»,—социальную характеристику стоимости. Раз стоимость есть вещное выражение определенных общественных отношений товаропроизводителей,—то разве можно выбрасывать закон стоимости по отношению к такому принципиально-типичному обществу простых товаропроизводителей, как ремесленное производство.

Наконец, если мы даже согласимся с такой «нормативностью», то встает следующий вопрос: а чем же детерминируется эта самая «нормативность»? Откуда выросла сама идея о justum pretium?

Еще и еще раз подтверждается старая истина: всякая критика марксизма в принципиальных вопросах может очень далеко увести критика. Критика Рубина прямым путем тащит его к струвистской «вольной» и «указной» цене. Конечно, в данном случае еще не приходится говорить о воспринятии концепции Струве, но что некоторый уклон к струвизму налицо—это несомненно.

Отдел о физиократах представляет незначительную переработку специальной работы Рубина о физиократах. О ней мы в свое время говорили.

Второе более существенное замечание будет касаться трактовки Рубиным классиков—Смита и Рикардо. С его трактовкой, по нашему мнению, нельзя согласиться. Место не позволяет подробно остановиться на этом вопросе; поэтому коснусь только наиболее существенных пунктов.

Прежде всего общая характеристика Смита; Рубин считает его типичным экономистом мануфактурного периода, т.-е. представителем эпохи крупного капиталистического мануфактурного производства. Отсюда получается целый ряд неувязок и противоречий в изложении и оценке Смита и полное искажение перспективы. При чтении этой части работы Рубина—глав о Смите,—невольно задаешь себе следующий вопрос: на чем же основана столь высокая оценка Смита в истории политической экономии? Наблюдая крупное капиталистическое производство и связанные с ним классовые противоречия, Смит запутывался в таких элементарных вопросах, оказывался столь теоретически беспомощным, что научное его значение должно было быть, по меньшей мере, равным нулю.

На самом деле, в какую эпоху жил Смит? Рубин, к сожалению, совершенно не освещает этого вопроса: Глава XVIII о «Промышленном капитализме в Англии в середине XVIII века» по существу представляет общие теоретические рассуждения о ремесле, кустарном производстве и мануфактуре. Но об экономическом положении Англии она не дает никаких сведений. Если Смит был теоретиком крупного производства (в виде мануфактуры), то как об'яснить такой факт, что он почти не заметил технического разделения труда, что у него общественное разделение труда покрывало собою все? Сам Рубин отмечает это смешение у Смита (см. стр. 170—171). Но, с другой стороны, почему же смитовское учение о разделении труда в то же время стало «в высшей степени ценной об'ективно-социологической концепцией менового общества (впоследствии положенной Марксом в основу его теории стоимости)» (стр. 179)? Второй основной вопрос: чем же определяется известная путаница у Смита в вопросе об определении стоимости труда,—с одной стороны, стоимость определяется трудом, затраченным на данную вещь, а с другой—трудом, который можно купить на данную вещь. Рубин видит причину в неправильном методологическом подходе. Правда, некоторые крупнейшие ошибки Смита об'ясняются смешением теоретических и практических проблем; но удивляться этому не приходится; экономическая теория, родившаяся из практических потребностей и первоначально растворявшаяся в экономической политике, на первых порах не могла еще ясно осознать методологические особенности чисто теоретического исследования» (стр. 167). Но подобная трактовка сводит значение Смита к нулю. Другое дело, если эта неясность соответствовала и неясности об'ективно-противостоящей ему действительности.

В отношении Смита Рубин воспринял обычную характеристику Смита, которая получила право гражданства в «Историях» политической экономии. Но ее, с нашей точки зрения, нужно было бы пересмотреть.

Еще хуже дело обстоит с Рикардо. Основное противоречие в системе Рикардо освещено слишком мало и явно недостаточно. Общеизвестно, что Рикардо исследовал закон стоимости только с количественной стороны; форма стоимости, ее социальная обусловленность, совершенно естественно ускользнула от него. Но при этих условиях закон стоимости получает свой raison d'être только в том случае, если он является тем, что регулирует непосредственно все случаи обмена. Но в капиталистическом обществе он не может выступить таким регулятором. Проследив его модификацию в цену производства Рикардо оставаться на своей точке зрения не мог, ибо для этого нужно было бы вскрыть его социальную форму. Поэтому оставалось либо отбросить закон стоимости, либо примириться с целым рядом исключений из него, которые принципиально все же опрокидывали его. Возражения, хотя бы Мальтуса, были вполне основательны. Эту сторону Рубин, хотя все же недостаточно, но осветил.

Но ведь тот же самый вопрос встает и в случае ренты. Теория ренты Рикардо тоже ведь опрокидывала его трудовую теорию стоимости. Это осталось совершенно неосвещенным у Рубина; можно сказать, что этого противоречия он и не увидел. Сам же Рикардо отлично видел это противоречие; правда, он его отрицал, но его отрицание не могло устранить фактического наличия этого противоречия. Это обстоятельство, как отметил еще Маркс, определило также и архитектонику «Начал» Рикардо.

Поэтому, если Рубин утверждает, что в области дифференциальной ренты взгляды Рикардо составляют прочное приобретение экономической науки, и были целиком восприняты Марксом, и им только несколько дополнены и развиты,—то мы с этим согласиться никак не можем.

Теория ренты Маркса не только количественно—большим уточнением и развитием—отличается от теории ренты Рикардо, она отличается и качественно, по своей принципиальной установке: у Рикардо она, как мы сказали, опрокидывала теорию стоимости, у Маркса же это противоречие было также устранено: Марксова теория ренты строится на основании теории стоимости.

При ином подходе к Рикардо, естественным результатом получается: 1) переоценка самого Рикардо, 2) неверное представление о взаимоотношении между теорией Рикардо и Марксом и 3), в связи с этим, Маркс выступает слишком большим «рикардианцем».

Сказанным и приходится ограничиться. Повторяем еще раз, что, несмотря на эти недостатки, «История экономических учений» Рубина есть все же лучшее, что мы имеем в данной области. **В. Позняков.**

В. Фриче. Западно-европейская литература XX века в ее главнейших проявлениях. Гиз. 1926 г. Стр. 182.

Эта книга В. Фриче написана обычным для автора увлекательным живым языком и содержит в себе картину главнейших моментов современной западно-европейской литературы, подвергнутую острому марксистскому анализу. Автор ярко рисует постепенное развертывание основных тенденций литературы современного капитализма. Кроме мощной техники, свойственной развитому капитализму, есть еще одна новая черта, присущая современной последней фазе промышленного капитализма—это коллективная форма управления и владения хозяйством. В эпоху простого товарно-денежного хозяйства и начальных стадий капиталистического общества отдельный предприниматель был главным организатором и собственником хозяйственных единиц. Отсюда гимны личности и пышный расцвет индивидуализма в эпоху Ренессанса (Рабле), на протяжении XVII и XVIII веков (Робинзонада), в первую половину XIX века (романтики). Начиная, примерно, с 70-х годов, с возникновения акционерных обществ, а далее—трестов, синдикатов, картелей, хозяйствующий суб'ект обезличился. Хотя собственность по существу осталась индивидуальной, процессы труда и хозяйства стали общественными. Вот это роковое имманентное противоречие капитализма тяготеет и над современным искусством, в частности и над литературой. Начиная с Уота Уитмэна, Воля и Верхарна художники всех родов оружия пытаются воспроизвести безлично-коллективный характер современной жизни. Отсюда множество всяких литературных направлений—унанимизм, пароксизм, экспрессионизм, футуризм и т. п.,—имеющих одну общую основу—возвеличения массы, толпы, которая поглощает личность. Но тут же выступает второй лик двуликого Януса—индивидуалистический характер идеологии члена капиталистического общества — частного собственника. Вот тут и начинаются все мытарства и муки современного художника, иной раз трагически переживающего этот внутренний разрыв, это внутреннее про-

тиворечие, устраняемое лишь вместе с уничтожением капиталистического общества. Лишь те немногие художники, которые возвысились до понимания сущности и судеб современного капитализма, способны обрести душевное равновесие, цельность и твердость характера, как, например, немецкий поэт Бехер и французский писатель Анри Барбюс в последний период их литературной деятельности. Все же прочие представители литературы характеризуются, либо реакционным утопизмом, либо разорванностью сознания, которая так ярко передается их растрепанным, эксцентричным стилем, доходящим до безумия даданизма (заумный язык) и других родственных ему направлений. Автор изобразил с предельной ясностью зависимость стиля современной литературы от стиля современной общественной жизни. Несмотря на общность основного уклада капиталистического хозяйства современной Европы, все же в каждой стране отмечены конкретные и своеобразные особенности в литературе.

Биографический фактор в об'яснении характера художественного творчества вовсе не устранен,—марксист-искусствовед столь же чуток к личности художника, сколько и крайний индивидуалист—но введен в границы, необходимые для об'яснения идеологии данного художника и его общественной роли. Перед читателем встает не только ряд литературных школ, но и длинная галлерея превосходных портретов отдельных писателей. Автор-коммунист с естественным увлечением детально излагает внутренние сдвиги и переломы писателей-коммунистов. Но напрасно автор умалчивает о том, что формальные достоинства писаний Анри Барбюса и даже Бехера недостаточно велики. К коммунистам писателям следует пред'являть не пониженные, а повышенные, формальные требования, так как чем выше художественные достоинства их творчества, тем шире и глубже их общественное влияние, что представляет для нас исключительную важность.

Не преодолено автором окончательно, по крайней мере, в этой книге резкое противопоставление художественности и агитационности. Вот что пишет В. Фриче о немецком поэте Бехере: «Идеология его прояснилась, и в свете нового сознания роль поэта-коммуниста рисовалась ему в новой перспективе: в эпоху надвигающейся социальной революции поэт *обязан быть прежде всего пропагандистом и агитатором* (подчеркнуто мною. *Л. З.*), помогать своим творчеством рабочим массам лучше осознать тот путь, которым они должны итти к своему освобождению. Последние произведения Бехера—рассказы, драматические сценарии (рабочие, крестьяне, солдаты), стихи для народа преследует открыто и решительно одну эту агитационно-пропагандистскую цель» (стр. 109). Когда же искусство и, в частности, поэзия не имели агитационно-пропагандистской цели, кроме первобытных ступеней культуры, когда искусство служило магии? Ведь, никто иной, как сам т. Фриче с исключительной ясностью доказал эту мысль в своей книге «Социология искусства» [1]). Нет никакой противоположности между художественностью и агитационностью. Пора изжить это противопоставление.

Необходимо отметить одну чрезвычайно досадную описку, которая может ввести в заблуждение, вопреки желанию автора. В очерке о немецком писателе Генрихе Манне автор отмечает эстетизм и эротизм-черты, свойственные буржуазной культуре, начиная с Ренессанса и кончая современностью. В частности в творчестве Генриха Манна обе названные черты имеют доминирующее значение. И тут же вкралась досадная замена слова «эстетизм» словом «эстетика». «От эстетики только

[1]) См. отзыв об этой книге в № 11 «Под Знаменем Марксизма».

один шаг к эротике». Для всякого внимательного читателя ясно, что автор не имел намерения опорочить эстетику в какой бы то ни было степени, а лишь эстетизм, и в этом он, конечно, вполне прав.

Необходимо, с сожалением, отметить пробел—отсутствие анализа американской литературы за характеризуемый период.

Разбираемая книга представляет наглядное доказательство того, что марксистски разработанная история литературы есть не что иное, как ветвь социологии искусства, а последняя есть не что иное, как методология конкретного искусствознания и в частности литературоведения, что нет непроходимой стены между марксистской социологией и марксистской историей.

Л. Зивельчинская.

И. Маца. Искусство современной Европы. С предисловием В. М. Фриче. Гиз. 1926 г. Стр. 148.

Интересная книга т. Маца «Искусство современной Европы» представляет поучительное наглядное опровержение того положения, будто бы невозможно научное познание искусства современности. В ряде живо, а местами ядовито, написанных очерков автор развертывает перед читателем картину полнейшего распада и банкротства искусства современной Европы, давая в то же время точное чеканное марксистское, т.-е. социологическое, об'яснение происходящих процессов. Острый социологический анализ автора делает его книгу важной главой в создающейся сейчас социологии искусства. Серьезное достоинство книги заключается в том, что автор подвергает анализу все отрасли искусства, рассматривая их как цельное единство, как это уже отмечено В. М. Фриче в его предисловии к книге И. Маца.

Быстрая смена различных художественных направлений экспрессионизма, конструктивизма, активизма и всяческих других мелких художественных направлений в период войны, революции и контр-революции вскрывает полнейший идеологический разброд в рядах западно-европейской интеллигенции. Ее мелкобуржуазный индивидуализм, обывательско-анархический уклад ее психо-идеологии (термин В. М. Фриче) есть причина жалкого метания между гимнами крупному капиталу (футуризм и конструктивизм) и робкой колеблющейся надеждой на промышленный революционный пролетариат (зенитисты, активисты, Clarté). Идеализм всех разновидностей вплоть до религиозной мистики характеризует художественное творчество современного Запада. В особенности заслуживает внимания экспрессионизм, который может питаться из двух философских источников—Маха и Бергсона. По убеждению экспрессионистов и махистов человек «творит» мир; отсюда популярность словечка Weltgefühl и симпатия к «космической» установке сознания, ведущей, в конце концов, к безумию даданизма и мистике экспрессионистов. С Бергсоном экспрессионистов роднит вера в творческий поток переживаний, превращаемых в действия; ударение на действии и динамизм сближает оба разветвления современной буржуазной западно-европейской мысли. Хотя этих аналогий с философскими направлениями автор не проводит, но они напрашиваются сами собой. Большая заслуга автора заключается в том, что он связывает разложение современного западно-европейского искусства с ничтожеством общественных идеологических сил, господствующих над художественным сознанием. Но автор почему-то не доводит эту мысль до конца и не сформулировал ее с достаточной четкостью и категоричностью. Капиталистический класс на Западе, находясь в процессе экономического и идеологического загнивания, уже не способен к творческой идеологической роли, а пролетариат, занятый борьбой за

власть и истекающий кровью в наступлении и поражениях, еще не стал руководящей идеологической силой, так как не добился еще политического господства.

Не совсем убедительно также противопоставление монументального и агитационного искусства. Нет и не было никогда никакого искусства, которое не было бы агитационным. Искусство тогда только и агитационно, когда оно высокое и подлинное искусство, а агитационная сила плаката сильно преувеличивается. Только монументальное искусство обладает наибольшим агитационным воздействием, так как именно оно содействует самоутверждению класса, во имя которого творится искусство.

Хорошо показано в книге т. Маца, что не класс буржуазии самолично творит искусство для себя: оно создается головами и руками мелкой буржуазии—художественной интеллигенции. Ее социально-экономическое положение можно характеризовать, как положение одиночек-кустарей, продукцию которых скупает буржуазия, а иногда просто скупщики-спекулянты. Отсюда ее крайняя неустойчивость—экономическая и идеологическая.

Автор упускает случай об'яснить бросающийся в глаза разрыв между литературой и современным театром. В период исторического под'ема буржуазии, ее идеологи, например, Шиллер, Гегель, требовали полного подчинения театрального действия литературному произведению; в эпоху упадка буржуазии театр стремится эмансипироваться от литературы. Этот процесс обусловлен тем, что буржуазия восходящего периода пользуется театром, как серьезной общественно-идеологической силой, рассматривает театр как орудие общественного воспитания. В эпоху же своего упадка буржуазия пользуется театром как легким развлечением, способствующим пищеварению; для такого назначения идейное содержание, т.-е. литература—только помеха. Отсюда вытекает отрыв современного театра от литературы, замена его варьетэ, мюзик-холлами и прочими суррогатами.

Отсутствие об'яснения разрыва литературы и театра тем более досадно, что т. Маца ставит актуальный практический вопрос о том, какие моменты современной художественной культуры можно считать жизнеспособными, т.-е. достойными быть воспринятыми пролетариатом. Разумеется, прав т. Маца, когда он утверждает, что кой-какие моменты современного художественного творчества войдут в актив, в художественную практику пролетариата. Но в настоящее время еще представляется спорным, почти невозможным предрешать вопрос, что именно, какие элементы художественной деятельности современности будут органически включены в искусство пролетариата.

Многочисленные схемы, приложенные к книге, по замыслу очень интересны, но практически не придают большей ясности и богатства содержанию. Нужно горячо приветствовать приложение «толкового словаря». Видно, что автор коммунист и питает горячее желание быть понятным массам.

Л. З.

1) **О. Д. Хвольсон**. Курс физики. Дополнительный том. Физика 1914—1926 гг., ч.ч. I и II, стр. 584. ГИЗ, 1926 г.

2) **А. А. Эйхенвальд**. Теоретическая физика, ч. I. Теория поля. ГИЗ, 1926 г.

I. В первой части книги Хвольсона излагаются главным образом вопросы теории строения атома в связи с учением о квантах, при чем подробно говорится о спектрах; первая глава посвящена заряду и массе

электрона, последняя—возбуждению и ионизации газов ударами электронов.

Во второй части мы находим: квантовую теорию света и ее приложение к явлениям фото-электрическим и фото-люминесценции; приложение теории Бора к решению вопросов химии, в частности вопросов об изотопах, наконец, несколько глав, посвященных отдельным вопросам (сверхпроводимости, новый опыт Майкельсона, электромагнитные спектры металлов).

Вопросы излагаются с присущим О. Д. Хвольсону мастерством—ясно, четко, общедоступно, но вместе с тем научно и исчерпывающе. Лишь на некоторых участках научный фронт физики прорывается метафизической философией автора.

Когда-то Хвольсон бешено нападал на Гегеля и Геккеля за то, что они жертвуют научно установленными фактами в угоду предвзятой метафизике. «Тем хуже для фактов физики, если они противоречат любимой метафизике»—иронизировал Хвольсон. Ныне сам Хвольсон очень отчетливо доказывает, что и он готов пожертвовать физикой в угоду излюбленной метафизике.

В 1904 году Хвольсон, подчиняясь господствовавшим тогда в науке взглядам, писал в своем «Курсе Физики», что эфир уже стал такой реальностью, о которой можно говорить строго научно. В 1905 году, в связи с теорией относительности, наступил «кризис эфира», и Хвольсон, в последующих изданиях своего курса, уже усиленно подчеркивает и выдвигает «абсолютную пустоту», которая бесспорно имеет у него смысл абсолютной априорной формы человеческого сознания. Эту защиту абсолютной пустоты мы находим и в рецензируемой книге. Так, признавая, что волновая теория света об'ясняет громадное количество фактов, Хвольсон в угоду метафизике абсолютной пустоты не останавливается перед мистификацией учения о волновой природе света: «Следует иметь в виду,—говорит он на стр. 13 второй части,—что волновая теория в ее современном виде представляется совершенно непонятной, если вспомнить об электромагнитных колебаниях в абсолютно пустом пространстве, в котором эфира вовсе нет, или, если он существует, то он в этих колебаниях никакой роли не играет (?!)».

Желание во что бы то ни стало протащить в физику метафизику абсолютной пустоты приводит нашего автора к весьма натянутым и искусственным об'яснениям несомненных данных опыта. Так, обсуждая в главе 16-й (II части) результаты нового опыта Майкельсона (1925 г.), неопровержимо доказывающего вращение земли в эфире, Хвольсон так интерпретирует этот опыт: «Под движением земли относительно эфира следует понимать движение земли относительно потоков лучистой энергии, в частном случае—лучей видимого света».

Опыт Майкельсона, согласно Хвольсону, служит «новым подтверждением основных положений теории относительности» (стр. 236), которая безусловно отрицает самое существование эфира, как вещества, заполняющего мировое пространство» (стр. 227). Разумеется, что такого рода «интерпретациями» можно отрицать «существование» не только эфира, но и земли, и самих «лучей видимого света» и всего прочего, что делают все последовательные идеалисты, превращая этим путем физику в прислужницу метафизики и теологии.

Необходимо отдать справедливость О. Д. Хвольсону. Классическая философия Канта все же в известной мере предохраняет его от перехода за известные пределы, когда физика начинает превращаться уже в несомненную мистику. Так, Хвольсон еще считает возможным рассматривать вопрос о суб'электроне (ч. I, стр. 18) в то время, когда для неко-

торых «физиков» вопрос этот уже окончательно решен утверждением, что электрон это «непротяженная электрическая точка», «геометрический центр сил», как это в свое время проповедывали Лейбниц и Боскович, учение которых возрождается ныне в оболочке «современной физики», но возрождается не в виде цельной, последовательной классической теории, а в виде нищенской эклектической похлебки вульгарного идеализма. Философия «современных физиков» представляет собой настоящую какофонию, так как в условиях разлагающегося капитализма не место и не время симфониям, хотя бы и идеалистическим.

Маркс писал в 1870 году Энгельсу: «Ты знаешь, как я чту Лейбница» (You know my admiration for Leibniz). Действительно, старая классическая идеалистическая философия была полна в известной мере светлым содержанием и не только не тормозила движения науки, но и в известной мере способствовала этому движению—умный идеализм, по меткому выражению Ленина, иногда ближе к умному материализму, нежели глупый материализм. Современный идеализм—это идеализм вульгарный, очень близкий к простой поповщине, а потому не брезгающий никакими средствами борьбы против науки.

Этот идеализм не боится войти в противоречие с данными целых научных областей, противопоставляя этим данным наглые метафизические постулаты, одно голое отрицание и даже насмешку, которые ныне можно встретить в отношении волновой теории и еще недавно в отношении теории атомизма.

Материалисты должны вести поэтому беспощадно войну с современным идеализмом, в частности—идеализмом физическим.

Борьба эта сделается вполне успешной, когда материалисты выдвинут из своей среды крупные научные силы. Пока же приходится мириться с такими «курсами физики», как курс проф. Хвольсона, и, отдавая должное всему научно ценному в них, неустанно подчеркивать и разоблачать научное вредное.

Физика последнего десятилетия, картину которой развертывает перед читателем проф. Хвольсон, это—физика квант. Несмотря на громкую известность теории относительности, теория эта имела и имеет по преимуществу философское значение, учение же о квантах глубоко затронуло весь организм физики. И самое удивительное это то, что учение о квантах, оказав громадные услуги физическому познанию, вместе с тем как будто мистифицировало это познание. Так, по крайней мере, утверждает сам основоположник теории квант Планк и вслед за ним повторяет Хвольсон. «Тут все темно и не вразумительно»—говорит Хвольсон о теории квант (§ 2 II части: «Характеристика борьбы двух теорий света») и добавляет в виде утешения, «что и волновая теория в ее современном виде представляется совершенно непонятной».

В чем же тут дело? А дело в том, что современная борьба волновой и квантовой теорий лучистой энергии представляет «небывалую и курьезную картину».

«Обычно борьба двух теорий старой А и новой В, служащих для об'яснения некоторой группы несомненно родственных между собой явлений, протекала, более или менее, по следующей программе. Обе теории, хорошо ли, худо ли, об'ясняли все, или, по крайней мере, большую часть данной группы явлений. Некоторые из этих об'яснений давались, может быть, с натяжкой, требовали добавочных гипотез, или представлялись вообще мало удовлетворительными. Но во всяком случае обе теории относились к одной и той же группе явлений. В каком случае борьба кончалась и новая теория В становилась на место старой А, от которой

науке приходилось отказаться? История физики (и вероятно других наук) показывает, что это происходило тогда, когда об'яснения теории В оказывались проще, яснее, с меньшими натяжками, с меньшим числом добавочных гипотез, чем об'яснения теории А. Далее, когда теория В шла дальше теории А, т.-е. могла об'яснить и такие явления, которые для теории А оставались необ'яснимыми, когда теория В предсказывала новые явления, затем действительно находимые, но непонятные для теории А».

Иное положение дела мы имеем в случае борьбы волновой и квантовой теорий лучистой энергии. Явления в отношении этих двух теорий распадаются на две резкие группы.

«Волновая теория, столь блестяще об'ясняющая явления первой группы (например, интерференцию и поляризацию), оказывается совершенно бессильной дать какое-либо разумное об'яснение явлений второй группы (испускание и поглощение лучистой энергии). Эти явления представляются, не только непонятными, если исходить из волновой теории, но, можно сказать, бессмысленными, противоречащими элементарной логике, приложенной к основам этой гипотезы».

«Наоборот, квантовая теория, весьма легко и изящно об'ясняющая явления второй группы, можно сказать, даже не знает, как приступиться к явлениям группы первой».

Физическая теория, по авторитетному свидетельству проф. Хвольсона, попала, таким образом, в какой-то тупик. Но как же это случилось? Блестящий и исчерпывающий ответ на этот вопрос дает сам проф. Хвольсон. А именно, в его дополнительном томе физики, обнимающем период 1914—1926 гг., совершенно не упоминается о замечательной попытке всемирно известного физика Дж. Дж. Томсона дать синтез волновой и квантовой теорий лучистой энергии. Первая статья Томсона появилась в «Philosophical Magazine» в октябре 1924 г., вторая статья в декабре 1925 г., вторая часть книги Хвольсона подписана мартом 1926 г., между тем ни в тексте (§ 4 и § 5 «Попытки построения моста между двумя теориями»), ни в перечне литературы о работе Томсона совершенно не упоминается.

И понятно почему: работа Томсона базируется на фарадеевской концепции физических явлений и представляет собою развитие фарадеевско-максвелловской материалистической теории электромагнитных процессов, теории, в корне противоречащей махизму, который ныне поддерживается, если не прямо, то косвенно проф. Хвольсоном.

Именно, механизм с его фармацевтической и магической формулой чистого описания завел физику в тупик. Вместо того, чтобы детально разрабатывать материальную теорию электромагнитных процессов физики ударились в формализм, в игру формулами и в конце концов оказались бессильными в области физической теории; и все для них теперь «темно и не вразумительно» к великому удовлетворению метафизиков и теологов.

Мы надеемся, что это удовлетворение не будет слишком длительным.

2. «Теоретическая физика» Эйхенвальда—блестяще написанное сочинение, в котором ясно, просто и общедоступно излагается общая теория поля, теория, которая по своей абстрактности и сравнительной трудности обычно плохо усваивается начинающими. В общей теории поля очень легко сойти с почвы физики и вместо физики давать чистую математику. Эйхенвальд счастливо избегает этой опасности, пользуясь многочисленными примерами из различных областей физики. Но лучше было бы, если бы он поставил с самого начала важный научно-философский вопрос: как и почему, вообще говоря, возможна общая теория поля?

«Теория поля, по моему мнению,—говорит А. А. Эйхенвальд в предисловии,—представляет собою в настоящее время главное зерно (подчеркнуто автором) всей теоретической физики. Каждое физическое явление, происходящее в пространстве и во времени, уже образует поле. В чем физическая сущность «зерна»—автор в своей теории поля не об'ясняет и тем самым придает изложению все же формальный характер.

Сознательной диалектической постановки вопросов—вот чего недостает рецензируемой книге. С этим недостатком приходится пока мириться.

Читатель, знакомый с основами диалектического материализма, сумеет разобраться в том единстве физической картины мира, которая фактически устанавливается общей теорией физического поля, являющейся ничем иным, как общей теорией физического движения материи.

Мы рекомендуем книгу не только лицам, изучающим физику, но и математикам, желающим как следует понять, что такое векторный и тензорный анализ.

В заключение два слова о следующем, довольно «курьезном» факте: издательство, оценивающее 264 страницы в 5 рублей, должно бы давать потребителю товар первого сорта. Между тем покупатель, открыв книгу на стр. 49—64 может обнаружить, что лист этот, очевидно, для лучшего усвоения, имеется в двух экземплярах.

З. Ц.

Пауль Каммерер. Загадка наследственности. «Прибой». Ленинград, 143 стр.

Двадцатое столетие не очень балует марксистов. Им не везет на идеологов. Изменил Гольдшмидт, перешедший на сторону противников ламаркистов. Покончил с собою Семон, автор теории мнемы, оказавшийся не в силах выдержать «позор Германии после Версальского мира». Наложил на себя руки и последний могикан, блестящий Каммерер, надорванный в непрерывной, неравной борьбе со своими противниками, не гнушавшимися нередко применения против него любых средств, вплоть до самых тяжелых личных оскорблений и издевательств. В лице Каммерера механоламаркизм потерял самого яркого своего идеолога и активнейшего борца.

Спор между ламаркистами и неодарвинистами сводится, главным образом, к спору о наследовании приобретенных признаков. Механоламаркисты утверждают, что воздействия внешней среды на организм не ограничиваются одной только индивидуальной изменчивостью, а накладывают свою печать на потомство организма. Неодарвинисты категорически отрицают влияние внешней среды на наследственную изменчивость. Кто прав в этом споре?

С методологической точки зрения нам кажется, что обе стороны одинаково неправы. Постановка вопроса с обеих сторон метафизическая. Ламаркизм игнорирует историю органического мира. Ламаркисты не хотят считаться с тем, что организм за свой длинный период развития (филогения), все больше и больше приспособляясь к окружающим условиям, приобрел чрезвычайно важную способность сопротивления внешним раздражениям, способность, которую не так легко уничтожить, не уничтожив самого организма. Кроме того, ламаркизм, требуя адэкватных, соответствующих изменений под влиянием внешних воздействий у родителей и детей, неизбежно должен скатиться к телеологии, к берговской «изначальной целесообразности» органического мира. Конкретный пример

поясним эту мысль. Если, положим, под влиянием внешнего раздражения у одного из родителей изменился кончик носа, то, согласно ламаркизму, это изменение должно отразиться на наследственном материале, именно таким образом, что оно заденет в зародышевой клетке только ту его часть, из которой впоследствии будут развиваться нос, и при этом именно так, что кончик носа у потомства будет соответствовать кончику носа у родителей. Почему изменение будет итти в адэкватном направлении, почему будет изменен именно этот участок зародышевой клетки, а не другой участок,—совершенно непонятно, если не принять, что живая клетка одарена способностью всегда реагировать целесообразно.

С другой стороны, приняв недарвинистскую схему эволюции, мы обрываем историю организма сегодняшним днем, отрываем его прошлое от настоящего. Мы насилуем его природу.

Диалектическое разрешение этого вопроса лежит в синтезе обеих этих точек зрения. Внешняя среда, воздействуя на организм, несомненно, оставляет в нем след. При этом, конечно, от степени и формы воздействия зависит и степень и сила реакции организма. Но совершенно необязательно, чтобы этот след всегда передавался по наследственности и чтобы он по форме и направлению совпадал с реакцией родительского организма. В нашем примере изменение под воздействием среды кончика носа родителей может совершенно не перейти на потомство или может вызвать совершенно другое изменение у детей. История организма играет при этом чрезвычайно важную роль. Она организовала его в определенную систему, обладающую сравнительно сильной устойчивостью, не поддающеюся всяким влияниям извне.

Отсутствие места и характер заметки не дают нам возможности более подробно остановиться на этом вопросе, и мы вынуждены ограничиться только сказанным.

Рецензируемая книга П. Каммерера отстаивает точку зрения механоламаркистов. Она дает краткое изложение менделизма, его дальнейшего развития, останавливается на многих других вопросах генетики и в заключении пытается обосновать учение об улучшении человеческого рода (евгеника) на ламаркистских принципах. Нечего говорить, что в условиях капиталистического общества всякие разговоры об улучшении человеческого рода являются или простым ханжеством или самой обыкновенной маниловщиной.

Книга, по словам автора, написана «для широких кругов: ее сможет понять всякий читатель, и не вооруженный предварительными знаниями» (стр. 138). Это не совсем так. Для понимания книги надо иметь кое-какую подготовку, хотя бы в об'еме курса школы II ступени. Трудность чтения еще усугубляется тяжеловатым переводом.

Немецкое издание этой книги появилось около двух лет тому назад. Рецензируемый перевод сделан с этого издания. Издательству «Прибой», к сожалению, не было известно, что перед самой смертью Каммерер переработал эту книгу специально для русского издания. Он ее расширил вдвое, подобрал почти весь более или менее интересный материал по этому вопросу. В переработанном виде книга эта гораздо полнее, глубже и интереснее охватывает тему. Это расширенное издание должно в ближайшем времени появиться в свет в Государственном Издательстве. Нужно пожелать, чтобы ГИЗ скорее раскачался. Необходимо обратить внимание и на качество перевода. Желательно было бы предпослать новому изданию обстоятельное предисловие, в котором нашла бы себе место об'ективная оценка данного спора.

И. А—л.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма“ за 1926 год.

И. Агол.—Метафизика и диалектика в биологии (№ 3, стр. 118).

Арк. А—н.—К вопросу о социальных и классовых корнях учения и пропаганды Роберта Оуэна и его последователей (№ 7—8, стр. 182).

В. Асмус.—Адвокат философской интуиции (Бергсон и его критика интеллектуализма) (№ 3, стр. 63).

Его же.—Противоречия специализации в буржуазном сознании (Из истории идеологий) (№ 9—10, стр. 43).

Гр. Баммель.—Аксиоматика и диалектика (№ 1—2, стр. 137).

Его же.—Макс Шелер, католицизм и рабочее движение (№ 7—8, стр. 47; № 12, стр. 28).

Акад. В. Бехтерев и д-р Дубровский.—Диалектический материализм и рефлексология (№ 7—8, стр. 69).

А. Болотников.—Социологическая доктрина Гумплозича (№ 7—8, стр. 135).

В. Борзенко.—Крестьянство как класс в работах Маркса и Энгельса (№ 6, стр. 179; № 7—8, стр. 163).

Бьеркнес.—Сила, которая поддерживает аэроплан (№ 1—2, стр. 168).

Б. Быховский.—Генеономические воззрения Фрейда (№ 9—10, стр. 178).

И. Вайнштейн.—Спиноза и материализм (№ 3, стр. 85).

Я. Виленкин.—Де-Лион и его деятельность (№ 3, стр. 151).

Э. Вихерт.—Теория относительности и релятивизм (№ 4—5, стр. 45).

Б. Выропаев.—Еще об эмпиризме и современном естествознании (№ 11, стр. 110).

И. Дашковский.—Абстрактный труд и экономические категории Маркса (№ 6, стр. 196).

А. Деборин.—Энгельс и диалектика в биологии (№ 1—2, стр. 54; № 3, стр. 5; № 9—10, стр. 5).

Его же.—Фрэнсис Бэкон (к 300-й годовщине его смерти) (№ 4—5, стр. 5).

Его же.—Очерки по теории материалистической диалектики. Очерк первый (№ 11, стр. 5).

Его же.—К пятилетию журнала «Под Знаменем Марксизма» (№ 12, стр. 5).

Дейтон-Миллер.—Смысл опытов с эфирным ветром, произведенных в 1925 г. на горе Вильсон (№ 11, стр. 91).

Г. Дмитриев.—Философия Спинозы и диалектический материализм (№ 9—10, стр. 26).

Ф. Дучинский.—Дарвинизм, ламаркизм и неодарвинизм (№ 7—8, стр. 95).

Его же.—Пауль Каммерер (№ 9—10, стр. 76).

В. Егоршин.—Естествознание и классовая борьба (№ 6, стр. 108).

Его же.—К вопросу о политике марксизма в области естествознания (№ 7—8, стр. 123).

Б. Завадовский.—Предисловие к статьям Ж. Леба (№ 1—2, стр. 179).

Г. Зайдель.—Вокруг Великой Французской Революции (№ 9—10, стр. 139).

Его же.—Организационные принципы II Интернационала (№ 12, стр. 185).

Л. Зивельчинская.—Нужна ли марксистская эстетика и как ее строить (№ 11, стр. 202).

Ф. Капелюш.—Новые «поправки» к историческому материализму (№ 9—10, стр. 153).

Ник. Карев.—Тектология или диалектика (К критике «Тектологии» А. Богданова) (№ 1—2, стр. 90; № 3, стр. 29; № 4—5, стр. 16).

Его же.—Несколько замечаний по поводу статьи проф. Самойлова (№ 4—5, стр. 82).

Его же.—О наших естествоиспытателях, «путешествующих в диалектическом» (№ 11, стр. 24).

Его же.—Вместо статьи к пятилетию журнала (№ 12, стр. 16).

В. Кирпотин.—Классовые и методологические основы социологии Тарда (№ 6, стр. 158).

Э. Кольман.—К вопросу о случайности (№ 6, стр. 153).

И. Куразов.—Учение о доминанте в оценке диалектического материализма (№ 9—10, стр. 108).

Ж. Леб.—1) К сравнительной физиологии центральной нервной системы (№ 1—2, стр. 180).

Его же.—2) Адаптация окраски у рыб и мозаичное зрение (№ 1—2, стр. 187).

Э. Лейкин.—Каутскианство в теории империализма (№ 11, стр. 172; № 12, стр. 144).

И. Луппол.—Падение социализма от науки к утопии (№ 4—5, стр. 88).

Его же.—Новое средневековье (к характеристике современного феодального социализма (№ 12, стр. 117).

Ал. Лурия.—Принципиальные вопросы современной психологии (№ 4—5, стр. 129).

А. Максимов.—Об источниках и результатах упрощенства в естествознании (№ 1—2, стр. 189).

И. Орлов.—Музыка и естествознание (№ 3, стр. 193).

Его же.—Рационализация умственного труда (№ 12, стр. 72).

В. Позняков.—Гильфердинг или Маркс? (К критике теории денег Гильфердинга) (№ 1—2, стр. 245).

И. Разумовский.—К воззрениям Ленина на государство и право (№ 1—2, стр. 31).

Его же.—Философская ревизия и вопросы права (№ 7—8, стр. 5).

Его же.—Философия и юридическая теория (№ 12, стр. 50).

Е. Ривлин.—Борьба течений в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона (1890—1895 г.г.) (№ 11, стр. 142).

Л. Рудаш.—Грациадеи, политико-экономи коммунист божьей милостью (окончание) (№ 1—2, стр. 213).

А. Самойлов.—Диалектика природы и естествознание (№ 4—5, стр. 61).

И. Сапир.—Фрейдизм и марксизм (№ 11, стр. 59).

Вл. Сарабьянов.—Как иные товарищи творят ревизионизм (Вынужденный ответ тов. Столярову) (№ 6, стр. 61).

А. Серебровский.—Теория наследственности Моргана и Менделя и марксисты (Доклад в секции естественных наук Коммунистической Академии 12 января 1926 г.) (№ 3, стр. 98).

Вас. Слепков.—Витализм, механизм и диалектика (№ 9—10, стр. 89).

А. Столяров.—Суб'ективизм и марксизм (№ 1—2, стр. 115).

Его же.—Философия «качества» и качество философии некоторых механистов (№ 6, стр. 76; № 7—8, стр. 24).

П. Стучка.—Ленинизм и аграрный вопрос (№ 1—2, стр. 5).

Ф. Тележников.—Об одном буржуазном социологическом направлении во Франции (Социологическое учение Дюркгейма) (№ 4—5, стр. 112).

А. Тимирязев.—По поводу статьи Ф. Бьеркнеса (№ 1—2, стр. 168).
Его же.—По поводу статьи Дейтон-Миллера (№ 11, стр. 88).

Ю. Франкфурт.—Г. В. Плеханов о психологической проблеме (№ 6, стр. 37).

Ц. Фридлянд.—М. Бакунин о Коммуне 1871 года. (К пятидесятилетию со дня смерти) (№ 6, стр. 5).

З. Цейтлин.—Развитие воззрений на природу света (№ 6, стр. 137).
Его же.—Проблема обоснования евклидовой геометрии с точки зрения диалектического материализма (№ 12, стр. 94).

З. Ц.—Предисловие к статье Э. Вихерта «Теория относительности и релятивизм» (№ 4—5, стр. 45).

ТРИБУНА:

К. Корнилов.—Механический материализм в современной психологии (Ответ В. Струминскому) (№ 4—5, стр. 185).

И. Луппол.—О синице, которая не зажгла моря (Очередной ответ т. З. Цейтлину) (№ 11, стр. 221).

И. Орлов.—Теория случайности и диалектика (По поводу статьи Э. Кольмана) (№ 9—10, стр. 195).

В. Струминский.—Марксизм в современной психологии (№ 3, стр. 207; № 4—5, стр. 140).

А. Удальцов.—От примечания к предисловию (Ответ тов. Степанову) (№ 4—5, стр. 213).

З. Цейтлин.—К. Маркс о спинозизме и источниках французского материализма XVIII века (№ 11, стр. 214).

БИБЛИОГРАФИЯ:

И. А—л.—Пауль Каммерер. Загадка наследственности (№ 12, стр. 228).

В. Асмус.—Спорные вопросы истории философии. (По поводу книги А. Варьяша «История новой философии», т. I, ч. I. Рационалистический материализм и идеализм. ГИЗ. 1926, стр. VIII + 341) (№ 7—8, стр. 206).

Гр. Баммелъ.—О. Танхилевич. Эпикур и эпикуреизм (№ 3, стр. 256).

Гр. Б.—Диалектика в природе, сб. первый. «Госуд. Тимирязевский Научно-Исследовательский Институт» (№ 6, стр. 235).

И. Бугаев.—Г. А. Гурев. Дарвинизм и марксизм (№ 9—10, стр. 229).

П. Виноградская.—«Памяти Лассаля», сб. ст. (№ 11, стр. 241).

Ф. Дучинский.—Б. М. Завадовский. Дарвинизм и марксизм (№ 7—8, стр. 237).

Его же.—«Преформизм или эпигенезис», сб. ст. (№ 11, стр. 250).

Г. Зайдель.—П. Виноградская. Фердинанд Лассаль (№ 4—5, стр. 236).

Л. Зивельчинская.—В. М. Фриче. Социология искусства (№ 11, стр. 253).

Ее же. В. Фриче. Западно-европейская литература XX века в ее главнейших проявлениях (№ 12, стр. 221).

Л. З.—И. Маца. Искусство современной Европы. С предисловием О. М. Фриче. (№ 12, стр. 223).

П. Ионов.—Заметки о сочинениях Томаса Гоббса (№ 9—10, стр. 220).

М. Иоэльсон.—С. Ниринг и И. Фриман. Дипломатия доллара. Очерк об американском империализме (№ 7—8, стр. 235).

Ник. Карев.—IV Ленинский сборник (№ 1—2, стр. 268).
Его же.—V Ленинский сборник (№ 7—8, стр. 225).
Его же.—Группа «Освобождение Труда», сб. 5 (№ 9—10, стр. 210).

В. Колоколкин.—Проф. А. Н. Колесников. Советское строительство (№ 4—5, стр. 250).
Его же.—Е. Пашуканис. Общая теория права и марксизма (№ 9—10, стр. 234).

Г. Ладоха.—Н. Н. Попов. Очерк истории РКП(б) (№ 4—5, стр. 230).

М. Левин.—У. Г. Брэгг. О природе вещей (№ 7—8, стр. 227).

И. Луппол.—Л. Фейербах. Соч., т. II (№ 1—2, стр. 270).
Его же.—И. Вороницын. К. А. Гельвеций. «Биографическая библиотека» (№ 3, стр. 254).
Его же.—А. Варьяш. История новой философии, т. I, ч. II (№ 9—10, стр. 214).
Его же.—Б. Столпнер и П. С. Юшкевич. История материализма (№ 12, стр. 215).

Н. К.—А. Деборин. Книга для чтения по истории философии, т. II (№ 1—2, стр. 272).

В. Позняков.—И. И. Рубин. Физиократы (№ 1—2, стр. 276).
Его же.—Ю. Борхардт. Накопление капитала (№ 9—10, стр. 241).
Его же.—И. Рубин. История экономической мысли (№ 12, стр. 218).

Я. Розанов.—Библиография о Фейербахе (№ 3, стр. 234).
Его же.—Литература о французских материалистах XVIII века (№ 6, стр. 220).
Его же.—К. Маркс и М. Бакунин (библиография) (№ 9—10, стр. 202).
Его же.—Литература о Спинозе (№ 11, стр. 234).

Н. Саргин.—П. Маслов. Основы экономической политики (№ 4—5, стр. 242).
Его же.—Недиалектический анализ советской экономики (А. Леонтьев и Е. Хмельницкая. Советская экономика) (№ 6, стр. 241).

Н. С.—А. Л. Реуэль. Предмет и метод политической экономии (№ 4—5, стр. 246).

Вас. Слепков.—М. Бубликов. Борьба за существование и общественность. Марксизм и дарвинизм (№ 1—2, стр. 273).

З. Цейтлин.—С. Ю. Семковский. Диалектический материализм и принцип относительности (№ 4—5, стр. 220).

З. Ц.—А. Зоммерфельд. Строение атома и спектры (№ 3, стр. 262).
Его же.—А. К. Тимирязев. Физика, ч. II (№ 4—5, стр. 228).
Его же.—1) О. Д. Хвольсон. Курс физики. Дополнительный том. Физика 1914—1926 г., ч. I и II и 2) А. А. Эйхенвальд. Теоретическая физика, ч. I. Теория поля (№ 12, стр. 224).

В. Чучмарев.—Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма, с предисловием Л. Аксельрод-Ортодокс (№ 3, стр. 247).

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Условия приема в Институт Красной Профессуры на 1926—27 уч. год (№ 1—2, стр. 280).

Условия приема и разверстка на подготовительное отделение И. К. П. на 1926—27 уч. г. (№ 1—2, стр. 287).

От Российской Ассоциации Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук (РАНИОН) (№ 4—5, стр. 255).

Содержание журнала «Под Знаменем Марксизма» за 1926 г. (№ 12, стр. 230).

Резолюция Общества Воинствующих Материалистов о текущих задачах общества (№ 12, стр. 236).

СПИСОК РЕЦЕНЗИРОВАННЫХ КНИГ:

Ю. Борхардт.—Накопление капитала. Перевод с немецкой рукописи, под редакцией Г. Б. Гермаизде. ГИЗ. 1926 г. (№ 9—10—В. Позняков).

У. Г. Брэгг.—О природе вещей. Перевод с английского А. А. Леонтьевой, под редакцией проф. Г. В. Вульфа. Серия «Природа и Культура», книга 24. Москва, ГИЗ, 1926 г., стр. 161+VI, цена 1 руб. 75 коп. (№ 7—8—М. Левин).

М. Бубликов.—Борьба за существование и общественность. Дарвинизм и марксизм. Изд. «Сеятель», 1924 г., стр. 240 (№ 1—2—Вас. Слепков).

А. Варьяш.—История новой философии, т. I, ч. I. Рационалистический материализм и идеализм. ГИЗ, 1926 г., стр. VIII+341 (№ 7—8—В. Асмус).

Его же.—История новой философии, т. I, ч. II. Система эмпиризма, материализма и сенсуализма. ГИЗ, Ленинград 1926 г., стр. 242 (№ 9—10—И. Луппол).

Н. Виноградская.—Фердинанд Лассаль. ГИЗ, Москва—Ленинград 1926 г., стр. 249, цена 2 руб. 50 коп. (№ 4—5—Г. Зайдель).

Н. Вороницын.—К. А. Гельвеций. «Биографическая библиотека». ГИЗ. Москва—Ленинград (отпечатано в Краснодаре) 1926 г., стр. 97, цена 75 к. (№ 3—И. Луппол).

Томас Гоббс.—Избранные сочинения. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Библиотека материализма. Перевод А. Гутермана, с предисловием А. Деборина. ГИЗ, 1926 г., стр. 276+XXVIII, тираж 3.000, ц. 3 р. (№ 9—10—П. Ионов).

Группа «Освобождение Труда». Изд. комитета по увековечению памяти Г. В. Плеханова. Сб. № 5. ГИЗ, 1926 г., стр. 333 (№ 9—10—Ник. Карев).

Г. А. Гурев.—Дарвинизм и марксизм. Популярные очерки. 2-е издание, значительно дополненное. Западное Областное Издательство «Гомельский Рабочий». 1925 г., стр. 420, цена 2 руб. 60 к. (№ 9—10—И. Бугаев).

А. Деборин.—Книга для чтения по истории философии, т. II. Изд. «Новая Москва», 1925 г., стр. 686 (№ 1—2—К. Н.).

Диалектика в природе. Сборник по марксистской методологии естествознания. Сборник первый. Государственный Тимирязевский Научно-Исследовательский Институт. «Северный Печатник», Вологда 1926 г., стр. 154 (№ 6—Гр. Б.).

Б. М. Завадовский.—Дарвинизм и марксизм. ГИЗ, 1926 г. (№ 7—8—Ф. Дучинский).

А. Зоммерфельд.—Строение атома и спектры, ч. I. ГИЗ, 1926 г., стр. 403 (№ 3—З. Ц.).

Пауль Каммерер.—Загадка наследственности. «Прибой», Ленинград, 143 стр. (№ 12—И. А—л).

Проф. А. Н. Колесников.—Советское строительство (научные предпосылки). Изд-во Коммунистической Академии, Москва 1926 г., стр. 91 (№ 4—5—В. Колоколкин).

Ленинский сборник IV. Изд. Института Ленина при ЦК ВКП (б), под редакцией Л. Б. Каменева, стр. 462 (№ 1—2—Ник. Карев).

Ленинский сборник V, под редакцией Л. Каменева. ГИЗ, М.—Л. 1926 г., стр. 610 (№ 7—8—Ник. Карев).

А. Леонтьев и Е. Хмельницкая.—Советская экономика. Опыт теоретического анализа. Изд. «Плановое Хозяйство», М. 1926 г. (№ 6—И. Саргин).

П. Маслов.—Основы экономической политики. ГИЗ, 1926 г., стр. 230 (№ 4—5—Н. Саргин).

И. Маца.—Искусство современной Европы. С предисловием В. М. Фриче. ГИЗ. 1926 г., стр. 148, цена 1 руб. 35 к. (№ 12—Л. З.).

Скотт Ниринг и Иосиф Фриман.—Дипломатия доллара. Очерк об американском империализме. Нью-Йорк—Лондон 1925 г. (№ 7—8—М. Иоэльсон).

«Памяти Лассаля (1825—1925)», сборник статей под редакцией Г. Маренко и Я. Розанова. Государственное Издательство Украины, стр. 319 (№ 11—П. Виноградская).

Е. Пашуканис.—Общая теория права и марксизм. Второе издание. Исправленное и дополненное. Издательство Коммунистической Академии, Москва 1926 г., стр. 128 (№ 9—10—В. Колоколкин).

Г. В. Плеханов.—Основные вопросы марксизма. С предисловием Л. Аксельрод-Ортодокс. Кооперативное издательство «Советская Деревня», Курск 1925 г. (№ 3—В. Чучмарев).

Н. Н. Попов.—Очерк истории Российской Коммунистической Партии (большевиков). ГИЗ, 1926 г., стр. 336 (№ 4—5—Г. Ладоха).

«Преформизм или эпигенезис» (Е. С. Смирнов и Н. Д. Леонов, Ф. Г. Добжанский, Б. Кузин, К. К. Островский). Сборник статей. «Северный Печатник» (№ 11—Ф. Дучинский).

А. Л. Реуэль.—Предмет и метод политической экономии. Изд. «Плановое Хозяйство», Москва 1926 г., стр. 206 (№ 4—5—Н. С.).

И. И. Рубин.—Физиократы. Очерк из истории экономической мысли. Изд. «Книга», Ленинград—Москва 1926 г. (№ 1—2—В. Позняков).

Его же.—История экономической мысли Меркантилисты. Физиократы. Смит. Рикардо. Разложение классической школы. ГИЗ, Москва—Ленинград 1926 г. (№ 12—В. Позняков).

С. Ю. Семковский.—Диалектический материализм и принцип относительности. ГИЗ, 1926 г., стр. 225 (№ 4—5—З. Цейтлин).

Б. Г. Столпнер и П. С. Юшкевич.—История материализма. (В произведениях его представителей и историков). Том I (до XVIII в.). Кооперативное издат. «Мир», Москва 1927. Часть первая, стр. 1—230. Часть вторая, стр. 231—515 (№ 12—И. Луппол).

О. Ганхилевич.—Эпикур и эпикуреизм.—Труды Института Красной Профессуры. Философская секция под редакцией А. М. Деборина. «Новая Москва», Москва 1926 г., стр. 144 (№ 3—Гр. Баммель).

А. К. Тимирязев.—Физика, ч. II, стр. 176, издание Коммунистического Университета имени Я. М. Свердлова (№ 4—5—З. Ц.).

Л. Фейербах.—Сочинения. Том второй. С предисловием А. Деборина. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. «Библиотека материализма», под редакцией А. Деборина и Д. Рязанова. Гос. Издат., М. 1926 г., 445 стр. (№ 1—2—И. Луппол).

В. Фриче.—Социология искусства. ГИЗ, 1926 г. (№ 11—Л. Зивельчинская).

Его же.—Западно-европейская литература XX века в ее главнейших проявлениях. ГИЗ, 1926, стр. 182, цена 1 руб. 60 коп. (№ 12—Л. Зивельчинская).

О. Д. Хвольсон.—Курс физики. Дополнительный том. Физика 1914—1926 г., ч. I и II, стр. 584, ГИЗ, 1926 г. (№ 12—З. Ц.).

А. А. Эйхенвальд.—Теоретическая физика, ч. I. Теория поля. ГИЗ, 1926 г. (№ 12—З. Ц.).

Резолюция общества воинствующих материалистов о текущих задачах общества.

Общество воинствующих материалистов считает необходимым высказать свое отношение к спорам, поднявшимся за последнее время по основным вопросам марксизма.

ОВМ, с момента своего возникновения в 1924 г., ставило своей задачей неуклонную борьбу за диалектический материализм против религиозного мракобесия, идеализма и ревизионизма всех видов и направлений. Непосредственно, своей ближайшей задачей, ОВМ ставило привлечь внимание широких масс к вопросам теории, и в частности—к философии марксизма, вести борьбу с упрощенством и вульгаризацией ее,—за революционную теорию, без которой невозможна революционная практика.

В течение истекших лет об'единенными усилиями различных организаций, журналов и сборников, работающих на этой почве, достигнуты значительные успехи. Однако, параллельно этим успехам, возникли и некоторые новые явления, которые не могут не вызывать соответствующего отпора со стороны всех, идущих под знаменем, защищавшимся Марксом, Энгельсом, Плехановым и Лениным. С одной стороны, мы имеем известное оживление в Союзе враждебных марксизму идейных течений, с другой—в среде самих марксистов возникновение направления так наз. механистов, отрицающее некоторые важнейшие положения материалистической диалектики основоположников марксизма.

С момента своего возникновения ОВМ считало целью своей деятельности выполнение тех задач, которые были намечены т. Лениным в его статье «О значении воинствующего материализма». В выполнение этих задач общество предпринимало всю свою деятельность и все свои издания, в частности издание атеистической литературы XVIII века. Важнейшим из указаний Ленина, синтезировавшим удовлетворение потребностей революционной теории общества и современного естествознания, было требование организовать систематическое изучение гегелевской диалектики с точки зрения марксизма.

Поэтому, пред лицом тех, кто третирует изучение материалистической диалектики как схоластику, а диалектику рассматривает как второстепенную, несущественную часть марксистского мировоззрения, как «прилагательное», вопреки самой сущности диалектического материализма; пред лицом тех, кто возрождает преодоленное Марксом, Энгельсом и Лениным механическое миропонимание, цепляясь за механистические предрассудки современной науки, вопреки диалектическому характеру достижений современного естествознания; пред лицом тех, кто отрицает значение и роль философии марксизма, как мировоззрения и метода для всех областей знания,—ОВМ считает своей задачей основное внимание на ближайший период времени обратить на борьбу за материалистическую диалектику против отвергающего ее ревизионизма.

Для осуществления этой цели общество считает необходимым, согласно завету Ленина, продолжая всю свою предшествующую деятельность, рассматривать себя как «общество материалистических друзей гегелевской диалектики». Всех, кто разделяет положения, развитые в настоящем заявлении, общество приглашает вступить в его члены.

(Принята единогласно при одном воздержавшемся на общем собрании 7 января 1927 г.).

ОТ РЕДАКЦИИ.

С № 12 за 1926 г. журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева и А. Я. Троицкого.

Ответственный редактор А. М. Деборин.

Ответственный редактор **А. М. Деборин.**

Редакционная коллегия: **А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стэн, А. К. Тимирязев и А. Я. Троицкий.**